



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

~~2978~~
~~2030~~
~~847-03~~
~~5-23~~

268.

Gift of
Theodore J. Hoover



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

42612

268.

~~030~~
~~817-03~~
5-23

Gift of
Theodore J. Hoover



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

42612

рокіе розміри, и вновь сгустило кругъ этой дѣятельности, ограничивъ ее однимъ церковнымъ просвѣщеніемъ. Въ свою очередь стремленіе освободиться отъ чужеземнаго и вмѣстѣ иновѣческаго яга повышало релігіозное сознаніе и придавало ему характеръ исключительности въ то самое время, когда, благодаря невольному отчужденію отъ всѣхъ другихъ націй и направленію всѣхъ усилій народа на политическую организацію съ цѣлью возвратити себѣ самостоятельность, слабѣло и падало просвѣщеніе. Въ 15-мъ вѣкѣ слышатся постоянныя жалобы на паденіе и того скуднаго образованія, какое имѣлось на Руси. Церковные іерархи все чаще заявляли, что имъ приходится ставить въ священники людей, которые «едва грамотѣ умѣють», плохо читаютъ священныя книги, а писать и совсѣмъ не могутъ. Тамъ, гдѣ среди класса, наиболѣе образованнаго уже по одному своему положенію, была слабо развита простая грамотность, не могло, конечно, быть и рѣчи о существованіи сколько-нибудь серьезнаго образованія. Наряду съ этимъ національно-релігіозная исключительность принимала съ теченіемъ времени все болѣе широкіе размѣры. Внушенія нетерпимости, издавна шедшія изъ Византіи, не не распространявшія въ до-татарскій періодъ своего вліянія за предѣлы духовенства, теперь приобрѣли широкую популярность въ массахъ. Находясь подъ владычествомъ татаръ и относясь къ нимъ съ понятнымъ враждебнымъ чувствомъ, русскій народъ привыкъ противопоставлять имъ себя не только въ племенномъ, но и въ релігіозномъ отношеніи, привыкъ отличать себя, какъ православныхъ христіанъ, отъ «поганыхъ», «басурмановъ», и понимать себя, какъ защитника христіанства отъ этихъ басурмановъ, видя въ борьбѣ съ ними въ нѣкоторомъ родѣ свое призваніе.

Въ концѣ 15-го вѣка самый тяжелый актъ борьбы съ татарами былъ законченъ, вновь создавшееся государство Московское сломало ихъ владычество надъ Русью, но то чувство, съ какимъ велась эта борьба раньше, осталось и продолжало вліять на выработку народнаго міровоззрѣнія. Мало того, — оно распространилось теперь еще и въ другую сторону. Нарушенная связь съ Западомъ не могла быть восстановлена тотчасъ по уничтоженіи татарскаго яга: между Западомъ и московскою Русью стояло литовско-польское государство, также враждебное ей и покушавшееся на ея самостоятельность. На борьбу съ этимъ государствомъ, хотя и христіанскимъ, но все же иновѣческимъ, московскіе люди перенесли тѣ взгляды на себя и своихъ противниковъ, какіе они выработали въ борьбѣ съ язычниками, поэзіею мусульманами. Польскіе и литовскіе католики также получаютъ въ устахъ москвичей названіе «поганыхъ», «латинство» подъ вліяніемъ естественнаго раздраженія въ борьбѣ и византійскихъ увѣщаній представляется не менѣе грознымъ врагомъ православія, чѣмъ и магометанство. (Здѣсь съ католиками начинается считаться грѣхомъ и въ

быль свергнуть и заточень, а на его мѣсто былъ выбранъ русскими іерархами новый митрополитъ безъ ссылки съ Константинополемъ. Эти событія окончательно укрѣпили среди москвичей убѣжденіе, что православіе въ чистомъ своемъ видѣ сохранилось только на Руси, которая и должна теперь исключительно на себя принять его защиту и охрану. Такое противопоставленіе московской Руси другимъ православнымъ странамъ наполняло отрадой и гордостью сердца московскихъ патріотовъ. «Сія убо вся благочестивая царствія,—писалъ одинъ изъ нихъ,—греческое и сербское, басапское и арбаназское, грѣхъ ради нашихъ Божиимъ поущеніемъ безбожніи турци поплѣниша и въ запустѣніе положиша и покорisha подъ свою власть. Наша же Русійская земля Божіею милостію и молитвами пречистыя Богородицы и всѣхъ святыхъ чудотворецъ растеть, и младѣть, и возвышается. Ей же, Христе милостивый, даждь расти, и младѣти, и расширяться и до скончанія вѣка». Всѣ православныя страны потеряли свою независимость, потеряли потому, что не сумѣли сохранить самого православія, одна Москва не только не пала, но еще все усиливается. Естественно было появиться мысли, что въ этомъ виной большее правовѣріе Москвы сравнительно съ другими, и такая мысль, дѣйствительно, не замедлила зародиться. Другой писатель-патріотъ, рассказывая о Флорентинскомъ соборѣ, влагасть уже въ уста императора Іоанна такія лестныя для Москвы слова: «яко восточніи земли суть большее православіе и высшее хрестіанство—Бѣлая Русь». Постепенно развиваясь, мысль объ утратѣ греками чистоты вѣры и первенства въ православномъ мірѣ и о замѣнѣ въ этомъ отношеніи Византіи Москвою нашла себѣ, наконецъ, полное выраженіе въ сказаніи о трехъ Римахъ.

Два было Рима, утверждалъ псковской старецъ Филофей: первый былъ великъ и славенъ, но увлекся въ папскую ересь и палъ, его значеніе и слава вмѣстѣ съ правой вѣрой перешли на второй Римъ—Византію. И эта послѣдняя послѣ долгаго времени тоже свернула съ пути истинны, измѣнила православію, приняла латинскую ересь и въ наказаніе за это предана агарянамъ; на мѣстѣ соборной церкви града Константина воцарилась мерзость заупустѣнія, а православная вѣра «испроказилась Махметовой прелестію отъ безбожныхъ турокъ». Прежнее значеніе этихъ двухъ Римовъ перешло на третій—Москву, гдѣ процвѣло благочестіе и возсіяла благодать гдѣ вѣра сохранилась чистой и невредимой. Уже не храмъ св. Софіи въ Царьградѣ, а Успенскій соборъ въ Москвѣ является центромъ православнаго міра. Политическіе успѣхи Москвы ставились такимъ образомъ русскими книжниками въ тѣсную связь съ сохранившимся въ ней правовѣріемъ и даже исключительно объяснялись послѣднимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно сообщало московскому государству новое значеніе главы православія. Единственное уцѣлѣвшее изъ православныхъ государствъ въ

мавію релігій, соединилось невѣжество, не позволявшее сохранить въ неизмѣнности даже внѣшнюю ея форму. Начались споры о томъ, два или три раза пѣть аллилуіа, двумя или тремя пальцами креститься и т. п., и въ подобныхъ преніяхъ не разъ «не могли dospѣть» отцы нарочно для нихъ разрѣшенія созданныхъ соборовъ. Съ той поры, однако, какъ русская земля была признана единственной обладательницей чистой вѣры, нашелся и критерій для разрѣшенія подобныхъ споровъ: тамъ, гдѣ русскій обрядъ дазлогласилъ съ греческимъ, правильнымъ признавался первый, и такимъ путемъ не мало искаженныхъ обрядовъ и случайныхъ ошибокъ переписчиковъ священныхъ книгъ было введено въ практику русской церкви. Отсутствіе серьезной, вооруженной знаніемъ и критикой мысли въ сферѣ релігіозныхъ отношеній повело еще и къ другому послѣдствію. Нравственные требованія, какія ставила церковь своимъ членамъ, равнымъ образомъ выродились въ сухую и мертвенную обрядовую форму и опирались гораздо болѣе на внѣшнее принужденіе, чѣмъ на сознательное и свободное самоопредѣленіе личности. Соответственно этому опредѣлилось и ихъ примѣненіе въ житейской практикѣ: для однихъ они потеряли всякое серьезное значеніе, оставаясь одною внѣшнею сдержкой, мало препятствовавшей на дѣлѣ разгулу страстей, другихъ буквальное слѣдованіе формѣ увлекало въ мрачный и односторонній монашескій аскетизмъ. Чѣмъ гуще становился съ теченіемъ времени окутывавшій московскую Русь мракъ невѣжества, тѣмъ удушливѣе дѣлалась атмосфера умственной жизни народа, тѣмъ менѣе находило себѣ оправданія на практикѣ гордое самовосхваленіе московскихъ книжниковъ. Эти явленія не ускользнули отъ наблюденія жившихъ въ то время въ Москвѣ иностранцевъ, которые въ своихъ сочиненіяхъ о московскомъ государствѣ оставили намъ печальную картину необразованности народа.

Но не такъ смотрѣли на дѣло сами московскіе люди. Тотъ, полный оптимизма, взглядъ, какой выработался у нихъ на окружавшую ихъ дѣйствительность, тѣ мессіанистическія воззрѣнія, какія они связывали съ настоящимъ и будущимъ своей страны, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи неизбежно приводили ихъ къ полному квіетизму. Москвѣ незачѣмъ было заботиться о движеніи впередъ, о развитіи какихъ-либо новыхъ началъ, когда и старыя не только спасали ее, но еще доставляли ей выгодное и лестное положеніе третьяго Рима, идеальнаго центра вселенной. Ей предстояло только сохранить въ цѣлости извѣстную форму релігій, въ народномъ представленіи неразрывно связанную уже съ самою національностью, и этого было достаточно для рѣшенія вопроса о настоящей и будущей жизни народа. Самая связь релігій съ народностью, благодаря своей продолжительности и исключительности, сдѣлалась обоюдной: слова «русскій» и «православный» стали синонимами и, если съ одной стороны въ составъ

свое, полученное отъ предковъ, сокровище, какъ огня чуждаясь общенія съ иноземцами. При этомъ обязанность наблюденія за сохраненіемъ даннаго строя жизни лежала на іерархіи, не только духовной, но и свѣтской, которая, входя сама въ составъ порядка, освященнаго религіей, должна была на охрану послѣдней прежде всего обращать свою власть. Умственная самостоятельность всего народа сводилась къ нулю. Всякое измѣненіе, всякое, самое незначительное, отступленіе отъ установившихся порядковъ было тяжкимъ грѣхомъ и вмѣстѣ преступленіемъ, такъ какъ оно колебало краеугольный камень всей системы—вѣру въ исключительное правотворіе Москвы. Но такое отреченіе отъ умственной дѣятельности, отъ дальнѣйшаго свободнаго развитія, отъ общенія съ иноземцами еще поддерживало, развивало и укрѣпляло тѣ заблужденія и ошибки, которыя уже вкрались въ умственную и, въ частности, религіозную жизнь народа.

Проявленія невѣжества и суевѣрія въ этой жизни по временамъ оставляли на себѣ вниманіе отдѣльных, болѣе просвѣщенныхъ и мыслящихъ людей московскаго общества и порою вызывали даже у нѣкоторыхъ церковныхъ іерарховъ стремленіе исправить зло, но такое исправленіе было при данныхъ условіяхъ очень трудно и благія пожеланія оставались неисполненными. Въ своей средѣ не хватало для этого необходимыхъ силъ въ видѣ образованныхъ людей, а на тѣхъ людей даже православнаго Востока, которые могли бы взяться за такое дѣло, въ Москвѣ готовы были смотрѣть, какъ на еретиковъ, въ то самое время, какъ національное самомнѣніе въ связи съ уваженіемъ къ обрядности заставляло видѣть не прикосновенную святыню въ каждой буквѣ священной книги, въ каждой подробности роднаго обряда. Характерна въ этомъ смыслѣ исторія Максима Грека. Ученый афонскій монахъ, онъ пріѣхалъ въ Москву для разбора великокняжеской бібліотеки и здѣсь ему поручили просмотръ и исправленіе церковныхъ книгъ, испорченныхъ невѣжественными переписчиками. Его исправленія вызвали, однако, сильныя жалобы: «велию, о человеѣче,—говорили ему московскіе люди—досаду тѣмъ дѣломъ прилагаеши въ земли нашей чудотворцемъ: они бо сицевыми книгами благоугодиша Богови». Максимъ подвергся обвиненію въ ереси и былъ заточенъ въ монастырь. Одинъ изъ помогавшихъ ему писцовъ рассказывалъ впоследствии, что великій ужасъ и трепетъ объяли его, когда Максимъ велѣлъ ему вычеркнуть нѣсколько строкъ въ исправляемой книгѣ. Великій ужасъ и трепетъ охватывали и большую часть московскаго общества всякій разъ, какъ оно видѣло покушеніе измѣнить что-либо въ родной «святой старинѣ». При такомъ положеніи усилія отдѣльных іерарховъ церкви не приводили ни къ какому результату и, оканчиваясь постояннымъ пораженіемъ, все болѣе ослабляли. Въ текстъ богослужебныхъ книгъ широкой струей вливались различныя ошибки, а люди, пытавшіеся противодействовать этому, плати-

строѣ Москвы, такъ и въ складѣ самосознанія ея населенія. Дѣло заключалось прежде всего въ томъ, что путемъ своихъ успѣховъ въ международныхъ отношеніяхъ московское государство вышло на болѣе широкую политическую арену и вызвало противъ себя болѣе грозныя силы, чѣмъ тѣ, съ какими ему приходилось считаться раньше. Изъ-за старыхъ враговъ Москвы—Литвы и татаръ, отъ которыхъ она обороняла русскую землю, въ концѣ 16-го вѣка поднялись новые и гораздо болѣе опасныя въ лицѣ Польши и Турціи. Нельзя сказать, что теорія, ставившая Москву центромъ и главою православія, не предвидѣла такихъ результатовъ: она указывала на необходимость борьбы, которая теперь возникала, но, ставя свои теоретическія положенія, плохо рассчитала ихъ отношеніе къ дѣйствительности. Когда московское правительство, расширяя свои завоевательные планы, попыталось пробиться къ морю и приобрести Ливонію, оно натолкнулось на энергическое сопротивленіе Польши и Швеціи и потерпѣло въ этой борьбѣ рѣшительную неудачу. Вслѣдъ затѣмъ и вообще отношенія московскаго государства къ Польшѣ на нѣкоторое время приобрѣли характеръ какъ разъ обратный тому, какой имѣли отношенія Москвы къ Литвѣ. Пользуясь тяжелымъ положеніемъ государства, разореннаго борьбой и потрясеннаго внутренними смутами, Польша въ свою очередь перешла въ наступательное положеніе и съ оружіемъ въ рукахъ внесла даже католическую пропаганду въ русскіе предѣлы. Лишь грандіозное напряженіе силъ народа сохранило Москвѣ ея самостоятельность и возстановило равновѣсіе боровшихся сторонъ и лишь возстаніе противъ Польши Малороссіи и присоединеніе ея къ Москвѣ вновь доставило послѣдней перевѣсъ въ этой борьбѣ. Но наличность другихъ опасныхъ противниковъ въ лицѣ Турціи и Швеціи заставляла ее тѣмъ не менѣе все увеличивать напряженіе своихъ силъ.

Такъ первымъ результатомъ перемѣны въ положеніи московскаго государства было расширеніе арены его международной борьбы и увеличеніе опасности послѣдней. Такое расширеніе въ свою очередь повлекло за собою сближеніе московской политики съ аналогичной ей политикой нѣкоторыхъ западно-европейскихъ государствъ и усиленіе дипломатическихъ сношеній. Въ 17-мъ вѣкѣ политическій кругозоръ московскихъ людей дѣлается такимъ образомъ шире: Москва ведетъ борьбу съ болѣе значительными государствами и временами вовлекается въ планы иныхъ державъ, государствъ западно-европейскаго міра, съ которыми заключаетъ союзы для совмѣстныхъ дѣйствій противъ общихъ враговъ. То и другое обстоятельства, сами по себѣ еще не особенно важныя, приобрѣли крайне серьезное значеніе, какъ скоро оказалось, что московское государство, оставаясь при старыхъ средствахъ, не въ силахъ удовлетворить требованіямъ новаго своего положенія.

Въ самомъ дѣлѣ, силы противниковъ были настолько велики и настолько лучше организованы, что борьба съ ними являлась для московскаго

иностранцы, но которая до сих поръ была рѣшительно чужда самому русскому обществу, именно, что оно страдаетъ отсутствіемъ настоящаго образованія. Передъ этимъ обществомъ раскрывалась иная, неизвѣстная ему раньше жизнь, иной міръ, и сравненіе его съ московскимъ бытомъ порождало мысль о коренномъ различіи между ними: одинъ представлялся построеннымъ на образованности, на наукахъ, въ другомъ послѣдняя совершенно отсутствовала, такъ какъ «русскіе люди... въ государствѣ своемъ наученія никакого добраго не имѣютъ и не пріемлютъ». Первый былъ богаче, сильнѣе, искуснѣе второго и манилъ къ себѣ всеми наслажденіями, кѣмъ могла обѣщать высшая и болѣе утонченная культура. Съ того момента, какъ сознаніе этого различія проникло въ среду московскаго общества, міръ послѣдняго былъ нарушенъ. Оно увидало теперь необходимость въ общеніи съ другими народами подвергнуть повѣркѣ систему, созданную имъ въ то время, когда народъ впервые увидалъ себя заключеннымъ въ одно государство, и какъ раньше его самосознаніе выработалось подъ влияніемъ отношеній къ сосѣдямъ, такъ теперь измѣненіе этихъ отношеній повело къ критикѣ раѣе выработанныхъ формулъ.

Естественно, такая критика появилась не сразу. Ей предшествовали простыя заимствованія отъ иностранцевъ въ области матеріальнаго быта. Какъ государство стремилось перенять у иноземцевъ ихъ военную и промышленную технику, такъ отдѣльныя лица, по преимуществу изъ среды высшаго класса, стали перенимать подробности домашней обстановки, вводить къ себѣ продукты европейской промышленности и искусства. Слѣдомъ за этой первоначальной стадіей заимствованія неизбѣжно являлась, однако, и вторая, болѣе сознательная, въ видѣ пробужденія критическаго отношенія къ родной обстановкѣ, въ результатъ котораго возникали неудовлетворенность старыми формами жизни и стремленіе ближе ознакомиться съ иноземной культурой и съ помощью ея исправить домашніе не-порядки. Къ половинѣ 17-го столѣтія въ Москвѣ было уже не мало лицъ, которыя стремились къ разнообразнымъ заимствованіямъ отъ иноземцевъ, начиная съ внѣшнихъ формъ и кончая не существовавшимъ на Руси свѣтскимъ образованіемъ. Но на этотъ путь ступила только одна часть общества. Другая увидѣла въ перемѣнахъ, прокрадывавшихся въ московскій бытъ, начало измѣны извѣчнымъ преданіямъ православія и это побудило ее еще крѣпче ухватиться за эти преданія, еще настойчивѣе пропагандировать ихъ. Однако и эта часть общества подъ влияніемъ событій потеряла свое прежнее спокойно-горделивое настроеніе. Неудачи московскаго государства и перемѣны, происходившія въ русскомъ быту, внушали ей тревожныя опасенія за будущее Москвы, еще недавно рисовавшееся въ такомъ лучезарномъ свѣтѣ. Для людей, отождествлявшихъ Москву съ третьимъ Римомъ и московскій бытъ съ православіемъ, перемѣны этого

неизвѣстнымъ, но во всякомъ случаѣ это существованіе двухъ рѣзко расходящихся вліяній не могло остаться безъ замѣтнаго отраженія на стоявшемъ между ними организмѣ ребенка. Съ раннихъ лѣтъ должно было оно развивать и повышать въ послѣднемъ нервность, вызывая интересъ къ такимъ вопросамъ, которые оставались чуждыми для большинства его сверстниковъ. Противопоставленія небснаго земному, загробнаго міра здѣшнему равно предстали передъ молодымъ умомъ въ устахъ близкихъ людей и приковали къ себѣ его вниманіе. При установившемся уже настроеніи, при развитѣвшейся чуткости къ вопросамъ этого рода достаточно было самаго простого, повидимому, случая, чтобы закрѣпить то и другую и сдѣлать ихъ господствующими чертами характера, и такой случай, конечно, не замедлил представиться. Пришлось разъ мальчику увидать на дворѣ у соседа смерть какой-то скотины; на юный умъ, подготовленный частыми толками окружающихъ о человѣческой жизни и смерти, эта реальная картина смерти произвела удручающее и рѣшительное впечатлѣніе: представленіе объ ужасѣ и неизбежности смерти, объ ежеминутной возможности гибели неизгладимыми чертами врѣзалось въ немъ и ночью ребенокъ, поднявшись съ постели, съ плачемъ началъ молиться передъ образомъ «о душѣ своей, поминая смерть». Съ той поры онъ и до конца жизни не оставлялъ уже обычая тайной ночной молитвы.

Первые же впечатлѣнія сознательной жизни ребенка направляли такимъ образомъ его мысли и интересы въ опредѣленную сторону. Полное рѣшеніе возникавшихъ отсюда вопросовъ возможно было, однако, лишь въ болѣе широкой сферѣ и Аввакумъ нашель ее современемъ въ книгахъ, въ занятіяхъ чтеніемъ. Какъ шли эти занятія, мы опять-таки не знаемъ и можемъ судить объ нихъ лишь по ихъ результатамъ. Впослѣдствіи, выступая въ роли проповѣдника, Аввакумъ обнаруживалъ весьма значительную для своего времени начитанность. Ему были хорошо знакомы не только всѣ книги св. Писанія, переведенныя на славянскій языкъ, не только циркулировавшія въ Россіи творенія отцовъ церкви, но и многія апокрифическія сказанія. Равнымъ образомъ хорошо зналъ онъ и циклъ чисто русскихъ сказаній и повѣстей, какъ повѣсть о бѣломъ клобукѣ, сказаніе о трехъ Римахъ и т. п. Можно сказать, что ему была извѣстна почти вся тогдашняя литература, доступная для русскаго грамотнаго человѣка. Въ ея произведеніяхъ, сплошь проникнутыхъ религіозными и націоналистическими идеями, полныхъ смиреннаго отреченія отъ земныхъ благъ и горячаго мистическаго увлеченія, живо рисовавшихъ борьбу вѣры съ соблазнами міра, юный читатель почерпалъ теоретическія обобщенія знакомыхъ ему фактовъ жизни, находилъ указанія для своей дѣятельности и постепенно изъ него складывался исповѣдникъ суроваго нравственнаго ригоризма, соединеннаго съ монашескимъ аскетизмомъ, съ презрѣніемъ къ міру и его слабостямъ.

не отступающимъ отъ преподаваемаго ученія. Строго выполнялъ онъ свое призваніе, какъ понималъ его, съ неослабной ревностью наставлялъ и поучалъ своихъ духовныхъ дѣтей, съ мелочной, буквальной точностью исправлялъ всѣ обряды церковнослуженія. Въ то время многіе священники усвоили обычай многогласія въ служеніи: чтобы сократить церковную службу и въ то же время ничего не выпустить изъ нея, ее совершали въ нѣсколько голосовъ, такъ что дьячокъ читалъ каѳизмы въ то самое время, какъ діаконъ провозглашалъ ектенію, а священникъ дѣлалъ возгласы, и все это вмѣстѣ съ пѣніемъ хора сливалось въ неясный шумъ, совершенно непонятный для молящихся. Аввакумъ не послѣдовалъ этому обычаю и совершалъ службу медленно, по уставу. Но церковнымъ служеніемъ не ограничивалъ онъ круга своей дѣятельности. Съ тѣми же требованіями чистой, нравственной жизни, какія онъ предъявлялъ къ самому себѣ, онъ обращался и къ другимъ, и прежде всего къ своимъ прихожанамъ.

Среди послѣднихъ его дѣятельность вызывала неодинаковое отношеніе. Одни готовы были видѣть въ молодомъ священникѣ настоящаго пастыря и приписывали ему всю ту силу, какая соединялась тогда съ этимъ понятіемъ: къ нему приводили бѣсноватыхъ, прося исцѣлить ихъ, и онъ держалъ ихъ въ своемъ домѣ, леча молитвой и освященнымъ масломъ. «И сила Божія—прибавляетъ Аввакумъ, рассказывая объ этомъ,—отгоняше отъ челоуѣкъ бѣсы и здрави бываху». Но людей, которые подчинялись сразу духовному авторитету священника, было меньшинство. Большинство же возмущалось тѣми суровыми требованіями, какія ставилъ Аввакумъ, и не прочь было протестовать противъ нихъ. Такой протестъ еще облегчался тѣмъ обстоятельствомъ, что Аввакумъ, преглѣдуя цѣли внесенія благочинія въ духовную жизнь своей паствы, не останавливался ни передъ чѣмъ и неспособенъ былъ жертвовать тѣмъ, что считалъ истиной, случайнымъ обстоятельствамъ и отдѣльнымъ людямъ. Какой-то «начальникъ» отнялъ разъ дочь у вдовы; Аввакумъ вступился и началъ увѣщевать его возвратить дѣвушку матери. Начальникъ, вознегодовавъ на такое вмѣшательство въ его дѣла, возмущилъ противъ Аввакума прихожанъ, толпа которыхъ напала послѣ этого на своего священника у церкви и избива почти до смерти, такъ что онъ едва пришелъ въ себя. Но и это не утишило его ревности и онъ продолжалъ свои настоянія, пока начальникъ не отдалъ дѣвушки. Впрочемъ, черезъ нѣсколько времени послѣдній, должно быть, раскаялся въ этомъ: приди въ церковь, онъ самъ уже избилъ Аввакума и въ ризахъ волочилъ его за ноги по землѣ. Неспособность подчинять свои взгляды желаніямъ прихожанъ причиняла Аввакуму хлопоты и въ другомъ вопросѣ. Прихожане требовали, чтобы онъ служилъ въ церкви скорѣе, а онъ не считалъ себя въ правѣ исполнить это, и новыя столкновенія между священникомъ и приходомъ не заставили себя ждать. Начальникъ, на этотъ

только отказался благословить его, но еще и «отъ Писанія его порицалъ», такъ что всплывшій Шереметевъ приказалъ было бросить его въ Волгу. Въ рѣку священника, правда, не бросили, но проводили съ судна побоями.

Наконецъ строгія требованія Аввакума въ связи съ его деспотическими замашками сдѣлали совершенно невозможными миръ и согласіе между нимъ и его прихожанами. Последніе рѣшительно возстали противъ своего пастыря и заставили его удалиться изъ прихода. Опять отправился Аввакумъ въ Москву и на этотъ разъ по ходатайству друзей былъ назначенъ протопопомъ въ Юрьевецъ-Повольскій. Но недолго пришлось ему прожить и на новомъ мѣстѣ. Его строгія правила, суровыя обличенія, стремленіе всѣхъ подчинить своей волѣ во имя идеала правдолюбивой жизни возстановили противъ него не только міряне, но и духовенство, надъ которымъ онъ былъ непосредственнымъ начальникомъ и которое поэтому болѣе всѣхъ могло испытывать на себѣ тяжесть его власти. Уже черезъ восемь недѣль въ городѣ вспыхнуло цѣлое возмущеніе противъ протопопа: до полуторы тысячъ человекъ, мужчины съ батогами, бабы съ рычагами, собралось къ патріаршему приказу, гдѣ Аввакумъ занятъ былъ духовными дѣлами. Суроваго протопопа вытащили на улицу, били, чѣмъ попало, до того, что онъ потерялъ сознаніе, и убили бы на мѣстѣ, еслибы не прибѣжалъ на выручку воевода съ пушкарями. Едва на лошади умчали Аввакума отъ разъяренной толпы въ его дворъ и къ последнему пришлось поставить стражу изъ пушкарей же, чтобы охранить протопопа отъ покушеній на его жизнь. Два дня лежалъ онъ, оправляясь отъ послѣдствій тяжкихъ побоевъ, и все это время въ городѣ царило смятеніе: народъ, подбужаемый попами, волновался и на улицахъ раздавались бѣшеные крики: «убить его, да и тѣло собакамъ въ ровъ кинуть». На третій день ночью Аввакумъ тайно бѣжалъ изъ Юрьевца, оставивъ тамъ жену и дѣтей, и направился въ Москву. По дорогѣ зашелъ онъ въ Кострому, гдѣ рассчитывалъ найти своего знакомаго и пріятеля, протопопа Данила, но, придя туда, узналъ, что и Данила постигла такая же участь, какъ его: за нѣсколько времени передъ тѣмъ его также изгнали прихожане и онъ бѣжалъ въ Москву. Аввакуму оставалось только продолжать свой путь туда же. Прибывъ въ столицу, онъ явился къ царскому духовнику, но какъ этотъ послѣдній, такъ и самъ царь остались сперва недовольны бѣгствомъ его изъ Юрьевца. Вскорѣ однако неудовольствіе это сгладилось и забылось; Аввакумъ остался въ Москвѣ и еще тѣснѣе и ближе сошелся со здѣшними своими пріятелями.

Только что разсказанныя событія происходили въ 1651 году. Со времени поставленія въ священники восемь лѣтъ провелъ Аввакумъ въ попыткахъ осуществленія своихъ взглядовъ и идеаловъ на практикѣ во всей ихъ полнотѣ и цѣльности. Восемь лѣтъ прошло въ упорной борьбѣ

ственнымъ силамъ. Это послѣднее обстоятельство и помогло имъ собрать около себя цѣлый кружокъ лицъ, раздѣлявшихъ ихъ воззрѣнія и готовыхъ дѣйствовать въ духѣ проповѣдуемыхъ ими идей. Тутъ были и костромской протопопъ Давидъ, и муромскій протопопъ Лонгинъ, и ученый діаконъ московскаго Благовѣщенскаго собора Федоръ, и поны романовскій Лазарь и суздальскій Никита. Среди этихъ лицъ, въ большинствѣ выходцевъ изъ провинціи, по преимуществу же изъ Нижегородской области, не было людей, которые могли бы похвалиться сколько-нибудь глубокимъ образованіемъ, но всѣ они были исполнены фанатическою ревностью къ вѣрѣ. Связанные между собою убѣжденіемъ, что истинная вѣра сохранилась только въ московской Русѣ, они смотрѣли на Вонифатѣева и Неронова, особенно же на послѣдняго, какъ на своихъ руководителей и наставниковъ, призванныхъ соблюсти чистоту русской церкви и укрѣпить ея правовѣріе путемъ возвращенія къ древней обрядовой строгости.

Вліяніе Вонифатѣева и Неронова распространялось однако не только на круги одинаковаго по положенію съ ними духовенства и ихъ пасты, оно шло и дальше, равно проникая въ высшую свѣтскую и духовную іерархію. Царь Алексѣй Михайловичъ, высоко ставившій въ людяхъ набожность и благочестіе, лично зналъ главнѣйшихъ членовъ кружка Неронова и цѣнили эти ихъ достоинства. Благодаря этому, и патріархъ Іосифъ, хотя и не вполне охотно, все же въ извѣстной мѣрѣ считался съ ихъ авторитетомъ и даже вынужденъ былъ въ значительной степени слѣдовать ихъ указаніямъ въ церковныхъ дѣлахъ. Такимъ образомъ въ то время, когда Аввакумъ изъ Юрьевца явился въ Москву, кружокъ протопоповъ пользовался здѣсь сильнымъ вліяніемъ, основывая его какъ на личномъ расположеніи къ главнымъ своимъ представителямъ со стороны царя, такъ и на своемъ умственномъ и нравственномъ превосходствѣ надъ остальнымъ духовенствомъ. Дружбы этого кружка заискивали даже очень сильные люди. Самъ митрополитъ новгородскій Никонъ, въ которомъ уже тогда прозрѣвали будущаго патріарха, дружилъ съ протопопами и раздѣлялъ ихъ взгляды. Подобно имъ, онъ считалъ въ ту пору московскую Русь хранилищемъ истиннаго благочестія и заподозривалъ правовѣріе греческаго Востока: «гречане—говаривалъ онъ въ дружескихъ бесѣдахъ съ московскими протопопами—потеряли вѣру, и крѣпости и добрыхъ нравовъ нѣтъ у нихъ, своимъ чревамъ работаютъ и постоянства въ нихъ не объявилось и благочестія нимаго». Подобно другимъ членамъ кружка, и онъ мечталъ тогда лишь о такихъ частныхъ исправленіяхъ церковныхъ неурядицъ, которыя не сходили бы съ почвы русской старины.

Къ этому-то тѣсно сплоченному кружку примкнулъ и Аввакумъ, явившись изъ Юрьевца. Съ членами его онъ ранѣе былъ уже знакомъ и находился въ тѣсныхъ пріятельскихъ отношеніяхъ; и его связывали съ ними

сумасшествіемъ. Иногда по нѣсколько этихъ несчастныхъ одновременно жило въ домѣ протопопа, который лечилъ ихъ молитвой и святой водой, а въ экстренныхъ случаяхъ и «смирялъ» побоями. Но всѣ эти занятія далеко не поглощали теперь всецѣло его времени и вскорѣ отступили даже на задній планъ передъ болѣе важными.

Время переселенія Аввакума въ Москву какъ разъ совпало съ началомъ серьезнаго выступленія Неронова и его пріятелей на почвѣ исправленія церковной жизни. Собственно, уже самая разсылка нѣкоторыхъ членовъ кружка на протопопіи въ провинціальныя города была своего рода попыткой пропаганды взглядовъ кружка, но эта попытка не имѣла большого успѣха. Ея неудача не ослабила однакоже энергіи кружка и не подорвала его дѣятельности въ самой Москвѣ. Напротивъ, она, повидимому, лишь усилила его рвеніе къ исправленію церковныхъ неустройствъ и, въ частности, чина церковной службы. Особенно рѣзко выступалъ въ этомъ случаѣ Нероновъ: онъ не только самъ служилъ единогласно, но и другихъ всячески увѣщевалъ къ тому же. Дѣятельную поддержку нашелъ онъ у Никона, который у себя въ Новгородѣ завелъ единогласное служеніе и партесное пѣніе и, пріѣзжая въ Москву со своими выписанными изъ Кіева пѣвчими, служилъ въ присутствіи царя именно такъ, какъ этого требовали протопопы. За то противъ послѣднихъ возсталъ низшее московское духовенство, которое увидало въ единогласіи новшество, нарушающее древній чинъ службы, а, слѣдовательно, посягающее и на правотѣріе. Такое отождествленіе обряда съ вѣрой ярко выступило въ страстныхъ жалобахъ московскихъ поповъ на Неронова. Одинъ изъ наиболѣе ревностныхъ защитниковъ многогласія, не успѣвъ въ своихъ доводахъ въ его пользу, предлагалъ для рѣшенія спора бросить жребій съ Нероновымъ: «и буде его вѣра права, и онъ и всѣ учнутъ пѣть и говорить», какъ того требуетъ Нероновъ. Не менѣе рѣзкія нападки вызывалъ и вводившійся Нероновымъ съ товарищами обычай говорить проповѣди въ церкви. «Заводите вы, ханжи,—говорили поны—ересь новую—единогласное пѣніе и людей въ церкви учите, а мы людей прежь сего въ церкви не учивали, а учивали ихъ втайнѣ». Самъ патріархъ Іосифъ, повидимому, впрочемъ, не столько по убѣжденію, сколько въ силу личныхъ отношеній, былъ противъ дѣйствій протопоповъ, и лишь дружнымъ усиліемъ послѣднихъ, поддержанныхъ новгородскимъ митрополитомъ и царемъ, удалось одержать побѣду въ этомъ вопросѣ. Въ данномъ случаѣ Нероновъ и его товарищи выступили, такимъ образомъ, на цѣть возстановленія обрядовой чистоты церковнослуженія, устраняя вошедшія въ него съ теченіемъ времени искаженія. Но на этомъ пути они скоро встрѣтились съ людьми, заставившими ихъ занять совершенно иную позицію.

Еще въ 1649 году бояринъ Ртищевъ пригласилъ въ устроенный имъ

малорусскіе монахи встали въ рѣзкій антагонизмъ съ кружкомъ великоименитыхъ протопоповъ и обѣ стороны взглянули другъ на друга, какъ на враговъ. Такое отношеніе двухъ кружковъ, изъ которыхъ каждый думалъ заботиться о преобразованіи церковныхъ порядковъ въ смыслѣ возвращенія ихъ къ старинѣ, не заключало въ себѣ никакого недоразумѣнія; оно совершенно естественно и неизбежно вытекало изъ различія основныхъ принциповъ ихъ дѣятельности. Все дѣло было въ томъ, что въ этихъ кружкахъ рѣчь шла о совершенно различной старинѣ. Тогда какъ ученые малороссы ставили идеаломъ старину вселенскую и съ нею сравнивали современную имъ московскую дѣйствительность, протопопы говорили о старинѣ московской, которую они отождествляли со вселенской, находя ее къ тому же, за отсутствіемъ большихъ историческихъ свѣдѣній, въ очень недалекомъ прошломъ, а современную имъ практику всѣхъ другихъ православныхъ церквей заподозривали въ еретичествѣ. Изъ этого основного различія въ пониманіи цѣли вытекало далѣе и различіе средствъ. Малороссы считали неизбежнымъ ознакомленіе съ западной наукой; московскіе протопопы отвергивались отъ нея съ отвращеніемъ и искали опоры въ одной вѣрѣ; одни убѣждали въ необходимости историческаго изученія запутавшихся вопросовъ церковной обрядности и привлеченія для ихъ рѣшенія опыта вселенской православной церкви, другіе считали возможнымъ довольствоваться своими личными воспоминаніями и своей домашней литературой, отрицая опытъ иныхъ церквей, какъ неправовѣрный, и противопоставляя ихъ практикѣ свою. При такомъ различіи взглядовъ и положеній враждебныя отношенія между двумя кружками были неминуемы. Широкая программа очищенія обрядовъ русской церкви, выставленная кіевскими учеными, заставила кружокъ Вонифатьева и Неронова принять оборонительное положеніе, и въ отвѣтъ на упреки въ невѣжествѣ послышались обвиненія въ ереси. Среди московскаго духовенства поднимался все болѣе рѣзкій ропотъ противъ новшествъ, вводимыхъ пріѣзжими «хотлами». Обѣ стороны готовились помѣряться силами и ждали начала борьбы.

Пока живъ былъ слабый патріархъ Іосифъ, Нероновъ и Вонифатьевъ съ товарищами чувствовали силу на своей сторонѣ. Но 15 апрѣля 1652 года Іосифъ умеръ. Въ сущности вопроса о личности новаго кандидата на патріаршій престолъ не могло и возникнуть, такъ какъ онъ всецѣло разрѣшался всѣмъ извѣстною любовью царя къ Никону. Тѣмъ не менѣе кружокъ Неронова сдѣлалъ, кажется, попытку выставить кандидатуру человека, котораго онъ могъ бы съ полною и безусловною увѣренностью считать своимъ, именно протопопа Стефана Вонифатьева. Правда, разсказъ Аввакума, отъ котораго мы только и имѣемъ свѣдѣнія объ этой попыткѣ, нѣсколько спутанъ: въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что Нероновъ съ

лицъ, окружавшихъ Неронова и Вонифатьева. Онъ сталъ прислушиваться и къ другимъ голосамъ, раздававшимся изъ кружка малороссовъ, ближе сошелся съ Елифаніемъ Славинецкимъ и скоро окончательно перешелъ на сторону кievскихъ ученыхъ, рѣшивъ привлечь къ дѣлу церковнаго исправленія опытъ иныхъ церквей. Съ этой минуты въ его рукахъ самое дѣло исправленія церковныхъ обрядовъ приблизилось къ ихъ реформѣ. Это измѣненіе программы повлекло за собою и соответственное измѣненіе способа дѣйствій патріарха: начатое при Іосифѣ дѣло исправленія церковныхъ книгъ было поставлено на новыхъ основаніяхъ, іосифовскіе справщики книгъ, набранные изъ русскаго духовенства, были удалены отъ должности, а на ихъ мѣсто назначенъ начальникомъ печатнаго двора Славинецкій, вокругъ котораго собрана была коммиссія изъ ученыхъ кievскихъ монаховъ.

Въ такихъ дѣйствіяхъ патріарха протопопы должны были увидѣть личную измѣну прежняго пріятеля, но вмѣстѣ съ тѣмъ эта измѣна пріобрѣтала для нихъ особенное значеніе, благодаря той почвѣ, на которой она совершалась. Патріархъ предпочелъ чуждую науку русскому правовѣрію, сошелся съ еретиками, которыхъ самъ прежде хулилъ, очевидно, онъ готовится внести ересь въ русскую церковь. Такое впечатлѣніе породили дѣйствія Никона въ его бывшихъ пріятеляхъ и единомышленникахъ, и они съ враждебною подозрительностью смотрѣли на патріарха, готовясь увидѣть въ его дальнѣйшихъ распоряженіяхъ признаки еретической новизны. Ожиданія и не замедлили оправдаться.

Великимъ постомъ 1653 года Никонъ разослалъ по церквамъ указъ не творить земныхъ поклоновъ въ чотыредесятницу, исключая лишь чотырехъ большихъ при чтеніи молитвы Ефрема Сирина, и креститься тремя перстами, а не двумя. Для подозрительно и враждебно настроеннаго кружка Неронова этотъ указъ явился началомъ ожидавшейся «еретической зимы». «Мы же задумались, сошедшеся между собою,—разсказывалъ впослѣдствіи Аввакумъ—видимъ, яко зима хоцетъ быти: сердце озябло и ноги задрожали. Нероновъ мнѣ приказалъ церковь, а самъ единъ сокрылся въ Чудовъ,—седмичу въ палаткѣ молился. И тамъ ему отъ образа гласъ бысть во время молитвы: время приспѣ страданія! Подобааетъ вамъ неослабно страдати!» Сильный ропотъ поднялся среди всего кружка Неронова. Аввакумъ и Даніилъ задумали выступить съ протестомъ и, составивъ «выписку» о поклонахъ и о крестномъ знаменіи, подали ее Алексію Михайловичу. Этотъ шагъ не имѣлъ послѣдствій, но и протопопы рѣшили не подчиняться распоряженіямъ патріарха и, не стѣсняясь, громко осуждали ихъ. Между двумя партіями завязывалась рѣшительная борьба и какъ характеры лицъ, принявшихъ въ ней участіе, такъ и глубокое различіе борющихся сторонъ должны были сдѣлать ее упорной и ожесточенной.

Никонъ былъ не такимъ человѣкомъ, чтобы оставить безъ отвѣта бро-

а затѣмъ, 4 августа 1653 года, отправленъ въ Вологду, въ Спасокаменный монастырь. Его приверженцы рѣшили еще средство отстоять своего вождя и вмѣстѣ спасти отъ гибели свое дѣло и съ этою цѣлью подали царю челобитную о возвращеніи Неронова изъ ссылки, написанную протопопомъ Аввакумомъ. Послѣдній въ этотъ моментъ вообще выдвигается впередъ и даже цѣляется послѣ удаленія Неронова руководить дѣятельностью всего кружка: его пламенная энергія, горячее убѣжденіе въ правотѣ защищаемаго дѣла и способность умѣлой пропаганды вмѣстѣ съ готовностью идти до послѣдней крайности въ значительной степени оправдывали такіа притязанія, выделяя его изъ среды товарищей по кружку.

Далеко не всѣ члены кружка и сторонники Неронова склонны были, однако, признать Аввакума своимъ вождемъ. Въ глазахъ нѣкоторыхъ изъ нихъ начало гоненія на кружокъ протопоповъ явилось преддверіемъ предсказаннаго въ Кирилловой книгѣ отпаденія русской церкви отъ православія, но у другихъ еще преобладало примирительное настроеніе и нежеланіе доходить до безусловнаго разрыва съ главой русской церкви, къ чему явно вѣль протопопъ. Попы Казанскаго собора, гдѣ онъ замѣнилъ было Неронова, рѣшительно отказались признать его главенство, будучи особенно недовольны тѣмъ, что онъ въ своихъ поученіяхъ народу «много лишняго говорилъ», крайне рѣзко нападая на распоряженія церковныхъ властей, и предложили ему служить въ соборѣ по очереди, на правахъ товарищества. Напрасно Аввакумъ ссылался на свой санъ протопопа и на то, что ему Нероновъ, уѣзжая, поручилъ церковь; попы отвѣчали, что протопопъ онъ въ Юрьевцѣ, а не въ Москвѣ, что же касается Неронова, то онъ имъ ничего не говорилъ на счетъ подчиненія Аввакуму. Тогда послѣдній, раздраженный и оскорбленный, удалился изъ собора, отказавшись отъ всякихъ сношеній съ его священниками, и отправился въ домъ Неронова. Тамъ рѣшилъ онъ отбывать церковныя службы и сторонники его убѣждали народъ собираться къ нему, замѣчая по адресу казанскихъ поповъ, что «въ иную пору и конюшня лучше церкви бываетъ».

Но положеніе главы протестующаго кружка, принятое на себя Аввакумомъ среди начавшейся борьбы, навлекло на него неизбежную месть со стороны патриарха, котораго извѣщали обо всѣхъ его дѣйствіяхъ. 13-го августа, въ субботу, когда Аввакумъ собрался «съ братією о Господѣ побдѣти» въ сушиль въ Нероновскомъ домѣ, служба была прервана появленіемъ патриаршаго боярина Бориса Нелединскаго со стрѣльцами. Протопопа арестовали и отвезли на патриаршіи дворъ, гдѣ его приковали на цѣпь и такъ продержали до утра. Утромъ, все съ цѣпью на шеѣ, его посадили въ телѣгу, отвезли въ Андроньевъ монастырь и тамъ посадили на цѣпь въ темномъ погребѣ. Три дня и три ночи держали здѣсь протопопа, не давая ему ни пищи, ни воды; только на третій день нашелся какой-то

стриженія его, когда за него вступился самъ царь. Алексѣй Михайловичъ вполне вѣрился Никону въ церковныхъ дѣлахъ и отстранялъ все протесты противъ него, но не могъ еще всецѣло отказаться и отъ прежнихъ своихъ симпатій. Съ Аввакумомъ его сверхъ того соединяла личная привязанность, къ стойкому протопопу расположена была и царица Марья Ильинишна, вообще склонная къ старинѣ, наконецъ, за него могъ ходатайствовать и другъ его Вонифатьевъ, еще сохранившій отчасти свое вліяніе на царя. Поэтому-то, когда Аввакума готовились уже разстригать, Алексѣй Михайловичъ сошелъ съ своего царскаго мѣста и, подойдя къ патріарху, сталъ упрашивать его изъавить мятежнаго протопопа отъ этого униженія. Уговоры царя подѣйствовали на Никона, разстриженіе Аввакума было отменено и по отношенію къ нему ограничилось одной ссылкой въ Сибирь. Его отвели изъ собора въ Сибирскій приказъ и черезъ нѣсколько дней вмѣстѣ съ семьей отправили въ Тобольскъ.

Такъ закончился второй періодъ жизни Аввакума, тотъ краткій періодъ, когда онъ, живя въ Москвѣ, пользовался сравнительнымъ спокойствіемъ, благодаря тому, что окружавшая его обстановка находилась въ полной гармоніи съ его настроеніемъ и взглядами. Послѣ непродолжительнаго отдыха для него опять наступала пора борьбы и страданій. Но теперь и эта борьба, и эти страданія получали въ сознаніи самого Аввакума и значительной части современнаго ему общества новое значеніе. Если раньше онъ боролся противъ слабостей и грѣховъ міра, искореняя ихъ во имя идеаловъ высшей, духовной жизни, если тогда онъ могъ стоять на почвѣ для всехъ равно обязательной морали родной старины и только временами, случайно сталкивался съ отголосками иныхъ умственныхъ теченій, то теперь онъ сталъ лицомъ къ лицу съ движеніемъ, исходившимъ изъ началъ противоположныхъ его собственнымъ, и его дѣятельность, переходя съ частной почвы на общую, пріобрѣтала значеніе защиты цѣлаго направленія, охраны родного правословія отъ угрожавшихъ ему чужеземныхъ новшествъ. Присущія Аввакуму личные качества выдвинули его на одно изъ первыхъ мѣстъ въ этой борьбѣ и въ ея зловѣщемъ освѣщеніи его собственная личность—личность человека, гонимаго за убѣжденія,—выросла до размѣровъ апостола и мученика. Ссылкой въ Тобольскъ для Аввакума, дѣйствительно, открылся долготѣнній подвигъ страданія за проповѣдуемыя имъ идеи, надѣвшій на него мученическій вѣнецъ и поставившій его на одно изъ первыхъ и самыхъ почетныхъ мѣстъ въ ряду апостоловъ раскола.

бoвaнiя кь oкpyжaющимъ вo ния cвoихъ нpавcтвeнныхъ идеaлoвъ, вoоружаяcя для ихъ защиты какъ дyxoвнымъ aвтopитeтoмъ, такъ пoдчacъ и пpямo мaтepиaльнoй cилoй. Защищaть же былo чтo, такъ какъ на далeкoй cибирcкoй oкpaинѣ жизнь значитeльнoй чacти oбщecтвa ещe мeнѣe yкладывалacя въ cтpогiя paмки нpавcтвeннocти, чѣмъ въ цeнтpaльныхъ oблаcтяхъ гocyдapcтвa. Аввaкyмъ не замедлил пoвecти дѣятeльнyю бopьбy cъ пpоявлeнiями нpавcтвeннoй pacпyщeннocти oбщecтвa и этa бopьбa cкopo пoзнaкoмилa житeлeй Тoбoльcкa cъ личнocтью пpoтoпoпa.

Уѣхaлъ какъ-тo apхиeпискoпъ въ Мoсквy и въ eгo oтcyтcтвiе пpoизoшлo cтoлкнoвeнiе мeждy Аввaкyмoмъ и apхиeпискoпcкимъ дьякoмъ Ивaнoмъ Cтpyнoй. Пocлѣднiй за чтo-тo пpидpалcя кь дьячкy Аввaкyмoвoй цepкви и «мyчить нaпpacнo пoxoтѣль» eгo, нo тoтъ yбѣжалъ и cпacся въ цepкoвь. Cтpyнa, cбpaвъ людeй, пocлѣдoвалъ за нимъ и тyдa и, вopвaвшиcя въ цepкoвь вo вpeмя вeчepни, схватилъ cтoявшaгo на клиpoсѣ дьячкa за бopoдy. Тoгда Аввaкyмъ пoкинулъ cлyжбy, заперъ цepкoвныя двepи, такъ чтo пpишедшiе co Cтpyнoю люди не мoгли вoйти въ xpaмъ, и, пpинявшиcя вмѣcтѣ cъ дьячкoмъ за cаmoгo Cтpyнy, «пocадилъ eгo cpeди цepкви на пoлy и за цepкoвный мятeжъ пocтeгaлъ eгo peмнeмъ нaрoчитo-тaкн» и yжe пocлѣ тoгo, пpинявъ oтъ нeгo пoкaянiе, oтпycтилъ eгo дoмoй. Этa выхoдкa не пpoшлa дapoмъ не въ мѣpy pьянoмy пpoтoпoпy: poдcтвeнники Cтpyны вoзмyтилa пpoтивъ нeгo нacелeнiе гoрoдa и въ тy жe нoчь пытaлись влoмитъcя вo двopъ Аввaкyмa, гpoзя схватить eгo и yтoпить. Тoлькo cлyчай cпacъ Аввaкyмa, нo и пocлѣ тoгo eмy дoлгo eщe пpихoдилocя пpятaтьcя oтъ paздpaжeнныхъ вpaгoвъ и дaжe не нoчeвaть дoмa изъ oпacенiя нoвaгo нaпaдeнiя. «Мyчилcя я, oтъ нихъ бѣгaючи,—paзcкaзываетъ cамъ oнъ—cъ мѣcяцъ тaйнo: иное въ цepкви нoчyю, иное yйдy кь вoeвoдѣ. Княгиня мeня въ cyндyкъ пocылaлa,—я-дe, бaтyшкa, надъ тoбoю cядy, какъ-дe пpидyтъ тeбя иcкaть кь намъ; и вoeвoдa oтъ нихъ, мятeжникoвъ, бoялcя, лишь плaчeтъ, на мeня глядя. Я yжe и въ тyрѣмy пpocилcя,—и нe пycтятъ». Нaкoнeцъ, вoзвpaщeнiе apхиeпискoпa избaвилo Аввaкyмa oтъ гнeтa пocтoяннaгo cтpaxa. Симeoнъ, найдя пpoтoпoпa coвepшeннo пpавымъ, за eгo дѣлo и eщe за дpyгoй пpocтyпoкъ пpикaзaлъ пocадить Cтpyнy на цѣпъ. Дьякъ oднaкo yшeлъ oтъ этoгo нaкaзaнiя и явилcя кь вoeвoдѣ cъ дoнocoмъ на Аввaкyмa, cкaзавъ на нeгo «cлoвo и дѣлo гocyдapевo», a вoeвoды oтдали Cтpyнy за пpиcтaвa cынy бoяpcкoмy Пeтpy Бeкeтoвy. Этo вмѣшaтeльcтвo cвѣтcкoй влacти внoвь измѣнилo пoлoжeнiе дѣлa и тoгда apхиeпискoпъ, пoдyмaвъ cъ Аввaкyмoмъ, избpaлъ иной пyть для нaкaзaнiя нeпoкopнaгo дьякa и на нeдѣлѣ пpавocлaвiя пpeдaлъ eгo пpoклятiю въ цepкви.

Такой нeпpeклонный pигoризмъ, не oстaнaвливaющiйся ни пepeдъ какими cpeдcтвaми, pавнo гoтoвый дѣйcтвoвать дyxoвнымъ и мaтepиaльнымъ

наконецъ грѣшница съ крикомъ стала каяться и просить помилованія, такъ что ея вопли мѣшали протопопу совершать обычное ночное правило. Тогда онъ велѣлъ вывести ее и спросилъ: «хочешь ли вина и пива» — «Нѣтъ, государь, — дрожа, отвѣчала женщина — не до вина стало! Дай, пожалуйста, кусочекъ хлѣба». Услыхавъ такой отвѣтъ, Аввакумъ обратился къ ней съ увѣщаніемъ: «разумѣй, чадо, похотѣніе то блудное пища и питіе рождаетъ въ человѣкѣ, и ума недостатокъ, и къ Богу презорство, и безстрашіе», а затѣмъ далъ ей четки и приказалъ класть поклоны. Истощенная трехдневнымъ постомъ женщина упала среди этихъ поклоновъ и тогда Аввакумъ велѣлъ пономарю бить ее все тѣмъ же пресловутымъ шелепомъ. «И плачу передъ Богомъ, а мучу», прибавляетъ онъ и такъ заканчиваетъ свое повѣствованіе объ этомъ случаѣ: «начала много далъ, да и отпустилъ. Она и паки за тотъ же промыслъ, сосудъ сатанинъ!» Эготъ неожиданный для протопопа конецъ нимало не поколебалъ, впрочемъ, его вѣры въ спасительность «начала», производимаго при помощи шелена.

Полтора года провелъ такимъ образомъ Аввакумъ въ Тобольскѣ, строго наблюдая за нравственностью и правовѣріемъ своихъ прихожанъ, наставляя однихъ, обличая другихъ, наказывая третьихъ, словомъ и дѣломъ осуществляя свой идеалъ подвижнической жизни. Дѣтельность эта принесла свои плоды: не только въ самомъ Тобольскѣ, но и за предѣлами его, въ окрестныхъ деревняхъ, носилась молва о благочестивомъ протопопѣ. Къ нему шли люди за поученіемъ и совѣтомъ въ вопросахъ вѣры, къ нему вели на исцѣленіе бѣсноватыхъ и въ его домѣ и теперь, какъ нѣкогда въ Лопатицахъ, а потомъ въ Москвѣ, постоянно было нѣсколько такихъ больныхъ, которыхъ онъ лечилъ молитвой и постомъ. Вокругъ самого Аввакума собрался кружокъ людей, рѣшившихся, подъ вліяніемъ поученій протопопа, отказаться отъ міра и посвятить себя Богу. Домъ протопопа съ постоянно совершавшимися въ немъ моленіями, правилами, всенощными бдѣніями и т. п. представлялъ изъ себя образецъ обрядоваго благочестія и привлекалъ всѣхъ любителей и ревностныхъ поклонниковъ обрядности, формировавшихся здѣсь окончательно въ ея фанатиковъ подъ вліяніемъ примѣра и проповѣди хозяина. Въ этомъ кружкѣ ближайшихъ учениковъ на Аввакума смотрѣли, какъ на великаго страдальца и непогрѣшимого учителя, и, видя въ немъ прямого руководителя къ спасенію, одного изъ немногихъ людей, могущихъ охранить грѣшное человѣчество отъ бѣсовскихъ козвей, старались безпрекословно выполнять всѣ его требованія, трепеща передъ его осужденіемъ. Какъ силенъ былъ такой страхъ учениковъ передъ нимъ, можетъ показать слѣдующій примѣръ. Была въ числѣ домохозяцвъ Аввакума дѣвушка Анна, прежде служившая у одного изъ тобольскихъ жителей, но затѣмъ отпущенная хозяиномъ къ протопопу,

пейской Россіи. Пашковъ, въ отрядъ котораго попалъ Аввакумъ, былъ типичнымъ образомъ такого администратора: глубоко невѣжественный, грубый, жестокий, одаренный въ большой мѣрѣ суевѣріемъ и въ очень малой какими-либо религіозными и нравственными понятіями, онъ являлся какъ бы воплощеніемъ беспощадной матеріальной силы: «суровъ человекъ»,— говорилъ о немъ Аввакумъ—беспрестанно людей жечь, и мучить, и бьеть». Казни, плети, кнуты и пытки служили у него обыкновенными средствами поддержанія дисциплины среди подчиненныхъ. И этому-то человеку дано было изъ Москвы еще спеціальное приказаніе строго наблюдать за Аввакумомъ и «мучить» его.

Казалось, только полная и безусловная покорность могла при такихъ условіяхъ сколько-нибудь обезопасить Аввакума отъ проявленій грубаго напилья со стороны воеводы. Но Аввакумъ неспособенъ былъ къ такой покорности и не искалъ спокойствія и мира. Физической силѣ, надъ нимъ тяготѣвшей, онъ смѣло противопоставилъ духовный авторитетъ, произволу—правственные законы и религіозныя заповѣди, жестокости—отважное свободное слово проповѣдника и гордое смиреніе мученика. Столкновеніе между двумя столь противоположными людьми было неизбежно, и Аввакумъ не только не уклонялся отъ него, но даже первый, вмѣшавшись въ распоряженія Пашкова, вызвалъ борьбу, которая затѣмъ продолжалась уже все время ихъ совмѣстной жизни и о которой самъ онъ впоследствии выражался такимъ образомъ: «онъ меня мучилъ или я его, не знаю; Богъ разберетъ въ день вѣка».

По дорогѣ, на р. Тунгузкѣ, отрядъ Пашкова встрѣтилъ караванъ, въ которомъ между прочимъ плыли двѣ вдовы, уже старухи, дѣтъ за шестьдесятъ, думавшія вступить въ монастырь. Пашковъ сталъ принуждать ихъ возвратиться и выйти замужъ; не вытерпѣвъ этого Аввакумъ и началъ увѣщевать воеводу не нарушать апостольскихъ правилъ. Крутой воевода не потерпѣлъ въ свою очередь такого вмѣшательства и въ видѣ наказанія сталъ гнать проповѣдника съ дощаника, увѣряя, что изъ-за его еретичества суда плохо плутъ по рѣкѣ, и требуя, чтобы онъ шелъ берегомъ, по горамъ. «О, горе стало!—разсказываетъ протопопъ.—Горы высокія, дебри непроходимыя; утесъ каменный, яко стѣна, стоитъ, и поглядѣть—заломя голову». Аввакумъ опять прибѣгъ къ увѣщанію, что въ его устахъ было почти равносильно съ обличеніемъ, и отиравилъ къ Пашкову «малое писаніице». «Человѣче!—писалъ онъ здѣсь—убойся Бога, сѣдѣщаго на херувимѣхъ и призирающа въ бездны, Его-же трепещуть небесныя силы и вса тварь со человекъ, еднѣ ты презираешь и неудобства показуешь»... Такое посланіе оканчательно вывело Пашкова изъ себя и онъ рѣшилъ усмирить дерзкаго ослушника. О послѣдовавшей сценѣ пусть разскажетъ самъ протопопъ.

тащились волокомъ. Съ Аввакума сняты были оковы и онъ соединился съ своею семьей, но за то Пашковъ заставилъ его работать вмѣстѣ съ казаками; онъ долженъ былъ и тянуть лямкою суда, и участвовать въ другихъ работахъ, а сверхъ того еще заботиться о женѣ и дѣтяхъ. Помощниковъ онъ не имѣлъ, такъ какъ дѣти были еще малы, а работниковъ Пашковъ у него отнялъ и другимъ запретилъ къ нему наниматься, да и нанимать Аввакуму было почти уже не на что: имущество, вывезенное изъ Москвы и состоявшее по преимуществу изъ одежды и книгъ, частью погибло во время разныхъ дорожныхъ невзгодъ, частью же было разграблено казаками или отнято самимъ Пашковымъ, такъ что его оставалось уже очень немного. А тѣмъ временемъ ко всѣмъ бѣдамъ прибавилась еще новая: въ отрядѣ не хватило хлѣба и началась жестокая нужда, не коснувшаяся одного воеводы, у котораго «казацкими трудами» всего было запасено достаточно. И безъ того мрачная обстановка, окружавшая протопопа, сдѣлалась еще мрачнѣе, еще безотраднѣе. «Стало нечего ѣсть,—описываетъ самъ онъ это время своимъ образнымъ языкомъ—люди учали съ голоду мереть и отъ работныхъ водяныхъ бродни. Рѣка мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большія, батоги суковатые, пытки жестокия,—огонь да встряска,—люди голодные: лишь стануть мучить, ано и умереть. Охъ времени тому!» Самъ Аввакумъ сперва еще кое-какъ пробивался съ семьей; правда, хлѣбъ, какой онъ вывезъ съ собой изъ Енисейска, Пашковъ у него отнялъ, но на оставшіяся еще у него вещи онъ вымѣнивалъ у воеводы хлѣбъ и питался вареной немолотой рожью. Когда и этотъ источникъ изсякъ, протопопу съ семьей пришлось испытать весь ужасъ голода, довелось питаться травами и сосновой корой вмѣсто хлѣба, ѣсть павшихъ лошадей и найденные по дорогѣ трупы животныхъ, зарѣзанныхъ волками: «что волкъ не доѣстъ, то мы доѣдимъ». И долго уже спустя протопопъ съ сокрушеніемъ сердечнымъ вспоминалъ, что и онъ «волею и неволею причастенъ кобыльимъ и мертвечьимъ звѣринымъ и птичьимъ мясамъ». Его желѣзное здоровье выдержало всѣ эти испытанія, но изъ дѣтей его два маленькихъ сына умерли въ эту тяжелую пору.

Между тѣмъ, терпя голодъ и лишенія, вынося жестокия истязанія воеводы и теряя людей по дорогѣ, отрядъ все подвигался впередъ, и самая эта дорога способна была навести ужасъ. Лѣтомъ было еще легче, но зимою, когда суровые морозы сковывали рѣки и землю ледянымъ покровомъ, жутко было немногочисленнымъ пришельцамъ въ дикой и пустынной странѣ, среди рѣдкаго, но враждебнаго населенія, которое они только еще собирались подчинить своей власти. Тяжесть пути особенно давила себя знать Аввакуму; для дѣтей и кое-какого оставшагося у него имущества воевода далъ ему двухъ лошадей, но самъ онъ съ женой долженъ былъ идти пѣшкомъ и не разъ, должно быть, на этомъ длинномъ пути разыгрывались

чителя и проповѣдника. Неумолчно осуждалъ онъ Пашкова всякій разъ, какъ видѣлъ въ его дѣйствіяхъ отступленіе отъ праваго пути, постоянно убѣждалъ его исполнять религіозныя предписанія и церковныя обряды и съ непоколебимой стойкостью выносилъ всѣ мученія, которыми щедро осыпалъ его взбѣшенный воевода. Такія отношенія, плохо укладываваясь въ обычные рамки положенія ссыльнаго передъ своимъ начальникомъ, скорѣе имѣли характеръ ожесточенной борьбы двухъ противниковъ, воплощавшихъ въ себѣ грубую силу и убѣжденіе, причемъ первая не только не одерживала въ этой борьбѣ полной побѣды, но терпѣла порою и пораженія. Дѣйствительно, строгая подвижническая жизнь протопопа и его непоколебимое мужество даже въ свирѣпомъ воеводѣ пробуждали порою мысль о существованіи чего-то высшаго, чѣмъ простая сила, и невольно импонировали ему до такой степени, что онъ временами какъ бы подчинялся протопопу и признавалъ его авторитетъ; такъ, онъ по совѣту Аввакума сталъ было одно время служить вечерни и заутрени, надѣясь, что это соблюденіе обряда доставитъ хорошій урожай; такъ, онъ повѣрилъ въ чудесное исцѣленіе своего внука протопопомъ и смиренно благодарилъ послѣдняго. Правда, подобный перевѣсъ Аввакума держался очень недолго: приливы набожности и сравнительнаго смиренія у воеводы быстро проходили и смѣнялись по какому-нибудь поводу новой, часто еще болѣе жестокой вспышкой, въ которой воплѣтъ давала себя знать его необузданная, непривычная къ какой бы то ни было нравственной сдержкѣ натура.

Но и Аввакумъ въ свою очередь не довольствовался только отстаиваніемъ своихъ взглядовъ, мученичествомъ за нихъ и распространеніемъ ихъ посредствомъ убѣжденія. Его пылкій фанатизмъ увлекалъ его далеко за эти границы и онъ способенъ былъ въ вопросахъ вѣры явиться насильникомъ, мало чѣмъ уступавшимъ въ этомъ отношеніи самому мучившему его воеводѣ. Случилось разъ, что Пашковъ, отправляя своего сына Еремѣя съ небольшимъ отрядомъ казаковъ въ походъ на одинъ изъ сосѣднихъ народцевъ, призвалъ шамана погадать, удатся ли это предпріятіе. Шаманъ предсказалъ полный успѣхъ похода, обѣщавъ богатую добычу и благополучное возвращеніе, и ратные люди обрадовались. Но глубоко опечалился протопопъ, видя, что христіане слушаютъ «бѣсовъ» и вѣрятъ имъ. Возгорѣвшись благочестивою ревностью, онъ рѣшилъ посрамить бѣсовскія козни и наказать людей, осмѣлившихся искать предсказаній и совѣтовъ у діавольскаго служителя, вмѣсто того, чтобы обратиться къ христіанскому священнику. Съ этою цѣлью онъ «въ хлѣвинѣ своей кричалъ съ воплемъ ко Господу: послушай мене, Боже! послушай мене, Царю небесный-свѣтъ, послушай мене! да не возвратится вспять ни одинъ отъ нихъ и гробъ имъ тамъ устроиши всѣмъ! приложи имъ зла, Госноди, приложи и погибель имъ наведи, да не сбудется пророчество діавольское». Въ своемъ фанатическомъ

«У боярыни куры всѣ переслѣпли и мереть стали,—разсказываетъ онъ объ этомъ съ своею неподражаемой, эпической наивностью—такъ она, собравши въ коробѣ, ко мнѣ ихъ прислала, чтобъ-де батко пожаловалъ—помогалъ о курахъ. И я-су подумалъ: кормилица то есть наша; дѣтки у ней: надобно ей курки! Молебень пѣлъ, воду святилъ, курокъ кропилъ и кадилъ; потомъ въ лѣсъ сбродилъ,—корыто имъ сдѣлалъ, изъ чего ѣсть, да къ ней все и отослалъ. К, ры, Божиимъ мановеніемъ, исцѣлѣли и исправились по вѣрѣ ся».

Совершая такіа чудеса для вѣровавшихъ въ него людей, Аввакумъ нѣистѣ съ тѣмъ своими поученіями утолялъ ихъ духовную жажду. Въ свою очередь они, чѣмъ могли, облегчали его тяжелую долю: сынъ Пашкова не разъ заступался за него передъ отцомъ, рискуя даже собственною жизнью, такъ какъ воевода въ гнѣвѣ не щадилъ никого; жена и сноха военоды снабжали припасами протопопа и его семью во время самой жестокой нужды, пристигшей было ихъ въ Дауріи. Припасы приходилось пересылать тайкомъ отъ Пашкова, поэтому Аввакумъ не могъ получать многого отъ своихъ поклонницъ; ему доставляли то хлѣбъ, то кусокъ мяса, то немного муки, бывало, что присылали и коршу, взятаго изъ курпнаго корыга, но все же эти скудныя даянія помогли ему кое-какъ перебиться втеченіе голоднаго времени, которое иначе трудно было бы пережить ему съ семьей.

И не въ одной всеводской семьѣ находилъ для себя ссыльный протопопъ приверженцевъ и послѣдователей. Не мало ихъ нашлось съ теченіемъ времени и среди казаковъ, составлявшихъ отрядъ Пашкова. Видя также въ Аввакумѣ высокаго подвижника и борца за вѣру, склоняясь передъ его нравственной мощью, они тѣмъ легче сближались съ нимъ, что находились подъ общимъ съ нимъ гнетомъ. Это усиливало ихъ теплое чувство къ Аввакуму, и если послѣдній среди нихъ, самихъ безпомощныхъ и терпѣвшихъ всегдашнюю нужду, не могъ найти ни заступниковъ, ни помощниковъ, если всѣ ихъ услуги по отношенію къ нему могли исчерпываться развѣ лишь предупрежденіемъ объ опасности, грозившей со стороны Пашкова, за то многіе изъ нихъ явились ревностными учениками его, равно готовыми пострадать за то, что вѣстѣ съ нимъ считали истиннымъ древнимъ благочестіемъ, и почти всѣ, за немногими исключеніями, относились къ нему въ высшей степени сердечно, какъ къ невинному страдальцу.

Въ далекой ссылкѣ Аввакумъ остался такимъ образомъ вѣренъ себѣ. Ни суровый климатъ, ни голодъ, ни пытки и мученія воеводы не сломили его нравственной энергіи и не только онъ не отказался отъ пропаганды своихъ взглядовъ, но временами его стойкое мужество колебало даже самого грознаго палача, подъ власть котораго онъ былъ отданъ. Трудно сказать, чѣмъ могла бы кончиться эта неравная борьба между протопопомъ и воеводой, но она была прервана въ самомъ разгарѣ. Болѣе пяти лѣтъ уже провелъ Аввакумъ въ отрядѣ Пашкова, какъ пришли изъ Москвы, въ на-

дававшимся чужой волѣ, но въ свою очередь самолюбивымъ и натаившимъ высокое мнѣніе о своей власти царемъ Алексѣемъ: недовольные патріархомъ бояре успѣли внести охлажденіе въ отношенія Алексѣя Михайловича къ его «собинному другу», а неловкія дѣйствія послѣдняго еще усилили это охлажденіе и уже черезъ пять лѣтъ послѣ высылки Аввакума изъ Москвы между царемъ и патріархомъ произошелъ рѣшительный разрывъ. Гордость Никона не позволяла ему ради примиренія съ царемъ идти на уступки и онъ попытался добиться той же цѣли инымъ путемъ, болѣе соответствовавшимъ его характеру. 11 іюля 1658 года, послѣ службы въ Успенскомъ соборѣ, патріархъ заявилъ народу, что онъ покидаетъ свой патріаршій престолъ, и, не смотря на увѣщанія присланныхъ отъ царя бояръ, удалился въ Воскресенскій монастырь. Правда, расчеты Никона не оправдались, такъ какъ Алексѣй Михайловичъ не выказалъ ни особенной уступчивости, ни особаго горя по поводу его удаленія, но вмѣстѣ съ этимъ у царя не нашлось и достаточно рѣшимости, чтобы разомъ покончить съ запутавшимся вопросомъ избраніемъ новаго патріарха. Между тѣмъ самъ Никонъ, замѣтивъ свою ошибку, вздумалъ повернуть и взять назадъ свой отказъ отъ патріаршаго сана, что еще болѣе усложнило дѣло. При установившейся зависимости русской церкви отъ свѣтской власти выборъ того или другого пути дѣйствій въ этомъ запутанномъ положеніи вполнѣ зависѣлъ отъ воли царя, но Алексѣй Михайловичъ колебался и, не желая уступить притязаніямъ Никона, въ то же время долго не могъ собраться съ духомъ нанести послѣдній ударъ своему недавнему другу. Съ другой стороны большинство бояръ, опасаясь самовластнаго характера Никона, ни въ какомъ случаѣ не хотѣло вновь видѣть его на патріаршемъ мѣстѣ и старательно изыскивало средства устранить возможность примиренія между нимъ и царемъ. Въ этихъ видахъ между прочимъ бояре обратились къ тѣмъ духовнымъ лицамъ, которые нѣкогда, до патріаршества Никона, были близки къ царю Алексѣю и вслѣдъ за тѣмъ первые возвысили голосъ противъ реформъ новаго патріарха, за что тяжело и поплатились. Всѣ эти лица были хорошо знакомы съ боярами, часто даже связаны узами личной дружбы съ ними, а сверхъ того ихъ соединяла общая вражда къ бывшему патріарху, хотя эта вражда и происходила отъ различныхъ причинъ. Мало принимая во вниманіе это послѣднее обстоятельство, бояре рассчитывали вновь сблизить Алексѣя Михайловича съ прежними совѣтниками и тѣмъ помѣшать его примиренію съ Никономъ, предполагая, что за тѣмъ вопросъ о церковной реформѣ можно будетъ рѣшить путемъ мирнаго соглашенія. Исходя изъ такихъ соображеній и пользуясь тѣмъ, что съ удаленіемъ Никона отъ патріаршества усердіе церковной іерархіи къ преслѣдованію раскольниковъ нѣсколько ослабѣло, они и постарались устроить возвращеніе въ Москву вліятельнѣйшихъ членовъ бывшего кружка протопоповъ.

ментъ жестокихъ гоненій. Но съ другой стороны сущность убѣжденій протопопа нисколько не измѣнилась, а то обстоятельство, что кругомъ господствовало ученіе, которое онъ считалъ ересью, что въ виду этого въ немъ самомъ уже пробуждалось сомнѣніе, порождало жгучее до болѣзненности опасеніе, какъ бы не лишиться всѣхъ плодовъ своего подвига, не упасть въ разставленные сѣти. Столкновеніе этихъ противоположныхъ чувствъ и стремленій неизбѣжно вызывало сильную душевную разладицу, которая при крайне нервной натурѣ Аввакума обыкновенно разрѣшалась у него видѣніями. Такъ было и на этотъ разъ. Въ Tobольскѣ, гдѣ протопопъ остановился зимовать на второй годъ своего возвратнаго путешествія, онъ началъ было ходить въ соборную церковь, гдѣ богослуженіе совершалось по исправленнымъ служебникамъ, и сталъ уже нѣсколько привыкать къ такой службѣ; «что жаломъ, духомъ антихристовымъ и ужалило было». Но однажды послѣ такого посѣщенія церкви ему во снѣ послышался голосъ: «блюдися отъ мене, да не полма растесанъ будешь!» Въ ужасѣ проснулся протопопъ и палъ передъ иконою иицъ, восклицая: «Господи, не стану ходить, гдѣ по новому поють!»

Такъ, по мѣрѣ того, какъ сглаживалось первое радостное впечатлѣніе свободы, все рѣзче выступалъ наружу непримиримый фанатизмъ Аввакума, все болѣе онъ становился самимъ собою, человѣкомъ, не желающимъ имѣть никакого общенія ни съ кѣмъ, кто только въ чемъ-либо расходился съ нимъ. Какъ разъ въ то время, когда онъ, возвращаясь изъ ссылки, зимовалъ въ Tobольскѣ, въ этомъ городѣ жилъ другой знаменитый ссылный, хорватскій патріотъ и своего рода славянофилъ по убѣжденіямъ, Юрій Крижаничъ, пріѣхавшій въ Москву и изъ нея попавшій въ Сибирь. Казалось, эти два человѣка, которые испытали почти одинаковую судьбу, въ убѣжденіяхъ которыхъ національныя начала равно занимали первенствующее мѣсто, могли найти много точекъ соприкосновенія другъ съ другомъ; но на дѣлѣ всѣ ихъ сношенія ограничились однимъ короткимъ свиданіемъ, при которомъ даже не состоялось настоящаго разговора. Предоставляемъ разсказать объ этомъ свиданіи самому Крижаничу. «Аввакумъ—говоритъ онъ—послалъ за мной и вышелъ ко мнѣ на крыльцо; когда я хотѣлъ ступить на лѣстницу и взойти, онъ сказалъ: «не ходи сюда, стой тамъ и скажи, какой ты вѣры». Я сказалъ: «благослови, отче!» А онъ отвѣчалъ: «не благословлю,—исповѣдай прежде свою вѣру». Я отвѣчалъ: «отче честной! я вѣрую во все, во что вѣруетъ святая апостольская церковь, и священническое благословеніе принимаю въ честь и прошу его въ честь. И о вѣрѣ готовъ объясниться съ архіереємъ, а предъ тобою, путникомъ, который и самъ подвергся сомнѣнію вѣры, нечего мнѣ широко о вѣрѣ говорить и объясняться. Если ты не благословишь, благословитъ Богъ! Оставайся съ Богомъ!»

іє вісхідських вісхідсь скривався «ть грознаго патріарха то въ самонъ порѣ, то въ етѣ окрестностяхъ, въ исходѣ 1656 года истригся въ монахи и принялъ имя старца Григорія. Во время этихъ скитаній онъ сперва продолжалъ проявлять противъ новыхъ книгъ и обрядовъ, но затѣмъ его убѣжденія колебались подъ вліяніемъ неожиданныхъ для него событій. На ~~осходѣ~~ 1655 года въ Москвѣ, кромя русскаго духовенства, которое, по итѣнію Неронова, ~~отлащалося~~ съ Никономъ лишь изъ страха передъ нимъ присутствовали два прѣзжихъ патріарха, Макарій антиохійскій и Гавріилъ сирскій, и эти патріархи предали проклятію двоеперстіе и своими подписаниемъ одобрили вновь исправленный «Служебникъ» и только что переведенную съ греческаго книгу «Скрижалъ». Къ нимъ присоединились и голоса другихъ двухъ патріарховъ, константинопольскаго Аванасія и іерусалимскаго Памсія, а послѣдній въ отвѣтъ своемъ на вопросы Никона и Алексія Михайловича строго осудилъ протестъ Неронова противъ преобразовательной дѣятельности Никона. Все это оказало подавляющее вліяніе на Неронова; вражда его къ Никону сохранилась въ полной силѣ, но онъ не былъ настолько убѣжденъ въ своей правотѣ по раздѣлявшему ихъ вопросу, чтобы найти въ себѣ достаточно силы противиться рѣшенію главъ вселенской церкви. Приговоръ патріарховъ повергъ его въ сомнѣніе, разрѣшившееся тѣмъ, что въ январѣ 1657 года старецъ Григорій явился къ Никону и заявилъ ему, что не хочетъ быть подъ клятвою вселенскихъ патріарховъ и потому готовъ признать его реформы. Хотя и послѣ того онъ продолжалъ еще придерживаться нѣкоторыхъ старыхъ обрядовъ и книгъ, но уже не выступалъ съ принципиальной оппозиціей противъ дѣйствій патріарха и только личные отношенія его къ послѣднему никакъ не могли наладиться: старая вражда давала себя чувствовать постоянными вспышками, а, когда произошелъ разрывъ между царемъ и патріархомъ, Нерововъ явился однимъ изъ наиболѣе усердныхъ противниковъ Никона. Тѣмъ не менѣе онъ уже сошелъ со сцены раскольничьяго движенія и, хотя его примѣръ увлекъ за собою нѣсколькихъ людей, питавшихъ вѣру въ него и личную къ нему привязанность, его поступокъ не оказалъ замѣтнаго вліянія на все движеніе въ его цѣломъ, такъ какъ оно давно уже перешло за рамки протеста единичныхъ личностей.

Въ этотъ-то моментъ, когда отъ движенія отходили болѣе умирные его элементы, явился въ Москвѣ Авакумъ, предшествуемый славою непоколебимаго страдальца за вѣру. Пріемъ, встрѣченный имъ здѣсь, не оставлялъ ему желать ничего лучшаго: «яко ангела, пріиша мя», писалъ онъ. Его заклятый врагъ, Никонъ, безсильный и всеми покинутый, сидѣлъ въ Воскресенскомъ монастырѣ; болре, видѣвшіе въ протопонѣ могучаго союзника противъ наважнаго патріарха, рады были его возвращенію, а многіе изъ нихъ смотрѣли на него и какъ на проповѣдника истины. Самъ царь,

ѣздѣ въ одной изъ тобольскихъ церквей и явившееся знаменіемъ ереси, заключающейся въ исправленныхъ Никономъ книгахъ, протопопъ указывалъ царю на морь, бывший перелъ тѣмъ въ Россіи, какъ на небесную кару за эту ересь, и продолжалъ: «добро было при протопопѣ Стефанѣ, яко вся быша тихо и немаятежно ради его слезъ и рыданія и не гордаго ученія: понеже не губилъ Стефанъ никого до смерти, якоже Никонъ, ниже поощрялъ на убіеніе». Немедленно вслѣдъ за этимъ Аввакумъ начиналъ указывать ереси Никона. «Вѣмъ, яко скорбно тебѣ, государю, отъ доуки нашей,—замѣчалъ онъ, прерывая свое изложеніе.—Государь-свѣтъ, православный царь! Не сладко и намъ, егда ребра наши ломають и, развязавъ, насъ кнутѣмъ мучать, и томятъ на морозѣ голодомъ. А все церкви ради Божія страждемъ». И, какъ бы для иллюстраціи этого положенія, Аввакумъ рассказываетъ исторію собственныхъ страданій, сперва отъ недовольныхъ прихожанъ въ Лопатицахъ и Юрьевѣ, а потомъ отъ Никона и Пашкова, мимоходомъ замѣчая: «не челобитѣмъ тебѣ, государю, реку, ниже похвалою глаголю... истинну-бо реку. Яко ты нашъ государь, благочестивый царь, а мы твои богомольцы: некому намъ возвѣщать, како строится въ твоей державѣ». Перечисливъ вынесенныя бѣдствія, Аввакумъ вновь возвращался къ Никону и его еретическимъ новшествамъ. «Многіе ево боются,—говорилъ онъ—а протопопъ Аввакумъ, уповаю на Бога, ево не боится. Твоя государева—свѣтова воля, аще и паки попустишь ему меня озлобить: за помощію Божією готовъ и духъ свой предать... А душа моя пріяти ево новыхъ законовъ незаконныхъ не хочетъ. И въ откровеніи ми отъ Бога бысть се, яко мерзокъ онъ предъ Богомъ Никонъ». Ереси Никона многочисленны и велики: «Христа онъ Никонъ не исповѣдуетъ въ плоть пришедша; Христа не исповѣдуетъ нынѣ царя быти и воскресеніе его, яко іудей, скрываетъ; онъ же глаголетъ неистинна Духа Святаго; и сложеніе креста въ перстѣхъ разрушаетъ; и истинное метаніе въ поклонахъ отсѣкаетъ, и многихъ ересей люди (Божія и твоя наполнилъ). «Время—заключалъ Аввакумъ—отложить служебники новые и всѣ его Никоновы затѣйки дурныя. Потщися, государь, исторгнути злое его и пагубное ученіе, дондеже конечная пагуба на насъ не приіде».

Своей челобитвой Аввакумъ въ извѣстной мѣрѣ удовлетворялъ ожиданія бояръ: трудно было бы отыскать болѣе строгаго обвинителя, болѣе непримиримаго врага патріарха. Но эта вражда, хотя и поддерживаемая личнымъ озлобленіемъ, носила все же по преимуществу принципиальный характеръ и шла слишкомъ далеко: нападая на Никона, протопопъ требовалъ отміны всѣхъ его «затѣекъ», затѣны исправленныхъ книгъ старыми, возстановленія прежнихъ обрядовъ, отмиженныхъ или преобразованныхъ патріархомъ, словомъ, являлся представителемъ извѣстнаго направленія, а не личнымъ врагомъ Никона. Такія требованія не входили въ желанія большинства бояръ,

заль большей энергіи въ перенесеніи страданій и большей смѣлости въ распростра-
неніи своего ученія. Въ связи съ виднымъ положеніемъ, занятымъ теперь Авва-
кумомъ въ московскомъ обществѣ, и многочисленными знакомствами, заведен-
ными имъ почти по всей Россіи, отъ Москвы до Сибири, его слава проповѣдника
старой вѣры и мученика за нее произвела то, что въ глазахъ ревнителей
старины онъ выдвигался впередъ всѣхъ другихъ предводителей раскола,
совершенно уже затмѣвая собою личности первыхъ его начинателей. Къ
протопопу съ разныхъ сторонъ обращались за совѣтами и разъясненіями
въ дѣлахъ вѣры, у него искали утѣшенія и поддержки въ минуту сомнѣ-
нія и колебанія, отъ него добивались практическихъ указаній и совѣтовъ,
какъ держать себя оставшимся въ православіи съ никоніанами, какъ об-
ходиться съ ихъ духовенствомъ, и, по мѣрѣ того, какъ все чаще дѣла-
лись такіа обращенія, онъ независимо отъ своей воли становился въ
почетное и ответственное положеніе главы людей, отторгшихся отъ ни-
коніанской церкви.

Но если это положеніе создавалось для Аввакума даже помимо его
воли, то и онъ въ свою очередь не думалъ уклоняться отъ роли «силь-
наго Христова воеводы противъ сатанина полка». Напротивъ, присмотрѣв-
шись къ борьбѣ различныхъ направленій въ московскомъ обществѣ и по-
лучивъ съ разныхъ сторонъ запросы, свидѣтельствовавшіе объ ощущаемой
нуждѣ въ духовномъ руководствѣ, онъ не воздержался отъ искушенія
самому броситься въ эту борьбу и смѣло взялъ на себя роль такого руко-
водителя. Такъ какъ устная проповѣдь въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ
онъ жилъ теперь въ Москвѣ, не могла принять особенно широкихъ размѣ-
ровъ, то онъ прибѣгъ и къ письменной пропагандѣ, поставивъ въ обращеніе
написанныя имъ сочиненія противъ никоніанъ. Въ этихъ сочиненіяхъ,
какъ и въ устной рѣчи, онъ обвинялъ Никона, а за нимъ и всѣхъ, при-
нявшихъ исправленія при немъ книги, въ многочисленныхъ и жесто-
кихъ ересяхъ. Такую ересь протопопъ усматривалъ въ измѣненіи словъ
символа вѣры, какъ онъ читался въ старыхъ русскихъ книгахъ: «его-же
(Христа) царствію нѣсть конца» на чтеніе «не будетъ конца», измѣне-
ніи, давшемъ ему поводъ говорить, что никоніане не призываютъ Христа
царемъ міра въ настоящее время; точно также по поводу вставленнаго
въ старыхъ книгахъ и выброшеннаго при исправленіи слова «истинна» о
Св. Духѣ протопопъ утверждалъ, будто никоніане «Духа Святого не истинна
глаголять быти». Защищая двоеперстіе и земные поклоны, онъ одновре-
менно жестоко нападалъ на Никоновскихъ справщиковъ книгъ, упрекая
ихъ, что «они пожираютъ стадо Христова злымъ ученіемъ и образы не-
лѣпо носятъ отступническіе, а не природные наши словенскаго языка»,
называя ихъ отщепенцами и уніатами за то, что они ходятъ «въ рогахъ»
вмѣсто обыкновенныхъ «словенскихъ скуфей», наконецъ, увѣряя даже, что

дѣла, и, скрывъ сердце, прислалъ ему черезъ боярина Петра Салтыкова своей приказъ: «власти на тебя жалуются: церкви-де ты запустѣли; побѣди въ смыслку оныя». Мѣстоиъ ссылки протопопа на этотъ разъ назначенъ былъ Пустозерскій острогъ и 29 августа 1664 года, приблизительно черезъ полгода по возвращеніи Аввакума въ Москву, его съ семьей вывели на новую дорогу.

Не долго такимъ образомъ продолжалась жизнь протопопа въ Москвѣ, немного пришлось ему и ратовать здѣсь за старую вѣру. Черезъ какіе-нибудь шесть мѣсяцевъ свободной жизни снова уже начиналась для него далекая ссылка, снова глинула ему въ глаза сѣверная зима съ ея морозами и вьюгами, съ ужасами дальнего и тяжелого пути. Передъ нимъ дрогнуло сердце даже этого закаленного въ бѣдствіяхъ человѣка и изъ его усталой груди въ первый и въ послѣдній разъ вырвалась мольба о пощаду. Съ дороги, изъ Холмогоръ, онъ отправилъ къ царю новую челобитную, не поднимающую уже никакихъ общихъ вопросовъ. «Христіанскому государю, царю и в. кн. Алексію Михайловичу—гласило это короткое посланіе—бѣеъ челомъ богомолецъ твой, въ Даурехъ мученой протопопъ Аввакумъ Петровъ. Прогнѣвалъ, грѣшной, благоутробіе твое отъ болями сердца неудержаніемъ моимъ, а иное тебѣ свѣту-государю, а солгали на меня, имъ же да не виѣнитъ Господь во грѣхъ! Помилуй, равноапостольный государь-царь, робитишекъ ради моихъ умилосердися ко мнѣ! Съ великою нужею доволокся до Холмогоръ; а въ Пустозерской острогъ до Христова Рождества невозможно стало вхажъ, потому что путь нужной, на оленяхъ вадить. И смущаюся грѣшникъ чтобъ робитишки на пути не перемали съ нужи». Прося позволенія остаться въ Холмогорахъ или въ какомъ нибудь другомъ, не столь далекомъ, какъ Пустозерскъ, мѣстѣ, Аввакумъ заканчивалъ челобитную горькими воплемъ измученнаго страдальца: «И въ Даурской землѣ у меня два сына отъ нужи умерли. Царь-государь, смилуйся».

Въ концѣ ноября одинъ изъ учениковъ Аввакума, юродивый Кипріанъ, передалъ его челобитную государю. Не дремали и московскіе друзья протопопа. Дьякомъ Феторъ послалъ было челобитную съ его освобожденіемъ царскому духовнику, но тотъ не принималъ ея и Фетору «въ глаза бросить съ ярости великою». Вѣрнее оказалось другой путь—черезъ бывшего протопопа Иова Неронкова, теперь старца Григорія. Этотъ путь былъ еще обличенъ тѣмъ, что Алексій Михайловичъ не зналъ о ссылкѣ протопопа и, хотя имѣлъ поводъ къ смущенію его судомъ, «самъ указалъ старцу Григорію написать жалованную челобитную о свободѣ Аввакума о мѣстоиъ Неронковъ и послать такую челобитную съ каторгой, казанская своего прихода, послать съ приказаніемъ его въ Пустозерскъ, а тамъ жить поселиться вѣнчикъ съ званъ съ и чинской дѣлать за царя. Въ такомъ же чинѣ

бѣды, да не погибнешь злѣ! Около Воскресенскаго ровъ великъ и глубокъ выкопанъ, прознаменуя адъ: блюдися, да не ввалишься и многихъ да не погубиши». Возбуждая такимъ образомъ энергію своихъ болѣе умѣренныхъ товарищей и прямыми увѣщаніями, и ободреніемъ, и угрозами, что они, заходя чрезчуръ далеко по мирному пути, рискуютъ впасть въ никоніанство, протопопъ не забывалъ и непосредственныхъ практическихъ интересовъ ихъ въ положеніи данной минуты и въ этихъ видахъ передавалъ имъ рядъ наставленій, совѣтуя бѣгать и скрываться отъ никоніанскихъ властей, а самъ въ свою очередь просилъ присылать ему свѣдѣнія о московской жизни. Объ одномъ только человѣкѣ просилъ онъ пріятелей не сообщать ему ничего, именно о Нероновѣ. Какъ далеко ни разошелся Аввакумъ съ этимъ человѣкомъ, передъ которымъ онъ нѣкогда преклонялся, котораго считалъ своимъ вождемъ и наставникомъ, но старая дружба, заставившая старца Григорія вступить за Аввакума въ минуту его бѣды, не исчезла и изъ сердца бывшаго юрьевецкаго протопопа и чрезчуръ больно было ему слушать брань и хулу на Неронова изъ устъ людей, не стоявшихъ къ послѣднему такъ близко, какъ онъ, въ прежніе, болѣе счастливые годы. «Про все пиши,—наказывалъ онъ тому же Θεоктисту— а про старцово житіе не пиши, не досаждай мнѣ имъ: не могутъ мои уши слышати о немъ хульныхъ словесъ ни отъ ангела. Ужъ то грѣхъ ради моихъ въ сложеніи перстовъ малодушествуетъ. Да исправить его Богъ,—надѣюсь».

Забывая о московской общинѣ, о поддержаніи въ ней бодрости и о спасеніи отдѣльныхъ ея членовъ изъ рукъ властей, Аввакумъ не упускалъ изъ виду и той мѣстности, въ которой ему теперь пришлось побывать. По прежнему, по всѣмъ городамъ и селамъ, черезъ которые его провозили, раздавалась его смѣлая проповѣдь, всюду онъ сурово обличалъ никоніанство и училъ народъ твердо стоять за древнее благочестіе. Полтора года провелъ онъ такимъ образомъ въ ссылкѣ, всецѣло отдавшись дѣятельности проповѣдника и организатора раскола, «словесныхъ рыбъ промыслиа», а тѣмъ временемъ надъ его головой и надъ головами его единомышленниковъ собиралась послѣдняя, роковая гроза.

V.

Самое начало церковныхъ исправленій при Никонѣ ознаменовано было двумя пріемами, посредствомъ которыхъ хотѣли освятить эти исправленія, придавъ имъ полный и безусловный авторитетъ православія. Одинъ изъ такихъ пріемовъ заключался въ созывѣ соборовъ русскаго духовенства для постановленій объ исправленіи книгъ и обрядовъ и наблюденія за нимъ, другой—въ обращеніи за совѣтами и справками по сомнительнымъ вопро-

Никоновскихъ реформъ, могли, однако, находить у себя много общихъ точекъ соприкосновенія съ заклятымъ врагомъ Никона, Аввакумомъ, и видѣть въ послѣднемъ многія родственныя себѣ черты. Съ другой стороны, многіе изъ тѣхъ, которые ступили на путь реформъ, толкаемые силою вѣтшихъ условий, далеко не оглядѣлись еще въ новомъ своемъ положеніи и не разорвали всецѣло съ прежнимъ міросозерцаніемъ, не отказались отъ многихъ входившихъ въ его составъ взглядовъ, яркимъ представителемъ которыхъ являлся Аввакумъ. При такой неустойчивости и неопредѣленности общественнаго настроенія, при томъ условіи, что рѣзкое раздѣленіе на партіи только еще начинало пріобрѣтать себѣ общее признаніе, популярность Аввакума, покоившаяся какъ на мужественномъ перенесеніи имъ гоненій, такъ и на его нравственныхъ качествахъ и строгой жизни, распространялась на обѣ партіи и ея не уничтожилъ и не замкнулъ въ болѣе опредѣленныя границы даже послѣдній рѣшительный шагъ церковной іерархіи по отношенію къ нему.

Благодаря этой популярности, не успѣли привезти разстриженнаго протопопа въ Угрѣшскій монастырь, какъ слѣдомъ за нимъ направились туда многочисленные посѣтители. Самъ царь пріѣзжалъ въ обитель и ему уже «дорогу было приготовили, насыпали песку», но онъ не рѣшился зайти къ Аввакуму, а только «около темницы походилъ и, постовавъ, опять пошелъ изъ монастыря». Посѣтили послѣдній и нѣкоторые бояре, но ихъ не допускали къ заключенному. Постепенно однако строгость надзора за нимъ начала ослабѣвать и, если непосредственный доступъ въ его темницу по прежнему оставался закрытымъ, то проникавшіе въ монастырь богомольцы получили, по крайней мѣрѣ, возможность издали видѣть Аввакума и даже бесѣдовать съ нимъ черезъ окно тюрьмы. Этимъ воспользовались, между прочимъ, оставшіеся въ Москвѣ родственники протопопа. Два его сына, Иванъ и Прокопій, захвативъ съ собою своего двоюроднаго брата, Макара, подъ видомъ обыкновенныхъ богомольцевъ пришли 7 іюля въ Угрѣшскій монастырь и раннимъ утромъ, когда большинство населенія обители еще спало, успѣли побесѣдовать съ отцомъ. Не замедлили скорѣе сказаться и плоды установившихся такимъ образомъ сношеній съ Аввакумомъ: со словъ послѣдняго стали циркулировать слухи, будто ему въ тюрьмѣ явился самъ Христосъ съ Богородицей и увѣщевалъ не бояться гоненій за правое дѣло. Когда эти слухи, постепенно распространяясь, дошли до московскихъ властей, они вызвали среди послѣднихъ немалый переполохъ и смущеніе. Сыновья Аввакума были немедленно арестованы и послѣ того, какъ на допросѣ подтвердился фактъ посѣщенія ими Угрѣшскаго монастыря и бесѣды съ отцомъ, были отосланы 10 августа въ Покровскій монастырь съ приказаніемъ «держатъ ихъ въ монастырскихъ трудахъ подѣ надзоромъ». Легче отбѣлся ихъ двоюродный братъ, оставленный на свободѣ, благодаря

его притѣсненійхъ, тѣмъ болѣе жгучее, что съ нимъ, по понятіямъ вѣка, почти неизбежно соединялось ожиданіе наказанія за мученіе праведника. Разъ назрѣвши, это настроеніе не замедлило проявиться и наружу, окруженное тѣмъ ореоломъ чудеснаго, который сопровождалъ въ то время самыя обыденныя событія человѣческой жизни и тѣмъ болѣе охотно соединялся со всякаго рода нравственными потрясеніями. Случилось одному изъ наиболѣе усердныхъ притѣснителей Аввакума въ первое время, келарю Никодиму, заболѣть, а затѣмъ увидѣть сонъ, будто Аввакумъ исцѣлилъ его. Проснувшись и почувствовавъ себя, дѣйствительно, лучше, онъ немеленно отправился въ темницу Аввакума, покался передъ нимъ и, объявивъ, что онъ позналъ истину Аввакумова ученія, просилъ совѣта, жить-ли ему по прежнему въ монастырѣ или покинуть послѣдній и уйти въ пустыню. Аввакумъ не велѣлъ ему оставлять монастыря подъ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ, хотя въ тайнѣ, «держалъ старое преданіе отеческое», и вмѣстѣ запретилъ рассказывать про бывшее ему видѣніе. Послѣдняго приказанія Никодимъ однако не соблюлъ и съ тѣхъ поръ характеръ содержанія Аввакума существенно измѣнился: не только онъ не испытывалъ болѣе притѣсненій отъ монаховъ, но и доступъ къ нему сдѣлался свободнымъ. Изъ окрестностей сходились къ нему люди за наставленіями и исученіемъ; бывшіе его ученики также не разъ приходили и пріѣзжали въ монастырь, ища указанія и совѣтовъ у своего учителя въ тяжелую годину борьбы. Въ числѣ другихъ пришелъ къ нему и юродивый Федоръ, бѣжавшій изъ Рязани, куда онъ былъ отданъ подъ начало архіепископу Иларіону, и просилъ совѣта: отдаться-ли ему опять въ руки никоніанъ или скрываться и прекратить свой подвигъ юродства, который могъ обратить на него вниманіе. Аввакумъ посовѣтовалъ ему послѣднее.

Не долго, впрочемъ, пришлось заточенному протопопу пользоваться этой сравнительной свободой. Восточные патріархи пріѣхали уже въ Москву и близокъ былъ тотъ день, когда онъ долженъ былъ стать на ихъ судъ вмѣстѣ съ другими ревнителями старины, подобно ему отказавшимися подчиниться русской церковной іерархіи. 30-го апрѣля 1667 года его, дѣйствительно, вывели изъ Пафнутьева монастыря въ Москву. Но еще два съ половиной мѣсяца прошли съ момента привоза его въ столицу до появленія на соборѣ и за этотъ промежутокъ времени духовныя власти истощили послѣднія усилія въ попыткахъ склонить его къ признанію церковныхъ реформъ. Всѣ эти попытки остались безплодными, встрѣтивъ рѣзкій отпоръ со стороны Аввакума, и въ результатѣ ихъ выяснилась только полная невозможность соглашенія между спорившими партіями. Съ особенною рельефностью обнаружился этотъ результатъ на самомъ соборѣ, когда духовенство, отказавшись отъ безплодныхъ попытокъ смирить Аввакума путемъ всѣхъ своихъ увѣщаній, рѣшилось поставить его предъ вседенскихъ

топопы! и патріарховъ не почитаетъ!»! Эти насмѣшки не произвели однако на него никакого впечатлѣнія и вызвали съ его стороны только смиренный по вѣншности, но въ сущности проникнутый глубокою самсувѣренностью и ироніей отвѣтъ. «Мы уроди Христа ради, — говорилъ протопопъ — вы славны, мы же безчестны! вы сильны, мы же немощны!»! Объ эту броню фанатизма разбивались всѣ увѣщанія и убѣжденія, и Аввакумъ безъ всякаго результата былъ отпущенъ съ собора и отданъ опять подъ стражу. Точно такъ же непоколебимыми въ своихъ убѣжденіяхъ остались и его единомышленники, вѣдѣвшіе съ нимъ призванные на судъ собора: протопопъ Никифоръ, попъ Лазарь, дяконъ Ѳеодоръ и чернецъ Епифаній.

Еще нѣсколько времени держали ихъ подъ стражей то въ самой Москвѣ, то въ ея окрестностяхъ, то въ Угрѣшскомъ монастырѣ, продолжая въ то же время убѣждать смириться и признать власть патріарховъ и собора. Наконецъ, 5 августа въ мѣста заключенія Аввакума, Лазаря и Епифанія явились посланные отъ царя и собора, архимандриты — владимірскій Филаретъ, хутинскій Іосифъ и ярославскій Сергій, для снятія окончательнаго допроса съ узниковъ. Последнимъ предложены были три вопроса, отвѣтъ на которые долженъ былъ окончательно опредѣлить ихъ отношеніе къ церкви и представлявшей ее духовной и свѣтской іерархіи. Вопросы эти заключались въ слѣдующемъ: православна-ли русская церковь, православенъ-ли государь Алексѣй Михайловичъ и православны-ли вселенскіе патріархи? Въ отвѣтъ на нихъ Аввакумъ сказалъ: «Церковь православна, а догматы церковные отъ Никона еретика, бывшаго патріарха, искажены новоизданными книгами, — первымъ книгамъ, бывшимъ при пяти бывшихъ патріархахъ, во всемъ противны, въ вечерни, и въ заутрени, и въ литургіи, и во всей божественной службѣ не согласуютъ. А государь нашъ Алексѣй Михайловичъ православенъ, но токмо простою своею душою принялъ отъ Никона, мнимаго пастыря, внутренняго волка, книги, чая ихъ православны, не разсмотря плевели еретическихъ въ книгахъ вѣншнихъ ради браней, понялъ тому вѣры и впредь чаю по писанному: праведникъ еще падеть, не разбѣется, яко Господь подкрѣпляетъ руку его. А про патріарховъ слышалъ я отъ братій духовныхъ, что у нихъ въ три погруженія не крестятся, но обливаются по римски, и крестовъ на себѣ не носятъ, и въ сложенія персть знаменующеся, слагая три персты, и Христово вочеловѣченіе отнещутъ, и сіе есть все не православно, но противно святой соборной и апостольской церкви».

Приблизительно такіе же отвѣты дали на допросъ и сотоварищи Аввакума по заключенію. Получивъ ихъ, патріархи и соборъ подтвердили проклятiе, возложенное на раскольниковъ въ предшествовавшемъ году, съ оговоркой, что «та клятва и проклятiе возводится нынѣ точію на Аввакума, бывшаго протопопа, и на Лазаря попа, и Никифора, и Епи-

ченію. Одно, по всей вѣроятности второе, изъ этихъ посланій Аввакума, написанное въ 1669 году, дошло до насъ и даетъ возможность судить о томъ впечатлѣніи, какое произвела на протопопа понесенная имъ кара.

По выраженію Аввакума, онъ въ этомъ посланіи «послѣднее плачевное моленіе приносить царю изъ темницы, яко изъ гроба», прося его «обратиться въ прежнее его благочестіе». «Что есть ересь наша, — спрашивалъ онъ — или кій расколъ внесохомъ мы въ церковь, якоже блядословить о насъ никоніаны?.. Не вѣмы ни слѣду въ себѣ ересей конхъ, ниже раскольства». Доказывая свою правоту въ смыслѣ сохраненія православія и осуждая «богоотметника» Никона и греческую церковь, въ которой «изъясче благочестіе по пророчеству святыхъ», Аввакумъ вѣстѣ съ тѣмъ рѣшительно отказывался имѣть впредь дѣло съ церковной іерархіей и даже не винилъ ее особенно въ происшедшемъ, перенося всю отвѣтственность за осужденіе и преслѣдованіе ревнителей старины на царя. «Ты, самодержче, — говорилъ онъ — судъ подымеши о сихъ всѣхъ, иже таково дерзновение имѣ (никоніанамъ) подавый на ны». «Нѣсть бо уже намъ къ нимъ ни едино слово, — повторялъ онъ въ другомъ мѣстѣ своего посланія. — Все въ тебѣ, царю, дѣло затворися и о тебѣ единомъ стоитъ». Исключительно къ царю обращался онъ поэтому съ увѣщаніями и убѣжденіями, то отстаивая правоту своихъ воззрѣній, то приводя въ связь состоявшееся отступленіе отъ древняго русскаго православія съ бѣдствіями, понесенными съ того времени русской землей, то угрожая сграшнымъ Христовымъ судомъ. «Тамъ — обращался онъ къ царю — будетъ и тебѣ тошно, да не пособишь себѣ ни мало. Здѣсь ты намъ праведнаго суда со отступниками не дашь: и ты тамо отвѣщати будешь самъ всѣмъ намъ». Суровый, фанатическій тонъ этихъ увѣщаній лишь отчасти смягчался привычнымъ любовнымъ отношеніемъ къ личности Алексѣя Михайловича, и теперь еще по временамъ пробивавшимся у посланнаго протопопа. Угрожая царю въ случаѣ его упорства вѣчною гибелью, Аввакумъ тутъ же однако прибавлялъ: «прости, Михайловичъ-святъ, даже бы тебѣ вѣдомо было, да никакъ не лгу, ниже притворяясь тебѣ говорю. Въ темницѣ мнѣ, яко во гробѣ, сѣдшу, что надобно, развѣ смерть? Ей, тако». Горько и язвительно упрекая Алексѣя Михайловича за вновь принятые мѣры противъ раскола, выразившіяся въ лишеніи умершихъ раскольниковъ церковнаго погребенія, Аввакумъ и тутъ однако не проявлялъ такъ свойственнаго ему яростнаго раздраженія. «Ты царствуй — замѣчалъ онъ только — многа лѣта, а я мучуся многа лѣта: и поидетъ вѣстѣ въ дома своя вѣчныя, егда Богъ изволить. Ну, да хотя, государь, меня и собакамъ приказалъ выкинуть, да еще благословлю тѣ благословеніемъ послѣднимъ». Но личное чувство, связывавшее Аввакума съ царемъ Алексѣемъ, теперь смягчало лишь тонъ рѣчи проповѣдника, не вліяя на сущность его мысли. Если раньше Аввакумъ отдѣлялъ царя отъ

собой суровые наказания относительно здѣшнихъ узниковъ. Послѣ допроса, на которомъ они остались непреклонными въ своихъ убѣжденіяхъ, рѣшительно отказываясь отъ общенія съ церковной іерархіей и проклиная «еретическое соборіище», имъ объявленъ былъ приказъ московскаго правительства, которымъ повелѣвалось Лазарю, Епифанію и Теодору отрубить правыя руки и вырѣзать языки, а Аввакума, не подвергая такой казни, посадить въ земляную тюрьму и давать ему только хлѣбъ да воду. Это новое исключеніе въ пользу Аввакума, явившееся, конечно, не безъ участія его доброжелателей при московскомъ дворѣ, такъ раздражило его, что онъ хотѣлъ было уморить себя голодомъ, и только убѣжденія и просьбы товарищей по заключенію отклонили его отъ такого намѣренія.

Послѣ совершенія назначенной казни надъ товарищами Аввакума всѣ узники были переведены въ новую, спеціально для нихъ приготовленную тюрьму: въ землѣ устроенъ былъ срубъ, собственно и представлявшій изъ себя темницу и окруженный снаружы другимъ срубомъ, выходъ изъ котораго оберегался стражей. Узники сидѣли отдѣльно другъ отъ друга и только по ночамъ, тайно вылезая во вѣшнюю ограду, могли видѣться и бесѣдовать. Болѣе тяжелаго, болѣе жестокаго заключенія, казалось, нельзя было ни создать, ни даже представить себѣ. Удаленные на громадное разстояніе отъ родины, отрѣзанные отъ всего вѣшняго міра, навѣки запертые въ четырехъ стѣнахъ своей засыпанной землею темницы, изъ которой они не могли сдѣлать шагу даже для удовлетворенія необходимыхъ естественныхъ потребностей, узники осуждены были отнынѣ томиться какъ бы въ могилѣ, и недаромъ Аввакумъ съ этихъ поръ начинаеть называть себя «живымъ мертвецомъ». Но въ этомъ заживо похороненномъ человѣкѣ жизненный пульсъ бился еще съ лихорадочной быстротой и энергіей, мысль еще работала съ неослабѣвающимъ жаромъ.

И въ эту тяжелую эпоху молитва и ревностное исполненіе религіозныхъ обязанностей составляли главное утѣшеніе Аввакума. Въ своей пустоозерской тюрьмѣ онъ оставался все тѣмъ же строго благочестивымъ человѣкомъ, истощавшимъ свою плоть въ подвигахъ суроваго поста и молитвеннаго энтузіазма. Не довольствуясь тѣми лишеніями, какими сопровождалось тюремное заключеніе, онъ самъ создавалъ себѣ еще новыя, нещадно терзая себя. Переведенный въ земляную тюрьму, онъ здѣсь сбросилъ съ себя все платье, даже рубашку, и остался совершенно нагимъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ продолжалъ неуклонно соблюдать весь ритуаль ежедневной молитвы, перѣдко выставляя на ней до полного изнеможенія и потери всѣхъ силъ. Одинъ эпизодъ изъ упомянутого выше посланія Аввакума ярко обрисовываетъ эту сторону его жизни. Въ великомъ посту заточенный протопопъ, какъ рассказываетъ онъ самъ, по своему обыкновенію, втеченіе всей первой недѣли не принималъ никакой пищи; тотъ же суровый постъ продолжалъ онъ и

въ темницу для принесшихъ ихъ лицъ, и такимъ образомъ установились сношенія между Аввакумомъ и его учениками и почитателями,—сношенія, опредѣлившія собою характеръ послѣдующихъ годовъ его жизни.

Убогая земляная келья въ Пустозерской тюрьмѣ, гдѣ страдалъ и томился нагой человѣкъ, приобрѣла характеръ умственного центра шпрокаго народнаго движенія, громадной волной прошедшаго по всей русской землѣ. Сюда, въ эту келью, стекались всѣ извѣстія, относившіяся къ судьбѣ раскола, и находили себѣ отзвукъ въ проповѣдяхъ ея обитателя, то торжествующихъ, то гнѣвныхъ, но всегда исполненныхъ глубокаго убѣжденія и страстнаго энтузіазма. Сюда обращались за совѣтомъ и поученіемъ въ дѣлахъ вѣры, здѣсь искали наставленія въ самыхъ разнообразныхъ вопросахъ житейской практики, отсюда ждали утѣшенія и ободренія, и въ отвѣтъ на эти многообразные запросы, приходившіе изъ разныхъ мѣстъ Россіи, отсюда шли посланія, проникнутыя нѣжною любовью и яростной злобой, заключавшія въ себѣ защиту и утѣшеніе раскольниковъ и рѣзкое обличеніе никоніанства, содержавшія практическія указанія и распоряженія на счетъ судьбы раскольниковыхъ общинъ и отдѣльных ихъ членовъ. Особенно дѣятельныя сношенія поддерживалъ Аввакумъ съ тремя мѣстностями—Москвою, гдѣ сосредоточивалось значительное количество раскольниковъ, болѣе или менѣе успѣшно укрывавшихся отъ преслѣдованій правительства,—Мезенью, гдѣ жила его семья,—и Боровскомъ, куда съ 1673 года сослана была боярыня Морозова вмѣстѣ съ сестрой своей, княгиней Урусовой. Посланія Пустозерскаго узника, часто писавшіяся пия за недостаткомъ бумаги на маленькихъ клочкахъ, тщательно переписывались его поклонниками и разсылались въ другія мѣста, служа могучимъ орудіемъ раскольниковой пропаганды. Благодаря общирному досугу Аввакума и сильному запросу на его произведенія, его литературная дѣятельность приняла весьма значительные размѣры. За 14 лѣтъ пребыванія въ Пустозерскѣ имъ было написано большое количество разнаго рода произведеній, изъ которыхъ до насъ дошли его автобіографія или «Житіе протопопа Аввакума», составленное имъ въ двухъ редакціяхъ, нѣсколько толкованій на различные псалмы и другихъ сочиненій догматическаго и полемическаго характера и нѣсколько десятковъ посланій къ разнымъ лицамъ. Въ этихъ многочисленныхъ произведеніяхъ ярко отразились какъ основныя идеи того умственного движенія, представителемъ котораго являлся Аввакумъ, такъ и ихъ постепенная молификація. Съ этой точки зрѣнія ихъ содержаніе представляетъ большой интересъ, рельефно обрисовывая внутреннюю жизнь раскола въ первые годы его существованія.

* * *

Успѣхъ Аввакума въ роли апостола раскола объяснялся, впрочемъ, не только идейнымъ содержаніемъ его проповѣди, но и личными его свой-

въ произведеніяхъ ученыхъ противниковъ Аввакума преобладала сухая, книжная форма изложенія, подавлявшая читателя громаднымъ количествомъ иностранныхъ словъ и массою риторическихъ оборотовъ, нерѣдко почти совѣмъ затемнявшихъ смыслъ, языкъ Аввакума блещетъ своей простотой и удобопонятностью, лишь изрѣдка встрѣчаются въ немъ иностранные слова и вездѣ, не исключая и сочиненій догматическаго характера, онъ отличается замѣчательною жизненностью и энергіей. Присущая ему простота выражается не только въ лексическомъ составѣ его и въ оборотахъ, но и въ самомъ содержаніи, въ характерѣ тѣхъ образовъ и сравненій, какіе подбираетъ писатель для уясненія своей мысли, сравненій, берущихся изъ изъ сферы самыхъ обыденныхъ явленій современной ему жизни и потому всегда понятныхъ для читателя и тѣмъ сильнѣе на него дѣйствующихъ. Сообразно нравамъ вѣка, простота эта часто переходила, правда, въ грубость, а временами пріобрѣтала даже оттѣнокъ цинизма.

Съ особенною рельефностью всѣ отмѣченныя черты проявляются въ эзегетическихъ произведеніяхъ Аввакума и для иллюстраціи сказаннаго достаточно будетъ привести изъ нихъ два болѣе крупные примѣра. Растолковывая въ одномъ изъ своихъ произведеній («Списаніе и собраніе о Божествѣ и о тварѣ, и како созда Богъ человѣка») исторію первыхъ людей, какъ она изложена въ Библии, Аввакумъ такъ рассказываетъ объ искушеніи Евы змѣею и его послѣдствіяхъ:

«Змія же, отклоняся отъ Адама, прииде ко Еввѣ,—ноги у нея и крылья были, хорошей звѣрь, красной была, докамѣсть не сворожала. И рече Еввѣ тѣ же глаголы, что и Адаму. Она же, послушавъ зміи, приступи ко древу, вземъ грезнь и озоба его, и Адаму даде: понеже древо красно видѣнемъ и добро въ снѣдъ,—смоковъ красная, ягоды сладкіе, слова межю собою лъстивыя! Онѣ упиваются, а діаволъ въ то время смѣется. Увы невоздержанія! увы небреженія заповѣди Господня! Оттолѣ и доднесъ въ слабоумныхъ человѣкахъ такъ же лѣсть творится. Подчиваютъ другъ друга зеліемъ неразтвореннымъ, сирѣчь зеленымъ виномъ процѣженнымъ и прочими питіи и сладкими брашны, а опослѣ и посмѣхаютъ другъ друга, упившагося до-пьяна. Слово въ слово, что въ раю было при діаволѣ и при Адамѣ. Паки Бытія. И вкусиста Адамъ и Евва отъ древа, отъ него же Богъ заповѣда, и обнажистася. О, миленькія! Пріодѣти стало некому! Ввелъ діаволъ въ бѣду, а самъ и въ сторону! Лукавый хозяинъ накормилъ, напоилъ, да и съ двора спехнулъ: пьяной валяется на улицѣ, ограбленъ,—никто не помилуетъ! Паки Библія: Адамъ же и Евва сшиста себѣ листвіе смоковиное отъ древа, отъ него же вкусиста, и прикрывста срамоту свою, и скрыстася, подъ древо всзлестоса. Проспалися бѣдныя съ похмѣлья, ано и самимъ себя соромъ: борода и усъ въ блевотинѣ... со здоровныхъ чашъ кругомъ голова идетъ и на плечахъ не держится! А инъ отца и честнова сынъ, пропився на кабацѣ, подъ рогожею на печи валяется! Увы тогдашнева Адамова безумія и нынѣшнихъ адамленковъ! Паки Бытія... И паки рече Господь: что сотворилъ еси? Онъ же отвѣща: жена, юже ми даде! Просто реши: на што-де мнѣ такую дуру сдѣлалъ! Самъ неправъ, да на Бога же пеняеть! И нынѣ похмѣлныя тоже, шпыння, говорятъ: на што Богъ и сотворилъ хмѣл-еть! ился и ѣсть

«Увы, чадо мое!—воскликаетъ онъ.—Увы, мой свѣте, утроба наша возлюбленная,—твой сынъ плотской, а мой духовной! Яко трава, посѣченъ бысть, яко лоза виноградная съ плодомъ, къ землѣ преклонился и отыде въ вѣчныя блаженства со ангелы ликовствовать и съ лики праведныхъ предстоитъ святой Троицы. Уже къ тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебѣ уже неково четками стегать, и не на ково поглядѣть, какъ на лошадки поѣдетъ, и по головки неково погладить,—помнишь-ли?—какъ бывало. Миленкой мой государь! Впослѣднее увидѣлся съ нимъ, егда причастилъ ево. Да пускай—Богу надобно такъ! И ты не больно о немъ кручинься: хорошо, право, Христосъ изволилъ. Явно разумѣмъ, яко царствію небесному достоинъ. Хотя бы и всѣхъ насъ побралъ, гораздо бы изрядно. Съ Ѳеодоромъ (повѣшеннымъ на Мезени юродивымъ) тамъ себѣ у Христа ликовствуютъ,—сподобилъ ихъ Богъ! А мы еще не вѣмы, какъ до берега доберемся».

Другой разъ, отправляя посланіе въ московскую общину и налагая тяжелую епитимію на одну изъ своихъ ученицъ, старицу Елену, за разлученіе жены съ мужемъ, Аввакумъ такъ заключаетъ свой приговоръ:

«Слушай-ко, игуменъ Сергій! Иди во обитель Меланьи матери и прочти сіе писанное со Духомъ Святымъ на соборѣ Еленѣ при всѣхъ, да разумѣютъ сестры, яко короста на ней, даже не ошелудивѣютъ отъ нея и удаляются ея. А ты, Меланья, не яко врага, ея имѣй, но яко искреннюю. И всѣ сестры спомогайте ей молитвами. Другъ мой миленькой, Еленушка! Поплач-ко ты хорошенко предъ Богородицею-свѣтомъ, такъ она скоренко очиститъ тебя. Да вѣдь-су и я не выдамъ тебя: ты тамъ плачь, а я здѣсь. Дружнее дѣло: какъ мнѣ покинуть тебя? Хотя умереть, а не хочу отстать. Елена, а Елена! Съ сестрами тѣми не сообщайся: понеже онѣ чисты и святы. А со мною водися: понеже я самъ шелудивъ, не боюся твоей коросты,—и своей много у меня! Пришли мнѣ малины. Я стану ѣсть,—понеже я оглашенный, ты оглашенная,—другъ на друга не дивимъ, оба мы равны. Видала ли ты? земскіе ярышки другъ друга не осужаютъ. Тако и мы».

Такъ, даже осуждая за тяжкій грѣхъ и налагая суровое наказаніе, бывшій протопопъ вмѣстѣ заботится о томъ, чтобы не поселить унынія въ душѣ ученицы, и, отчуждая ее отъ общенія съ вѣрными, умышленно ставить себя на одну доску съ грѣшницей, и казывая, вмѣстѣ и ободряетъ. При такомъ отношеніи къ ученикамъ Аввакумъ не безъ основанія говорилъ имъ: «не имать власти таковыя надъ вами и патріархъ, яко же азъ о Христѣ,—кровію своею помазую душа ваша и слезами помываю». Насколько рѣзкія обличенія никоніанства и смѣлая проповѣдь могли привлекать людей къ расколу, настолько же эта нравственная чуткость къ чужимъ страданіямъ и деликатное врачеваніе душевныхъ скорбей должны были прочными узами приковывать къ Аввакуму сердца его учениковъ.

За то не остается у Аввакума и слѣда нѣжности и снисходительности, какъ только онъ имѣетъ дѣло не съ обычнымъ прегрѣшеніемъ, а съ тѣмъ, что, по его понятіямъ, представляетъ собою ересь. Въ такихъ случаяхъ онъ пользуется всѣмъ богатствомъ браниныхъ выраженій въ русскомъ языкѣ, обильными пото-

«предотеча» послѣднего. Такъ или иначе, но именно черезъ Никона и благодаря его дѣйствіямъ проникла въ Московское государство ересь, которую Аввакумъ характеризовалъ такимъ образомъ: «Нарядна она, въ царской багрянницѣ ѣздить и изъ золотой чаши подчивается. Упопла римское царство и польское, и многія окрестныя рѣши, да и въ Русь нашу пріѣхала въ 160 году»...

Эта ересь, введенная Никономъ и заключающаяся въ перемѣнѣ вѣры на новую, римскую, перешедшая изъ римскаго и польскаго государствъ, выразилась въ измѣненіяхъ церковныхъ обрядовъ и богослужебныхъ книгъ. Въ ряду первыхъ едва-ли не наиболѣе важное мѣсто принадлежало, по мнѣнію Аввакума, установленію троеперстія. Старинный православный обычай заключался, по увѣренію протопопа, въ двоеперстіи и нарушение его, скрывая въ себѣ глубокой и пагубный смыслъ, увлекаетъ людей въ вѣчную гибель. «Отвергли никоніянн—писалъ онъ по этому поводу—вѣчную правду церковную, не восхотѣли пятию персты, по преданію святыхъ отецъ, креститися, но вѣкако странно тремя персты запечатлѣшася въ сокровищи всегубителя,—глаголю, печатію запечатлѣшася антихристовою, въ ней же тайна тайнамъ бѣ: змій, звѣрь и лжепророкъ. Всякъ, тремя персты знаменаяся, не можетъ разумѣти истинны, омрачаетъ бо у такового духъ противный умъ и сердце его». Въ другомъ случаѣ Аввакумъ далъ своей мысли еще болѣе распространенное и опредѣленное объясненіе. «Всякъ бо, крестясь тремя персты, кланяется первому звѣрю папежу и второму русскому, творя ихъ волю, а не Божию; или рещи: кланяется и жертвуетъ душою тайно антихристу и самому діаволу. Въ ней же бѣ, щепоти, тайна сокровенная: звѣрь и лжепророкъ, сирѣчь: змій—діаволь, а звѣрь—царь лукавый, а лжепророкъ—папѣжъ римскій и прочіи подобныи». Въ такомъ освѣщеніи троеперстіе представлялось уже не простымъ измѣненіемъ обряда, согласованнымъ съ практикой другихъ православныхъ церквей, а искаженіемъ сущности вѣры, служеніемъ самому антихристу и папѣ римскому, слѣдовательно, неискупимымъ грѣхомъ. «Велія бо язва и неиспѣльна—утверждалъ протопопъ—отъ трехъ перстовъ бываетъ души: лучше бо человѣку не родитися, нежели тремя персты знаменатися»; всякій, крестящійся тремя перстами, «будетъ мученъ огнемъ и жупеломъ».

Однозначнымъ съ измѣненіемъ крестнаго знаменія представлялось Аввакуму и измѣненіе формы креста въ изображеніи изъ восьмиконечнаго на четвероконечный. Соглашаясь съ тѣмъ, что и четвероконечный крестъ находится въ церкви «по преданію святыхъ отецъ», Аввакумъ рѣшалъ, однакоже, что онъ можетъ быть допускаемъ «только на ризахъ, и на стихаряхъ, и патрахилыхъ, и пеленахъ, идѣже положиша отцы». «А кто кто—продолжалъ онъ—его учинить на просфирахъ или напишетъ на

средственную связь этого измѣненія съ обычаями католической церкви, утверждалъ, по крайней мѣрѣ, что оно служить лишь началомъ, а затѣмъ служба будетъ совершаться и на одной просфирѣ, и притомъ не кислой, а опрѣснокѣ, къ чему будто бы и стремятся «папа съ Никономъ прѣснолюбы».

Измѣненія въ иноческомъ быту въ видѣ замѣны круглыхъ клобуконъ монаховъ плоскодонными и ношенія широкихъ рясъ равнымъ образомъ являлись въ глазахъ Аввакума знаменіемъ ереси, пришедшей въ православную церковь извнѣ. «Бысть въ дѣла наша—писалъ онъ—есть русской земли Божіе поущеніе, а діаволѣ злехитріе, изникоша изъ бездны мниси, нареченные монахи, имѣюще на себѣ образъ любодѣйный, камилавки подклейки женскія и клобуки рогатыя. Получиша себѣ сію пагубу отъ костела римскаго». Рассказывая при этомъ извѣстный анекдотъ о женщинѣ, сдѣлавшейся римскимъ папою, Аввакумъ именно ей и приписывалъ введеніе такой формы клобуконъ. Если послѣдніе представляли собою заимствованіе изъ католической церкви, то широкія рясы были, по его словамъ, введены въ видахъ потворства тѣлесной похоти и въ этомъ смыслѣ также составляли отступленіе отъ отеческихъ преданій. Иноку заповѣдано всегда глядѣть въ землю, памятовать страсти Господни и истощать свою плоть, вновь же введенная монашеская одежда представляла полную противоположность этимъ завѣтамъ. По словамъ проповѣдника, современные ему иноки «Вогомъ преданное скидали съ головъ и, волосы расчесавъ, чтобы бабы любили ихъ, выставя рожу всю, да препояшется по титкамъ, воздѣвши на себя широкій жупанъ». «Нагъ ты—обращался Аввакумъ къ одѣтому такимъ образомъ монаху—благодати сталъ и Христовыхъ страстей отвергся. На женскую подклейку платишко наложилъ, да я-де су инокъ, Христовымъ страстямъ сообщникъ! Подобаеть истинному иноку дѣлы Христу подобитися, а не словеса глумными, и такъ творить, якоже святіи. Помнишь ли? Іоаннъ Предотеча подпоясывался по чресламъ, а не по титкамъ, поясомъ усменнымъ, сирѣчь кожанымъ: чресла глаголются, подъ пупомъ опоясатися крѣпко, даже брюхо-то не толстѣеть. А ты, что чреватая женка, не извредить бы въ брюхѣ ребенка, подпоясываешься по титкамъ! Чему быть! И въ твоємъ брюхѣ-то не мевше ребенка бабья наложено бѣды-той, яготъ мигдалныхъ, и ренскова, и романей, и водокъ различныхъ съ виномъ процѣженнымъ налилъ: какъ ево подпоясать! Невозможное дѣло ядомое извредить въ немъ! А се и ремень надобѣ дологъ»!

Такой же горячій протестъ вызывали, наконецъ, со стороны Аввакума и измѣненія въ написаніи именъ, искаженныхъ русскими переписчиками или принявшихъ съ теченіемъ времени на Руси особую форму и возстановленныхъ никоновскими справщиками въ первоначальномъ видѣ. Съ не-

вленія этой связи, онъ пытался создать ее путемъ совершенно произвольныхъ предположеній, въ дальнѣйшемъ х въ мысляхъ принимаемыхъ за доказанныя истины. Такимъ образомъ всѣ современныя ему измѣненія церковной обрядности понимались имъ, какъ заимствованія отъ иностранцевъ, и обобщались подъ именемъ римской, польской или нѣмецкой вѣры. «Охъ, охъ, бѣдная Русь!—восклидалъ онъ.—Чего-то тебѣ захотѣлось нѣмецкихъ поступковъ и обычаевъ»? То же самое отношеніе сквозило и въ эпитетахъ, какіе онъ придавалъ виновникамъ и сторонникамъ церковной реформы, въ названіи ихъ «другими нѣмцами русскими». Русское православіе противопоставлялось такимъ образомъ въ представленіи Аввакума иноземной ереси. Согласно этому представленію, правая вѣра сохранилась только въ московской Руси, исчезнувъ во всѣхъ другихъ странахъ, не исключая Греціи и Малороссіи, гдѣ православіе уцѣлѣло только по имени, будучи на дѣлѣ давно искажено латинскою ересью. Москва единственная изъ всѣхъ государствъ древняго и новаго міра успѣла удержать у себя правую вѣру и потому всѣ отличія отъ практики православной церкви, установившіяся на Руси, пріобрѣтали характеръ признаковъ преимущественнаго правовѣрія. Это сохраненіе вѣры во всей ея чистотѣ придавало Москвѣ значеніе «третьяго Рима», главы православнаго міра, и понятно, что при такомъ воззрѣніи, въ которомъ религіозная исключительность сливалась съ національнымъ самолюбіемъ, мало оставалось мѣста для какихъ-либо исправленій русской церковной жизни на основаніи практики другихъ православныхъ церквей. Такой результатъ еще усиливался самымъ пониманіемъ правовѣрія. Въ послѣднемъ Аввакумъ усматривалъ двѣ стороны: сохраненіе неизмѣнными всѣхъ догматовъ и обрядовъ церкви и соблюденіе стюгаго благочестія въ жизни. Но какъ первое сводилось у него почти всецѣло къ обрядовой сторонѣ, къ наблюденію за тѣмъ, чтобы «гдѣ что положили святые отцы, тамъ бы оно и пребывало неизмѣнно», такъ второе при его аскетическомъ настроеніи переходило въ полное почти огреченіе отъ міра, въ жизнь, отрѣшенную отъ всякаго плотскаго наслажденія, отъ всякой не-церковной радости. «Дѣтей своихъ учите, Бога для, неослабно страху Божию; играть не велите. Охъ, свѣты мои! Вся мимо идутъ, токмо душа вещь непремѣнна»,—наставлялъ онъ своихъ учениковъ и давалъ имъ рядъ подробныхъ совѣтовъ, какъ устроить жизнь по правиламъ благочестія. Согласно этимъ совѣтамъ, вся жизнь въ ея цѣломъ, какъ церковная, такъ и общественная и частная, должна была управляться предписаніями религіи и стремиться исключительно къ удовлетворенію религіозныхъ интересовъ; рядомъ съ высшей религіозной истиной не оказывалось мѣста ни для какой другой, хотя бы даже и въ подчиненномъ по отношенію къ первой положеніи. Человѣческій разумъ не только всецѣло поглощался догмой въ области религіи, гдѣ ему предстояло лишь хранить завѣд :

сторонѣ, и изъ отождествленія религіи съ данною національностью, не допускало никакого воздѣйствія на жизнь народа извнѣ. Всякое признаніе преимущества въ чемъ-либо другого народа, неправильности того или другого порядка у себя дома сравнительно съ иноземцами посягало и на ту идею исключительнаго русскаго правовѣрія, на которой держалось все міросозерцаніе проповѣдника, и вотъ почему Аввакумъ такъ упорно держался за всякую мелочь и проявлялъ столько озлобленія въ самыхъ ничтожныхъ, повидимому, вопросахъ: отказаться отъ подробности значило вмѣстѣ своими руками подорвать и общую идею. «Не передвигаемъ вещей церковныхъ съ мѣста на мѣсто—заявлялъ онъ.—Идѣже святіи положиши что, то тутъ и лежи. Иже что, хотя малое, перемѣнить, да будетъ проклять». Возможность иной точки зрѣнія для русскаго человѣка совершенно не представлялась его уму и поэтому осужденіе его взглядовъ было въ его глазахъ равносильно осужденію всей русской церкви, посягновенію всего ея славнаго прошлаго, возвысившаго ее надъ всѣми другими. «То ли наша великая вина,—въ глубокомъ недоумѣніи спрашивалъ онъ— еже держимъ отецъ своихъ преданіе неизмѣнно во всемъ? Аще мнятся имъ дурно сіе: подобаетъ имъ извергнути отъ памяти прежде бывшихъ царей и патріарховъ и всѣхъ русскихъ святыхъ. За что они намъ послѣ себя оставили книги сія, за нихже мы полагаемъ душа своя! Аще ли имъ памяти честнѣ творять и святыхъ русскихъ почитаютъ всѣхъ, ихже мы уставы и преданіе неизмѣнно держимъ: за что же насъ мучить и губить?» Странными и дикими представлялись Аввакуму при такомъ положеніи дѣла проклятія, обрушившіяся на него со стороны русскихъ іерарховъ. «А что вы насъ клянете,—говорилъ онъ—и мы тому смѣемся. И робенокъ засмѣется вашему безумію. Коли насъ за старину святую проклинать,—вно и отецъ вамъ и матерей подобаетъ своихъ проклинати, въ нашей вѣрѣ измѣршихъ».

Мало убѣдительными оказывались для Аввакума въ виду его руководящихъ принциповъ и возраженія, производившія особенности русской церковной жизни отъ невѣжества прежнихъ іерарховъ и призывавшія склониться передъ ученостью грековъ и малороссовъ. Въ его глазахъ православіе и невѣжество скорѣе могли быть синонимами, чѣмъ православіе и наука, и онъ съ особенной, понятной только съ точки зрѣнія всего его міросозерцанія, ироніей противопоставлялъ невѣждѣ-русскихъ ученыхъ грекамъ. «Русскіе бѣдные, пускай глупы, рады мучителя дождались, полками въ огонь дерзають за Христа Сына Божія-Свѣта. Мудры б..... дѣти греки, да съ варваромъ турскимъ съ одного блюда патріархи кушаютъ раделые курки. Русачки же миленкіе не такі,—въ огонь лѣзеть, а благовѣрія не предасть!» Исправленія, сопровождаемыя ссылками на практику иныхъ церквей и на авторитетъ чужестранныхъ ученыхъ, уже

отношенію ко всякаго рода еретикамъ проповѣдывалась полная нетерпимость и преслѣдованіе ихъ вмѣнялось въ обязанность и духовной іерархіи, и свѣтской власти. Такъ, въ посланіи къ Алексѣю Копытовскому, одному изъ учениковъ своихъ, Аввакумъ совѣтовалъ ему побить палкой другого раскольника за неправильныя его мнѣнія и грозилъ проклясть послѣдняго, если онъ не исправится. Проклятiе—крайняя мѣра со стороны лица духовнаго, но упорныхъ еретиковъ должно передавать затѣмъ въ руки свѣтской власти, которая обязана казнить ихъ. Это общее положеніе Аввакумъ примѣнял и къ никоніанамъ. «Воли мѣи нѣтъ да силы,—жаловался онъ въ одномъ изъ своихъ посланій—перерѣзалъ бы, что Илья пророкъ, студныхъ и мерзкихъ жеребцовъ всѣхъ, что собакъ»... При такой фанатической нетерпимости, не останавливавшейся передъ требованіемъ смертной казни за убѣжденія, идеальнымъ носителемъ государственной власти въ глазахъ проповѣдника являлся не кто иной, какъ самъ царь Грозный. Говоря о Никонѣ, Аввакумъ замѣчалъ: «какъ бы доброй царь, повѣсилъ бы его на высокое древо... Миленькой царь Иванъ Васильевичъ скоро бы указъ сдѣлалъ такой собакъ»... Эту идеальную въ его глазахъ фигуру прошлаго Аввакумъ мечталъ увиѣть и въ настоящемъ.

«Вѣдаю разумъ твой,—обращался онъ къ Алексѣю Михайловичу въ своихъ «Толкованіяхъ на псалмы»—умѣешь многими языки говорить: да што въ томъ прибыли? Съ симъ вѣкомъ останется здѣсь, а о грядущемъ ничимже пользуется. Воздохни-тко по старому, какъ при Стефанѣ бывало, добренько и рцы по русскому языку: Господи, помилуй мя грѣшнаго! А киріелейсонъ-отъ отставъ: такъ ельняне говорятъ; плюнь на нихъ! Ты, вѣдь, Михайловичъ, русакъ, а не грекъ! Говори своимъ природнымъ языкомъ; не уничай его и въ церкви, и въ дому, и въ пословицахъ. Какъ насъ Христосъ научилъ, такъ подобаетъ говорить. Любить насъ Богъ не меньше грековъ; предавъ намъ и грамоту нашимъ языкомъ Кирилломъ святымъ и братомъ его. Чего же намъ еще? Развѣ языка ангельскаго? Да нѣтъ, нынѣ не дадутъ, до общаго воскресенія. Да еще бы и ангельски говорилъ, Павелъ рече, любве же не имамъ, быхъ яко мѣдъ звеняща или кимвалъ бряцающа,—барабаны ваши!.. А ты, миленькой, посмотри-тко въ пазуху-ту, царь христіанскій! Всѣхъ-ли христіанъ-тѣхъ любишь? Нѣтъ больше, отбѣже любовь и вселися злоба. Еретиковъ-никоніанъ токмо любишь, а насъ, православныхъ христіанъ, мучишь, правду о церкви Божіей глаголющихъ ти. Перестань-ко ты насъ мучить-тово. Возми еретиковъ-тѣхъ, погубившихъ душу твою, и пережги ихъ, скверныхъ собакъ, латынниковъ и жидовъ, а насъ распусти, природныхъ своихъ. Право, будетъ хорошо»...

Итакъ, религіозная и національная исключительность, распространеніе религіи, понятой узко и односторонне, на всѣ сферы жизни, проповѣдь аскетизма и отреченія отъ свободы личнаго разума и отъ свѣтской науки, наконецъ, нетерпимость, доходившая до апогеоза грубѣйшаго насилія,—таковы были основныя черты міросозерцанія Аввакума, тѣсно связывавшія его съ предшествовавшимъ историческимъ моментомъ. Но примѣнять и проповѣдывать

ствами, которыя сопровождали образованіе раскола, какъ отдѣльной религіозной общины, лишенной связи съ церковью, занялъ вопросъ объ отношеніи раскольниковъ къ православнымъ или, употребляя терминологию партіи, къ «никоніанамъ». На этотъ вопросъ Аввакумъ давалъ вполне точное и определенное рѣшеніе, вытекавшее изъ самаго пониманія имъ «никоніанства». «Паче прежнихъ еретикъ никоніяны», говорилъ онъ и въ строгомъ согласіи съ этимъ общимъ взглядомъ устанавливалъ формы отношеній къ нимъ. «Христіанину сущу,—по его словамъ,—подобаетъ удалитися ихъ; не токмо жертвы, но и селенія ихъ поганы суть и древнихъ еретиковъ поганѣ». «Не водись съ никоніанны,—писалъ онъ въ другой разъ—не водись съ еретиками: враги они Богу и мучители христіаномъ, кровососы, душегубцы». По его совѣтамъ, слѣдовало избѣгать не только мирныхъ и дружескихъ сношеній съ никоніанами, но и всякихъ преній о вѣрѣ, хотя бы даже такіа пренія не носили прямо враждебнаго характера. «Бѣги отъ еретика и не говори ему ничего о правотѣри,—предписывалъ на этотъ случай Аввакумъ—токмо плюй на него. Аще онъ когда и мягко съ тобою говорить, отклоняйся его, понеже ловить тебя, даже наведеть бѣду душевную и тѣлесную». Идеаломъ являлось такимъ образомъ полное отчужденіе отъ никоніанъ, причеи оно должно было бы распространяться какъ на церковную, такъ и на частную жизнь. Этотъ общій принципъ въ житейской практикѣ встрѣчался, однако, съ такимъ случаемъ, къ которому онъ не могъ быть примѣненъ безъ предварительныхъ оговорокъ и дополненій. Раскольники даже тогда, еслибы они захотѣли всецѣло осуществить такое отчужденіе, не могли совершенно избѣжать столкновеній съ никоніанами, не могли отгородиться отъ нихъ такъ же прочно, какъ отгораживалась русская церковь въ ея цѣломъ отъ иноземнаго вліянія, такъ какъ это зависѣло не только отъ ихъ воли. Православная іерархія, поддерживаемая силою свѣтской власти, виѣшивалась въ ихъ жизнь, требовала подчиненія себѣ, и такимъ образомъ возникалъ вопросъ, какъ быть съ этимъ вмѣшательствомъ, какого рода мѣры практиковать по отношенію къ воинствующему православію. Нилучшій выходъ изъ этого положенія указывалъ Аввакумъ въ мученичествѣ, на которое дѣятельно и возбуждалъ своихъ учениковъ, радуясь, что «русская земля освятилась кровію мученическою». «Само царствіе небесное валится въ ротъ,—писалъ онъ—а ты откладываешь, говоря: дѣти малы, жена молода, разориться не хочется!.. Ну, дѣти-тѣ переженешь и жену-ту утѣшишь; а затѣмъ что? не гробъ-ли? И та же смерть, да не такова: понеже не Христа ради, но общей всемірной конецъ». Смерть за вѣру была концомъ, наиболѣе достойнымъ христіанина, по мнѣнію протопопа, даже и въ томъ случаѣ, когда эта смерть не наносилась непосредственно гонителями, а являлась результатомъ самоубійства, если только къ послѣднему человѣкъ прибѣгалъ изъ боязни не устоять.

ной церкви, раскольники и сами оказались въ крайне затруднительномъ положеніи, такъ какъ ихъ церковныя общины остались безъ верховнаго пастыря и не могли получить его никакимъ правильнымъ путемъ. Отсюда для раскола уже сразу приобрѣли крайне серьезное значеніе вопросы о священствѣ и таинствахъ, настойчиво требуя того или иного рѣшенія. Нѣкоторые изъ раскольниковъ пытались рѣшить ихъ, доказывая, что за отступленіемъ іерархіи исчезла и дѣйствующая чрезъ нее благодать, почему не могло быть болѣе ни правильно поставленныхъ поповъ, ни правильно совершаемыхъ таинствъ, и на этомъ основаніи совершенно отрицали, напримѣръ, причащеніе. Аввакумъ однакоже энергично возсталъ противъ такого крайняго рѣшенія. «А кои не причащаются люди,—писалъ онъ—и онѣ дѣлають не гораздо, своимъ умысломъ говорятъ: взята-де благодать. И послѣ антихриста, послѣднєва чорта, благодать-та не покинетъ вѣрныхъ своихъ... Какъ-то такъ дерзко гляголютъ, что не обрящєши святыхъ таинъ. Только то и людей святыхъ, что бытто одни мы, а то всѣ погибли; миленькіе батюшки, добро ревность по Бозѣ, да знать ей мѣра». По его мнѣнію, благодать сохранилась въ церкви и таинства остаются дѣйствительными, если только они совершаются людьми, право вѣрующими, и съ соблюденіемъ всѣхъ праведныхъ обрядовъ; поэтому въ никоніанской церкви нѣтъ таинствъ въ настоящемъ ихъ видѣ; ни причащеніе, ни крещеніе, ни другія таинства, совершаемыя никоніанами, не имѣютъ силы: причащая, никоніане «бѣсомъ жрутъ, а не Богови», «крещеніе еретическое нѣсть крещеніе, но оскверненіе», но дѣло здѣсь все-таки не въ исчезновеніи благодати, а въ еретическихъ обрядахъ, мѣшающихъ ей проявиться.

Не такъ опредѣлены были взгляды Аввакума въ вопросѣ о священствѣ. Онъ съ недоумѣніемъ спрашивалъ, правда: «какъ же міру быть безъ поповъ?», доказывалъ, что благодать сохранилась и въ священствѣ, и лишь печалился, что большинство «старопоставленныхъ» до Никона поповъ, услугами которыхъ могли пользоваться раскольники, хотя временно уклонялись въ никоніанство, «а лучше тѣхъ нинѣ и не возможно обрѣсти праваго священства». Тѣмъ не менѣе фактъ отступничества такихъ священниковъ претилъ его прямой натурѣ и онъ разрѣшалъ прибѣгать къ нимъ толь въ крайней нуждѣ: «кромѣ же нужи никакоже отъ нихъ не принимай, понеже слабодѣйствоваша въ догматѣхъ»; въ другихъ же случаяхъ онъ прямо совѣтовалъ сбходиться безъ поповъ, говоря, что «можно иноку, простну и простолюдину искреннымъ таинствомъ причащаться», равно какъ совершать и другія таинства. Такое рѣшеніе было тѣмъ естественнѣе, что поповъ, получившихъ поставленіе послѣ Никона, Аввакумъ не считалъ уже правыми священниками и такимъ образомъ количество послѣднихъ оказывалось весьма ограниченнымъ. Тѣмъ не менѣе ученіе его въ этомъ пунктѣ оставалось не вполне выясненнымъ и опредѣленнымъ, нося нѣсколько дву-

сцены: Аввакумъ совмѣстно съ Лазаремъ проклялъ Ѳедора и подущалъ противъ него тюремную стражу, съ помощью которой загладилъ даже оправдательными сочиненіями Ѳедора и уничтожилъ ихъ. «Что се, Господи, будетъ? — спрашивалъ доведенный до отчаянія Ѳедоръ. — Тамо на Москвѣ клятвы вси власти налагають на мя за старую вѣру и на прочихъ вѣрныхъ, и здѣ у насъ между собою клятвы и свои друзи мене проклинають за несогласіе съ ними въ вѣрѣ же, во многихъ догматѣхъ, болши и никоніанскихъ!»... И послѣ смерти Аввакума эта часть его ученія продолжала вызывать сильные споры между раскольниками, закончившіеся тѣмъ, что она была отвергнута, какъ несогласная съ ученіемъ церкви.

Но не только въ области церковныхъ догматовъ Аввакумъ незамѣтно для самого себя сошелъ съ почвы защищаемой имъ русской старины. Съ теченіемъ времени и нѣкоторыя другія стороны его міровоззрѣнія испытали весьма существенныя видоизмѣненія. Говоря о такихъ измѣненіяхъ, нельзя, правда, точно указать ни времени ихъ возникновенія, ни послѣдовательности, въ какой они появлялись, такъ какъ хронологія сочиненій Аввакума по крайней мѣрѣ, по отношенію къ значительному большинству ихъ, до сихъ поръ не установлена и едва-ли можетъ быть восстановлена при имѣющихся данныхъ. Но если мы не можемъ соблюсти строгой хронологической послѣдовательности въ изображеніи измѣненій взглядовъ Аввакума, то не представляется никакого затрудненія въ опредѣленіи тѣхъ реальныхъ условий, которыя были непосредственной причиной этихъ измѣненій.

Съ того момента, какъ безусловные защитники русской церковной старины потерпѣли рѣшительное пораженіе въ разгорѣвшейся борьбѣ партій, ихъ попытки всецѣло удержаться на почвѣ этой старины и сохранить всю систему прежнихъ взглядовъ встрѣтили серьезныя препятствія въ фактическомъ положеніи, созданномъ для нихъ обстоятельствами. Въ составъ понятія старины входили, между прочимъ, признаніе власти церковной іерархіи въ дѣлахъ вѣры надъ папствою и присвоеніе царю значенія верховнаго охранителя православія, облеченнаго властью для наказанія еретиковъ. Но всѣ главные представители церковной іерархіи, одни раньше, другіе позже, стали на сторону никоніанства, примкнула къ послѣднему и свѣтская власть, а раскольники очутились въ положеніи преслѣдуемой партіи. Всѣ тѣ громы, которые они призывали на своихъ противниковъ, обрушились теперь на ихъ собственные головы: церковные іерархи и свѣтская власть равно возмущались противъ нихъ, равно клеймили ихъ именемъ еретиковъ, сыпали на нихъ увѣщанія и угрозы, пытки и казни. При такомъ оборотѣ дѣла оставленіе въ силѣ прежнихъ убѣжденій по даннымъ вопросамъ создавало безысходное противорѣчіе въ ученіи раскольниковъ, совершенно невыносимое въ практической жизни, и, по мѣрѣ того, какъ суровая дѣйствительность отнимала у нихъ всякую надежду на перемѣну настроенія

дуеть-ли молиться за царя, онъ совѣтовалъ молиться за живого, на обращеніе котораго еще можно питать надежду, но на молитвахъ за умершаго, по крайней мѣрѣ, не настаивалъ, а иногда даже рѣшительно отвергалъ ихъ. Такое ограниченіе авторитета церковной и свѣтской іерархіи въ религиозныхъ вопросахъ неизбежнымъ послѣдствіемъ своимъ имѣло нѣкоторое освобожденіе личнаго разума. Правда, оно не могло быть ни полнымъ, ни даже особенно значительнымъ, такъ какъ въ основаніе всякаго вопроса полагался все-таки принципъ старины, но, по крайней мѣрѣ, въ опредѣленіи этой старины главная роль отводилась уже личной дѣятельности человека. Прежде всякихъ дальнѣйшихъ шаговъ въ этомъ направленіи предстояло закончить устраненіе насильственной опеки надъ совѣстью человека путемъ отрицанія самыхъ средствъ грубаго насилія въ дѣлѣ религиозной пропаганды и мысль Аввакума подъ вліяніемъ испытаній, вынесенныхъ имъ самимъ и его товарищами отъ противниковъ, дѣйствительно обратилась въ эту сторону. Въ его пустозерскихъ произведеніяхъ мѣстами попадаются какъ бы слабые проблески идеи вѣротерпимости, принявшіе, наконецъ, уже довольно законченную форму въ знаменитомъ мѣстѣ «Житія», такъ мало гармонирующемъ съ суровымъ и непримиримымъ фанатизмомъ его автора. «Чудо,—говоритъ онъ здѣсь про никоніанъ—какъ то въ познаніе не хотятъ придти! Огнемъ, да кнутомъ, да висѣлицею хотятъ вѣру утвердить! Которые то апостолы научили такі?—не знаю. Мой Христосъ не приказалъ нашимъ апостоламъ такъ учить, еже бы огнемъ, да кнутомъ, да висѣлицею въ вѣру приводить... Татарской богъ Магметъ написалъ въ своихъ книгахъ сие: непокорящихся нашему преданію и закону повелѣваемъ ихъ главы мечемъ подклонити. А нашъ Христосъ ученикамъ своимъ, никогда такъ не повелѣлъ. И тѣ учителя явны яко шии антихристовы, которые, приводя въ вѣру, губятъ и смерти предають: но вѣрѣ своей и дѣла творять таковы же».

Таковы тѣ стадіи, на которыхъ мы можемъ прослѣдить развитіе религиозной и общественной мысли Аввакума. Последнія изъ нихъ являются при этомъ далеко не столь рѣзко очерченными и опредѣленными, какъ первыя: даже въ тѣхъ самыхъ сочиненіяхъ, изъ которыхъ заимствованы только что приведенныя цитаты, имѣются другія мѣста, стояція въ противорѣчіи съ ними, проводяція старыя взгляды, и особенно трудно въ этомъ смыслѣ дается Аввакуму идея вѣротерпимости, въ концѣ концовъ и усвоенная имъ только въ формѣ отрицанія казней за вѣру. Старыя идеи глубоко укоренились въ умѣ проповѣдника и не легко поддавались трансформации.

Во всякомъ случаѣ въ этихъ колебаніяхъ вождя раскола отразилась и общая судьба того движенія, руководителемъ котораго онъ былъ. Появленіе на почвѣ русской дѣйствительности фактовъ, противорѣчившихъ господ-

мрачной судьбы. Даже Аввакумъ, сначала еще питавшій надежду на скорое освобожденіе, постепенно утрачивалъ ее. Проходили годы, совершались важныя перемѣны въ Московскомъ государствѣ, умеръ царь Алексѣй, вступилъ на престолъ сынъ его Ѳеодоръ, а тяжелое заключеніе все тянулось и не предвидѣлось ему конца. Какъ ни силенъ духомъ и крѣпокъ тѣломъ былъ Аввакумъ, но и его закаленная въ бѣдствіяхъ натура поддалась подъ тяжестью этого испытанія, ставшаго, наконецъ, невыносимымъ при его шестидесятилѣтнемъ возрастѣ. Въ 1681 году онъ написалъ и отправилъ къ царю Ѳеодору посланіе, которое беспорядочностью мыслей и рѣзкою неровностью тона ясно выдавало не совсѣмъ уже нормальное состояніе узника. Начиналось это посланіе крайне смиренно. «Благого и преблагого и всеблагаго Бога нашего благодатному устроенію, блаженному и треблаженному и всеблаженному государю нашему свѣту, свѣтилу русскому, царю и в. кн. Ѳеодору Алексѣвичу, не смѣю нарециса богомолецъ твой, но яко нѣкій извергъ и непричастенъ ногамъ твоимъ, издадече вопію, яко мытарь: милостивъ буди ми, господи!.. Помилуй мя страннаго, устранишагося грѣхми Бога и человекъ,—помилуй мя, Алексѣвичъ, дитатко красное церковное! Тобою хочеть весь міръ просвѣтитися, о тебѣ люди Божія расточенныя радуются, яко Богъ намъ далъ державу крѣпкую и незыблему. Отради ми, отрасль царская, отради ми и не погуби мене со беззаконни моими!.. Зане ты еси царь мой и азъ рабъ твой; ты помазанъ елеомъ радости, а азъ обложенъ узами желѣзными; ты, государь, царствуешь, а азъ во юдоли плачевной плачуся». Но не за себя только просилъ Аввакумъ и, моля о милости и освобожденіи, не отказывался онъ отъ подвига всей своей жизни. «Аще не ты но Господѣ Бозѣ,—продолжалъ онъ—кто намъ поможетъ? Столпи поколебашася навѣтомъ сатаны, патриарси изнемогоша, свѣтителіе падоша и все священство еле живо, Богъ вѣсть, али и умроша... Спаси, спаси ихъ, Господи, ими же вѣси судьбами!» И непосредственно за этими смиренными мольбами прорывалась дикая вспышка фанатическаго изувѣрства и накопившагося за долгіе годы безсильнаго раздраженія: «А что, царь-государь, какъ бы ты мнѣ далъ волю, я бы ихъ, что Илья пророкъ, всѣхъ перепласталъ въ одинъ день. Не осквернилъ бы рукъ своихъ, но и освятилъ, чаю». Среди дальнѣйшихъ, беспорядочно набросанныхъ фразъ посланія Аввакумъ вспоминалъ и объ Алексѣѣ Михайловичѣ. «Богъ судить—говорилъ онъ—между мною и царемъ Алексѣемъ. Въ мукахъ онъ сидитъ,—слышалъ я отъ Спаса; то ему за свою правду. Иноземцы, что знаютъ, что вѣрно имъ, то и творили. Своего царя Константина, потерявъ безвѣріемъ, предали турку, да и моего Алексѣя въ безуміи поддержали»...

Въ недобрый часъ пришла Аввакуму мысль написать это посланіе. При московскомъ дворѣ мало уже осталось тѣхъ его доброжелателей, которые такъ долго отводили отъ него конечную бѣду, да и тѣ, которые

письма Аввакумовы», заявляли наиболее ревностные из керженских скитниковъ въ самой Москвѣ. Расколъ раздѣлился на двѣ партіи: на строгихъ послѣдователей Аввакума, прозванныхъ «оуфрѣвцами», и на отвергавшихъ православіе нѣкоторыхъ его произведеній, которые получили въ устахъ противоположной партіи имя «кривотолковъ». Уваженіе къ имени и страданіямъ бывшего протопопа было однако такъ велико, что даже эти противники его ученія относились къ нему далеко не съ обычной у нихъ въ подобныхъ случаяхъ страстностью: полемизируя съ ересью Аввакума, они старались не только не задѣвать, но, по мѣрѣ возможности, даже совѣсть выгородить изъ спора его личность, охотно предполагая, вопреки очевидности, что спорныя письма и не принадлежатъ Аввакуму или что онъ отъ нихъ впоследствии отказался. Но даже и такая полемика, сосредоточенная исключительно на самомъ вопросѣ, независимо отъ личности человѣка, его возбудившаго, не достигала своей цѣли: подъ давленіемъ московскихъ раскольниковъ богослововъ Онуфрій и его приверженцы соглашались отвергнуть все, что было въ «письмахъ» несогласнаго съ божественнымъ писаніемъ, но непосредственно вслѣдъ затѣмъ, припертые къ стѣнѣ вопросами о самыхъ письмахъ, они заявляли, что «не тождо единой строки, но ни чертицы несходной нѣтъ въ письмахъ Аввакумовыхъ, но все въ нихъ сходно съ божественнымъ писаніемъ». Потребовалась новая, еще болѣе серьезная, уступка со стороны защитниковъ догматовъ, чтобы склонить противниковъ къ признанію своего мнѣнія. Возникшій раздоръ былъ прекращенъ своего рода компромиссомъ, въ силу котораго Онуфрій и его приверженцы обязывались никогда не читать и не толковать спорныхъ писемъ Аввакума, но послѣднія и не подвергались никакой худѣ или проклятію, а только «отлагались», т. е. изымались изъ обращенія. Только подъ этимъ условіемъ, и то лишь въ 1710 году, возстановленъ былъ миръ внутри раскольниковъ общины. Такъ ревностно охраняли ученики Аввакума его имя отъ всякаго нареканія, такъ бережно вынуждены были относиться къ этому имени даже тѣ изъ раскольниковъ, которые видѣли въ Аввакумѣ человѣка, увлекшагося въ ересь. И въ дальнѣйшихъ поколѣніяхъ раскольниковъ, среди которыхъ уже не могло возникнуть спора по существу поднятаго Аввакумомъ догматическаго вопроса, съ теченіемъ времени, правда, и забывшагося, за протопопомъ оставался зпитеть «многострадалиаго мужа». Еще Денисовъ характеризуетъ его, какъ «мужа огненальнаго ревности, добраго страдальца, пже, ревнуя о благочестіи, всюду свободнымъ языкомъ проповѣдаше».

Не забыли Аввакума и съ другой стороны. Въ 1717 году арестованъ былъ въ Москвѣ, по обвиненію въ тайномъ исповѣданіи раскола, мужикъ Иванъ, оказавшійся на слѣдствіи сыномъ бывшего юрьевоцкаго протопопа. Теченіе многихъ лѣтъ томился онъ съ матерью и братомъ въ тяжкомъ

Дворянскій публицистъ Екатерининской эпохи.

(*Князь М. М. Щербатовъ*).

Вторая половина XVIII вѣка, ознаменованная въ исторіи русскаго государства крайне быстрымъ, но дорогой цѣною купленнымъ внѣшнимъ ростомъ, наполненная побѣднымъ громомъ оружія Екатерининскихъ войскъ и горькими стонами окончательно закрѣпощеннаго народа, была вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно важною эпохой въ умственной жизни русскаго общества. Вѣкомъ ранѣе это общество пережило въ формѣ церковнаго раскола тяжелый культурный кризисъ, подорвавшій и обезсилившій тѣ традиціонныя понятія и представленія, какими жило оно въ рамкахъ стараго московскаго государства. Съ культурнымъ кризисомъ соединялся тогда, а въ значительной мѣрѣ и вызывалъ его, кризисъ иного рода, самъ по себѣ имѣвшій болѣе узкое значеніе. Правительственная система Москвы, долгое время путемъ довольно примитивныхъ средствъ болѣе или менѣе успѣшно справлявшаяся съ потребностями національной самообороны страны, напрягая для этой цѣли всѣ силы народа, по мѣрѣ того, какъ съ ростомъ государства усложнялись названныя потребности, становилась все менѣе способной удовлетворить имъ и къ концу XVII столѣтія, какъ разъ въ то время, когда онѣ приняли особенно острый характеръ, совершенно исчерпала свои ресурсы, благодаря чему создавалась необходимость для обновленія ихъ обратиться къ помощи выращеннаго на Западѣ знанія. Московское государство и московское общество почти одновременно такимъ образомъ выступили на новую дорогу, но пошли они по ней не съ одинаковой быстротой. Болѣе настоятельныя потребности были удовлетворены первыми, и призванная въ Россію западно-европейская наука явилась здѣсь на первыхъ порахъ не самостоятельной, а лишь служебной силой, сдѣлавшись простымъ орудіемъ въ рукахъ Петровскаго правительства. Усваиваемая почти исключительно съ прикладной своей стороны, она повела не къ оцѣнкѣ основныхъ принциповъ государственнаго и общественнаго строя съ новыхъ точекъ зрѣнія, а только къ укрѣпленію существовавшей правительственной системы новыми средствами. Съ ея помощью была перестроена и

зоваться этимъ результатомъ пришлось однако не всѣмъ общественнымъ классамъ. Лишь одинъ изъ нихъ, и именно высшій, обладалъ необходимыми для этого условіями, силою и собственною средѣю и возможностью вліять на правительство, и онъ-то и извлекъ всѣ выгоды изъ даннаго положенія дѣлъ. Не особенно отзывчивые на идейныя побужденія, дворяне второй четверти XVIII вѣка оказались какъ нельзя болѣе чуткими къ своимъ матеріальнымъ интересамъ и, пользуясь открывшеюся передъ ними возможностью давленія на правительственную политику, постарались не только сбросить съ себя и переложить на другіе классы всѣ тяжелыя повинности передъ государствомъ, но и эксплуатировать исключительно въ свою пользу и закрѣпить на почвѣ закона ту крестьянскую неволю, какая создана была практикой жизни въ предшествовавшемъ періодѣ. Подъ этимъ давленіемъ послѣдовавшія за Петромъ правительства, одной рукою уничтожая условный характеръ дворянскаго землевладѣнія и снимая съ личности дворянина повинность обязательной службѣ, другою рукою обрывали нити, связывавшія еще владѣльческаго крестьянина съ государствомъ, и крѣпче затягивали и безъ того уже тѣсныя узы крѣпостничества, соединявшія этого крестьянина съ его помѣщикомъ. Въ началѣ второй половины столѣтія этотъ двойной процессъ представлялся уже почти законченнымъ и русское общество, въ сферѣ своихъ отношеній къ государству, получило совершенно новый видъ: на верху этого общества стоялъ теперь дворянинъ, переставшій быть служилымъ человѣкомъ, но сохранившій и усилившій свои имущественныя права и получившій въ свое исключительное обладаніе и распоряженіе крѣпостной трудъ, внизу—безправный крестьянинъ, несшій на своихъ плечахъ всю тяжесть личной и финансовой службы государству и отторженный отъ него высокою и крѣпкою стѣною помѣщичьей власти. Дворянское общество этой поры не только получило уже такимъ образомъ извѣстный вкусъ къ образованію и обладало необходимымъ для него досугомъ и матеріальными средствами, но и стояло передъ фактами собственной жизни, созданными, правда, при его же дѣятельномъ участіи, но тѣмъ не менѣе лишь весьма плохо укладывавшимися въ рамки стараго его міросозерцанія. Естественнo было ему обратиться въ своихъ попыткахъ такъ или иначе осмыслить эти факты и сдѣлать изъ нихъ дальнѣйшіе выводы къ помощи европейской науки, съ которой оно успѣло уже нѣсколько познакомиться. Несомнѣнно, этотъ мотивъ занималъ видное мѣсто въ ряду причинъ, породившихъ столь сильное увлеченіе философскими ученіями и общественными теоріями Запада въ русской общественной средѣ той эпохи, когда на русскомъ тронѣ сидѣла ученица Вольтера, какъ любила называть себя Екатерина II. Западная наука опять призывалась въ Россію, но въ основѣ новаго обращенія къ ней лежали на этотъ разъ не текущія нужды государства, а потребности общества, искав

эпизодовъ, имѣющихъ отношеніе къ свободѣ выборовъ въ Екатерининскую Коммиссію, и мы позволимъ себѣ здѣсь напомнить его общія очертанія. Нѣжинское шляхетство, избравъ депутата, составило для него наказъ, нѣкоторые пункты котораго не понравились управлявшему тогда Малороссіей въ качествѣ генераль-губернатора Румянцеву. Подъ влияніемъ его настояній избранный депутатъ потребовалъ отъ собранія шляхетства передѣлки наказа въ другомъ духѣ и, не получивъ согласія на нее, отказался отъ депутатскаго званія. На его мѣсто было избрано другое лицо, но Румянцевъ кассировалъ новые выборы, какъ незаконные, а, когда шляхтичи вздумали было отстаивать свое право на избраніе согласнаго съ ними депутата, Сенатъ нарядилъ надъ ними судъ, причемъ тѣ изъ нихъ, которые состояли на службѣ въ козацкомъ войскѣ, были преданы военному суду и судились по правиламъ Военскаго Устава за нарушеніе дисциплины. Военный судъ изъ 36 человѣкъ, привлеченныхъ къ нему, 33 подсудимыхъ приговорилъ къ смертной казни; судъ гражданскій для 18 лицъ, въ немъ судившихся, назначилъ наказаніемъ вѣчную ссылку. Правда, Сенатъ замѣнилъ эти приговоры шестинедѣльнымъ тюремнымъ заключеніемъ и лишеніемъ подсудимыхъ всѣхъ чиновъ и должностей. Попытки шляхтичей добиться новаго пересмотра дѣла остались совершенно безрезультатными и лишь въ 1770 г., когда они сами, наконецъ, сознали тщету этихъ попытокъ и обратились къ императрицѣ съ прошеніемъ, въ которомъ, «не принося никакого оправданія», молили о прощеніи имъ дерзновеннаго поступка, Екатерина написала на ихъ просьбѣ: «Богъ проститъ» и имъ въ силу этой резолюціи были возвращены прежніе чины и должности. Такія формы принимала порою одна сторона подготовленія Коммиссіи. Приведемъ еще фактъ, касающійся другой ея стороны. Не такъ давно въ одномъ изъ томовъ «Сборника Русскаго Историческаго Общества», было опубликовано сорокъ наказовъ отъ городовъ Московской губерніи¹⁾. При сколько-нибудь внимательномъ чтеніи этихъ наказовъ рѣзко бросается въ глаза то обстоятельство, что многіе изъ нихъ поразительно схожи другъ съ другомъ, и, наконецъ, приходится убѣдиться, что въ основѣ ихъ всѣхъ лежитъ весьма небольшое число редакцій, лишь очень немного видоизмѣнявшихся въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Самъ по себѣ такой фактъ могъ бы еще, пожалуй, быть объясняемъ различнымъ образомъ, но довольно трудно предположить, однако, чтобы Екатерининская Коммиссія вызвала среди городского населенія столь усердную пропаганду, доходившую до распространенія однихъ и тѣхъ же наказовъ, и едва-ли не приходится склониться къ болѣе простому объясненію. Итакъ, избиратели, предаваемые военному суду за неповиновеніе указаніямъ правительственныхъ агентовъ

¹⁾ Сборникъ Имп. Р. Ист. Общества, т. 93, СПб. 1894.

могутъ сіи сѣмена желаему жатву принести». Такая скромность со стороны писателя, вынужденнаго искать себѣ читателей не въ современности, а въ будущихъ вѣкахъ, въ свою очередь полагала не особенно широкіе предѣлы его вліянію, которое было наиболѣе сильно въ непосредственно примыкавшемъ къ нему кружкѣ лицъ, пользовавшихся довѣренностью его самого и его «фамиліи», и быстро падало по мѣрѣ удаленія отъ этой интимной среды. Наиболѣе глубокія и серьезныя идеи имѣли при такихъ условіяхъ лишь весьма ограниченную сферу распространенія, и это было вполне естественно. Слѣдя за этой печатной и рукописной публицистической литературой, мы присутствуемъ при первыхъ шагахъ русской общественной мысли, которые по необходимости должны были быть неувѣренны и робки. Но въ нихъ заключался уже и залогъ дальнѣйшаго развитія: слабое на почвѣ практической жизни, считавшее за собою далеко не значительное число искреннихъ приверженцевъ, движеніе это было сильно въ своей идейной сторонѣ, сильно смѣлостью, съ какой оно поднимало наиболѣе важныя и наиболѣе важные вопросы современной ему дѣйствительности, широтой мысли, сказывавшейся въ попыткахъ ихъ рѣшенія, наконецъ, связью, какую оно устанавливало между русскою общественною средою и лучшими умственными теченіями Запада. Даже теперь, оглядываясь на него черезъ столѣтній промежутокъ времени, нельзя сказать, чтобы живыя нити, связывающія это прошлое съ нашимъ настоящимъ, были совершенно порваны: въ этой, покрытой сѣдымъ мохомъ, старинѣ звучать порою мотивы, близко знакомые намъ въ современности, надъ ними пожелтѣвшими отъ времени страницами этихъ старыхъ книгъ можетъ задуматься и нынѣшній читатель; наоборотъ, въ окружающей насъ дѣйствительности перѣдко встрѣчаются явленія, мѣсто которымъ въ этой далекой старинѣ и которыя могутъ быть понятны только какъ обломки нѣкогда цѣльнаго и живого міросозерцанія, пережившіи свою пору и сохранившійся къ качеству археологическаго курьеза.

Движеніе, о которомъ идетъ у насъ рѣчь, при всей общности почвы, на какой оно выросло, и исходныхъ точекъ, служившихъ ему пунктами отправленія, не сохранило однако полнаго единства, но распалося на нѣсколько различныхъ и порою прямо противоположныхъ теченій, представленныя отдѣльными группами писателей и сторонниковъ ихъ мнѣній. Одна изъ этихъ группъ на первый планъ выдвинула вопросы религіи и личной нравственности и уже на ихъ почву переносила и рѣшеніе общественныхъ вопросовъ. Другія, напротивъ, именно эти послѣдніе положили краеугольнымъ камнемъ своихъ теорій, но далеко разошлись при этомъ между собою въ ихъ оцѣнкѣ. Одни, отираясь отъ существовавшаго въ жизни отношенія между различными общественными классами, стремились подыскать для него теоретическія обоснованія въ видѣ общихъ началъ и

ной знати, къ какой принадлежалъ самъ; дослужившись до генераль-майорскаго чина, онъ умеръ губернаторомъ въ Архангельскѣ. Отъ брака его на княжнѣ Солнцевой-Засѣкиной и родился 22 іюня 1733 г. Мих. Мих. Щербатовъ, будущій историкъ и публицистъ. Первое воспитаніе и образованіе онъ получилъ въ родительскомъ домѣ и уже очень рано началъ обязательную въ то время для всякаго дворянина службу, вступивъ именно въ 1746 г. въ гвардейскій Семеновскій полкъ; съ большою вѣроятностію можно предполагать, что на первыхъ порахъ эта служба по установившемуся тогда среди дворянства и терпѣвшемуся правительствомъ обычаю была фиктивною. Въ 1761 г. онъ былъ произведенъ въ первый офицерскій чинъ, а въ слѣдующемъ году воспользовался манифестомъ о вольности дворянства и вышелъ въ отставку съ чиномъ капитана, за три мѣсяца до произведеннаго Екатериною переворота. Когда новая императрица созвала Комиссію для составленія проекта новаго уложенія, кн. Щербатовъ принялъ дѣятельное участіе въ составленіи наказа депутату отъ дворянъ московскаго уѣзда, самъ былъ избранъ въ депутаты ярославскимъ дворянствомъ и за время дѣйствій Комиссіи заявилъ себя однимъ изъ наиболѣе энергичныхъ ея участниковъ и ораторовъ. Около этого же времени онъ вновь вступилъ на службу: въ 1767 г. онъ былъ пожалованъ въ камеръ-юнкеры, въ слѣдующемъ году назначенъ присутствовать въ комиссіи о коммерціи, а затѣмъ послѣдовательно занималъ должности герольдмейстера, президента камеръ-коллегии и сенатора. Не смотря на то, что его личная служба вся прошла такимъ образомъ въ центрѣ государства, ему приходилось имѣть близкія служебныя отношенія и къ провинціальной администраціи; такъ, въ 1784 г. онъ былъ посланъ изслѣдовать злоупотребленія тогда уже покойнаго гр. Р. Лар. Воронцова по управленію Владимірскимъ намѣстничествомъ и открылъ массу взятокъ и другихъ изъязновъ въ этомъ управленіи. Служба на этихъ, довольно все же видныхъ мѣстахъ, не мѣшала Щербатову испытывать бѣду, аналогичную съ тою, отъ какой страдала масса тогдашняго дворянства. Родъ Щербатовыхъ въ предшествовавшій періодъ не собралъ особенно значительныхъ богатствъ, хотя и не принадлежалъ къ очень бѣднымъ; во всякомъ случаѣ, М. М. Щербатовъ, имѣя большую семью и считая нужнымъ вести жизнь, «совмѣстную съ своимъ состояніемъ», не могъ удовлетвориться ни доходомъ съ наслѣдственныхъ деревень, ни получаемымъ на службѣ жалованьемъ и вошелъ въ большіе долги. Средство, употребленное имъ, чтобы избыть эту бѣду, опять принадлежало къ числу обычныхъ въ томъ періодѣ. Въ 1773 г. онъ обратился съ любопытнымъ письмомъ къ «монархинѣ, соединяющей качества великаго государя съ качествами великаго философа». Сообщая Екатеринѣ, что онъ нажилъ болѣе 40.000 р. долгу, онъ сознавался, что могъ бы уплатить его, «сократя себя и дѣтей своихъ», и прибавлялъ, что, «зная состояніе человѣческое и не

роны, «нѣтъ ничего легче, какъ молчать», но только въ этомъ молчаніи онъ видѣлъ «слабость, лѣсть, неучастіе о пользѣ ближняго и подлое подбострастіе»; «а понеже, заключалъ онъ, нѣсть человека, который бы не подвергнуть пороку былъ, то я и почитаю за лучшее остаться при моемъ пороѣ, нежели забыть отечество, не быть чувствительному къ тягостямъ ближняго, лгать изъ лести и подло рабобѣнствовать»¹⁾. Такое ясное сознаніе необходимости и законности свободной, хотя бы и страстной, рѣчи, не помѣшало, какъ мы уже упоминали, рѣчи кн. Щербатова остаться по меньшей мѣрѣ не безразличнымъ громкой. Его публицистическія произведенія не выходили въ свѣтъ при жизни автора и были извѣстны лишь небольшому кружку его ближайшихъ знакомыхъ и пріятелей; въ печати же они стали появляться лишь съ пятидесятихъ годовъ XIX столѣтія²⁾.

Итакъ, знатное происхожденіе, черезъ московскихъ окольных восходящее къ удѣльному княжескому роду, тѣсная связь съ служилымъ и помѣстнымъ дворянствомъ XVIII вѣка, близкое знакомство съ ходомъ правительственнаго механизма Россіи и съ просвѣтительною литературою Запада—вотъ, стало быть, наиболѣе общіе и крупныя факты жизни писателя. Разсмотрѣніе его сочиненій должно показать намъ, каковы были взаимныя отношенія этихъ фактовъ и какое вліяніе каждый изъ нихъ оказалъ на его душевный складъ, на характеръ его взглядовъ и убѣжденій. Далеко не разсчитывая при этомъ разсмотрѣніи исчерпать весь обильный матеріалъ, представляемый произведеніями Щербатова, мы остановимся только на тѣхъ наиболѣе существенныхъ чертахъ ихъ, въ которыхъ съ особенною ясностью выражаются общія основы его міросозерцанія, опредѣлившія собою и характеръ его отношенія къ главнѣйшимъ вопросамъ современной ему государственной и общественной жизни Россіи.

Русскіе люди XVIII столѣтія, выйдя изъ душнаго московскаго острога, въ которомъ они вѣка отсиживались отъ наседавшихъ съ разныхъ сторонъ непріятелей, на болѣе широкую арену, вступивъ въ живое общеніе съ иными народами, на первыхъ же порахъ этого общенія должны были испытать крутой переворотъ въ одной изъ самыхъ деликатныхъ сферъ жизни, именно, въ области религіознаго чувства. Та формальная религія обряда, въ которую окончательно выродилось православіе въ Москвѣ XVI—XVII вв. религіи, при дѣятельной помощи свѣтской власти распространявшая свое владычество на все проявленія частной и общественной жизни и наложив-

¹⁾ «Оправданіе моихъ мыслей и часто съ излишнею смѣлостью изглаго-
ланныхъ словъ». Сочиненія кн. М. М. Щербатова, т. II, 247—8.

²⁾ Въ настоящее время эти произведенія собраны въ первыхъ двухъ томахъ
собранія «Сочиненій кн. М. М. Щербатова» (т. I, СПб. 1896; т. II, СПб. 1898),
предпринятаго однимъ изъ его потомковъ.

руганіе» ¹⁾. Вѣсѣ съ тѣмъ онъ отстаивалъ самостоятельное значеніе религіозной морали, доказывая, что и государственные законы «должны быть сходны съ божественными узаконеніями» ²⁾. Что касается самаго содержанія религіи, то оно представлялось ему чистымъ деизмомъ, опирающимся исключительно на нравственную природу человѣка, подтверждаемымъ только соверщеніемъ вѣшняго міра и не связаннымъ ни съ какимъ положительнымъ догматическимъ ученіемъ и ни съ какою обрядовой формой. Въ такомъ видѣ, по крайней мѣрѣ, представлялъ онъ религію въ идеальномъ государствѣ—землѣ Офирской, изображенной въ его сочиненіи подъ этимъ заглавіемъ ³⁾. Здѣсь же выраженъ взглядъ писателя на атеистическія ученія: въ его воображаемомъ государствѣ атеисты «наказуются, яко безумные; ибо кто не чувствуетъ естества Божія по видимымъ ему тварямъ, тотъ иначе, какъ безумнымъ, не счесться не можетъ»; атеистъ поэтому лишается всякихъ должностей и отдается подъ опеку, а если онъ начинаетъ проповѣдывать свое ученіе, то подвергается домашнему заключенію, «дондеже исправится и принесетъ публичное поканіе въ безуміи своемъ» ⁴⁾. На этомъ пунктѣ русскій вольнодумецъ довольно близко сошелся такимъ образомъ съ знаменитымъ женеvскимъ философомъ, тоже не нашедшимъ для атеистовъ мѣста въ своемъ идеальномъ обществѣ. Протестуя противъ исключительнаго господства разума и чрезмѣрнаго простора для «духа новой философіи» въ дѣлахъ религіи, Щербатовъ, однако, аргументировалъ этотъ протестъ не только «правилами вѣры», но и началами «здравой политики». Всего охотнѣе и всего чаще онъ въ своихъ разсужденіяхъ о религіи становился на точку зрѣнія Монтескье, разсматривая ее не столько какъ самостоятельную силу, сколько какъ орудіе, которымъ можетъ пользоваться государство или которое можетъ быть обращено противъ послѣдняго. Не допуская, какъ мы видѣли, полной свободы совѣсти, онъ самую идею вѣротерпимости и возможные предѣлы ея практическаго приложенія разсматривалъ по преимуществу со стороны того вреда или пользы, какіе могутъ получаться отъ нея для государства ⁵⁾, и въ его предположеніяхъ, какъ мы еще увидимъ, эти предѣлы были гораздо уже тѣхъ, какіе рекомендовались Монтескье. Наши церковные историки склонны объяснять это отношеніе Щербатова и нѣкоторыхъ другихъ писателей его времени къ религіи исключительно вліяніемъ европейской литературы ⁶⁾. Едва-ли одна-

¹⁾ «О поврежденіи нравовъ», Сочиненія, II, 165.

²⁾ «Размышленія о законодательствѣ вообще». Сочиненія, I, 372.

³⁾ «Путешествіе въ землю Офирскую». Соч., I, 799—839.

⁴⁾ Тамже, 811—2.

⁵⁾ «Статистика въ разсужденіи Россіи». Соч., I, 559.

⁶⁾ П. Знаменскій. Историческіе труды Щербатова и Болтина въ отношеніи къ русской церковной исторіи, Труды Кіевской Духовной Академіи, 1862,

лей, сколь блистательныхъ качествъ и проницательства, каковы были: Периклесь, Цесарь и Кромвель». ¹⁾ Въ этомъ нѣсколько наивномъ подмѣнѣ высшей доблести, усматриваемой французскимъ теоретикомъ въ демократіи, «проницательствомъ» и умѣренности аристократіи—добродѣтелю, подмѣнѣ, сопровождаемомъ не менѣе наивными доказательствами въ видѣ приведенныхъ историческихъ примѣровъ, одновременно, кажется, сказались и инстинктивные симпатіи и антипатіи родословнаго русскаго публициста, и нѣкоторая неподготовленность его къ пониманію сложной аргументаціи и глубокой мысли западнаго политика. Изящныя и мѣткія опредѣленія послѣдняго подъ перомъ его русскаго послѣдователя и перелагателя перерождались поэтому порою въ поспѣшныя и довольно топорныя обобщенія.

Нѣчто подобное имѣло мѣсто и въ пониманіи Щербатовымъ другого, болѣе крупнаго, вопроса въ теоріи Монтескье. Щербатовъ указываетъ, что въ дѣйствительности три главные характеризованные имъ типы правленія существовали и существуютъ не въ чистомъ видѣ, но въ смѣшанныхъ формахъ. Такъ было въ древней исторіи, то же явленіе повторяется и въ новое время. Такъ, во Франціи «нынѣ токмо нѣкоторыя изъ ея провинцій сохранили право собранія чиновъ, прочее же управляется парламентами, гдѣ присутствіе перовъ, судей и стряпчихъ,—послѣднихъ большая часть изъ мѣщанъ,—купно монархическое, вельможное и народное правленіе представляетъ. Но нигдѣ толь не цвѣтетъ народная вольность подъ тѣнью монархическія власти, какъ въ Англіи: тамъ высшую власть, ограниченную законами, имѣетъ король; верхняя камора парламента вельможную власть представляетъ; а нижняя камора, единая могущая накладывать налоги, представляетъ власть народную; и всѣ сіи три власти въ безпрестанныхъ преніяхъ между собою по раздѣльнымъ ихъ приватнымъ пользамъ, связаны непререборимыми узами, равными стопами къ благу общему шествуютъ» ²⁾. Ниже мы будемъ имѣть случай убѣдиться, что того, какъ бы сочувственнаго, отношенія къ англійскому устройству, которое сквозить въ приведенномъ мѣстѣ, Щербатовъ на самомъ дѣлѣ не выдерживаетъ до конца. Пока же остановимся только на его пониманіи теоріи раздѣленія властей, довольно точно формулированной имъ въ словахъ этого отрывка, касающихся Англіи. Онъ говоритъ объ этой теоріи и въ другихъ мѣстахъ своихъ произведеній, пользуясь ею и въ болѣе чистомъ ея видѣ, классифицируя въ отдѣльныхъ случаяхъ государства на основаніи представляемыхъ ею признаковъ и опредѣляя такія страны, въ которыхъ законодательная

¹⁾ Тамже, 386 — 7; ср. «Разныя разсужденія о правленіи»: «въ монархіи люди честолюбивы, въ аристократіи горды и тверды, въ демократіи смутнолюбивы и увертчивы, въ самовластномъ же правленіи подлы и низки», тамже, 346.

²⁾ «Размышленія о законодательствѣ», тамже, 385—6.

изъ нихъ выписки; чтобы и бѣдные люди могли участвовать въ законодательствѣ, эти «мнѣнія» освобождаются на почтѣ отъ платежа за пересылку. Тѣмъ временемъ второй департаментъ составляетъ подробный планъ первой главы и, не обнародывая его, отдаетъ въ другіе департаменты, а первый изготовляетъ согласно этому плану выписки изъ своего матеріала къ отдѣльнымъ статьямъ. По изготовленіи этихъ выписокъ и собраніи мнѣній гражданъ по поводу плана, второй департаментъ сочиняетъ первую, а затѣмъ такимъ же порядкомъ и другія главы и постепенно обнародываетъ ихъ съ указаніемъ мотивовъ каждой статьи и съ назначеніемъ срока для представленія мнѣній. Эти мнѣнія и проектъ второго департамента вносятся затѣмъ въ четвертый, который изготовляетъ окончательный проектъ и передаетъ его, вмѣстѣ съ проектомъ второго департамента, на разсмотрѣніе «вышнѣго правительства», рѣшающаго законодательный вопросъ въ послѣдней инстанціи ¹⁾. При всей неприкрытости мотивовъ отвращенія Щербатова къ законодательнымъ собраніямъ представляется мало вѣроятнымъ, чтобы онъ вполне ясно оцѣнивалъ смыслъ этой замѣны политической организаціи неуклюжей бюрократической машиной, имъ проектированной. Съ гораздо большимъ вѣроятіемъ можно, кажется, допустить что онъ не давалъ себѣ точнаго отчета въ томъ, въ чьи руки попадетъ ей приводный ремень, и что въ его утвержденіяхъ, будто «каждому ощутительно, что такое учрежденіе для составленія законовъ есть наилучшее», и «каждый гражданинъ возлюбитъ такое законодательство, яко труды рукъ своихъ, и не только блаженствомъ, которое мнитъ отъ него себѣ получить, и опасностію за преступленіе наказанъ быть, но и яко отчасти къ дѣляію своему прилѣпится и будетъ точно наблюдатель онаго», — что въ этихъ утвержденіяхъ заключалась не малая доля наивнаго и искренняго самодовольства. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что этотъ основной пунктъ теоріи Монтескье не занялъ въ воззрѣніяхъ русскаго публициста того мѣста, на какое онъ имѣлъ всѣ права, и остался не вполне понятнымъ и плохо разработаннымъ. Причины такого факта приходится едва-ли не въ равной мѣрѣ искать въ условіяхъ соціальной обстановки писателя и въ его идейной подготовкѣ. Матеріалъ, представляемый русской государственной жизнью той эпохи, былъ слишкомъ простъ въ сравненіи съ тѣми сложными построеніями политической мысли, какія встрѣчались теоретикъ этой жизни въ западной литературѣ, и это обстоятельство должно было служить немаловажнымъ препятствіемъ для него въ дѣлѣ усвоенія и оцѣнки данныхъ построеній. Тѣмъ серьезнѣе становилось это препятствіе при условіи подчиненія писателя исключительнымъ интересамъ узкой общественной среды, хотя бы такое подчиненіе было не всегда вполне созна-

¹⁾ «Размышленія о законодательствѣ». Соч., I, 366—7, 360—2, 367—370.

нужды удовлетворяетъ»; наоборотъ, роскошно живущій купецъ вынимаетъ деньги изъ торговли и тѣмъ сокращаетъ ее ¹⁾).

Итакъ дворянство въ силу всѣхъ указанныхъ соображеній должно занимать первое мѣсто въ государствѣ, совершенно отличающее его отъ другихъ сословій. Точное опредѣленіе этого мѣста, по мнѣнію Щербатова, могло быть сдѣлано лишь «съ глубочайшимъ познаніемъ градомудрія и закономудрія». Имѣвшіеся на лицо образцы положенія сословія въ различныхъ европейскихъ странахъ мало удовлетворяли его, и причины такой неудовлетворенности въ свою очередь не лишены интереса. Въ Польшѣ русскій публицистъ находилъ неумѣренные преимущества дворянъ, которыя «ослабили самые законы, въ ничто привели власть королевскую, утѣснили низкій народъ подъ жестокомъ игомъ тѣхъ, кои бы должны были его защитники, и, наконецъ, въ самую слабость и безсиліе отечество привели». Въ Германіи установлено такое различіе «въ степеняхъ самаго благородства», что въ результатѣ знатное дворянство, «если не физическимъ, то моральнымъ образомъ» притѣсняетъ не только низшіе слои народа, но и простыхъ дворянъ. Венеціанскіе нобили «суть въ самомъ дѣлѣ невольники по строгости законовъ внутри ихъ града, и тираны—въ покоренныхъ имъ областяхъ, какъ того дворянства, такъ и простого народа». Въ Англіи, гдѣ «состояніе благородныхъ толь смѣшано съ другими состояніями, что почти нечувствительная черта ихъ раздѣляетъ», еслибы не мудрые законы, устанавливающіе раздѣленіе властей, «то бы легко могло воспослѣдовать, чтобы огорчительные ихъ споры въ парламентѣ токами крови упились». «Но однако и при всѣхъ сихъ мудрыхъ узаконеніяхъ не зримъ мы въ Англійскомъ народѣ сего безпристрастія, некорыстолюбія и благородства, которыя отличаютъ тѣ народы, кои умѣренно возвысили свое дворянство; но члены ихъ парламента по большей части подкуплены, избраніе не достойныхъ, но по страстямъ дѣлается; вожди ихъ не толь славы и благополучія государству ищутъ, какъ прибытку, народъ общо отягощенъ толико податями, что почти самый воздухъ покупать долженъ». Наконецъ, въ Нидерландахъ «мѣщанство надъ благородными преимущество имѣетъ» и внутренніе раздоры, возмущенія, потеря части государственной территоріи «и стыдное покорство чужимъ державамъ суть плоды порочнаго ихъ установленія и необузданія народной власти» ¹⁾). Врядъ-ли случайно въ этомъ перечнѣ оказывается пропущенной Франція. Если припомнить, что для «умѣреннаго возвышенія» дворянства авторъ считалъ нужнымъ открыть исключительно ему одному доступъ къ высшимъ мѣстамъ въ

¹⁾ Тамже, 230—54.

²⁾ Тамже, 254—6.

II

Поводы, которые вызывали публицистическую дѣятельность Щербатова, побуждая его къ критикѣ тѣхъ или иныхъ сторонъ жизни, были почти такъ же разнообразны, какъ и самыя темы его произведеній. Иногда онъ находилъ такой поводъ въ своихъ служебныхъ обязанностяхъ и въ такомъ случаѣ его соображенія принимали характеръ проекта, представлявшагося авторомъ непосредственно императрицѣ и носившаго характеръ скорѣе докладной записки, нежели публицистическаго трактата; иногда подобныя проекты подавались имъ и внѣ его прямой служебной сферы, на что онъ одно время, по крайней мѣрѣ, имѣлъ, повидимому, и разрѣшеніе отъ Екатерины ¹⁾; таковы, напримѣръ, его «Проектъ о народномъ изученіи», касавшійся предмета, наблюденіе за которымъ входило въ кругъ его обязанностей, какъ герольдмейстера, и «Проектъ о причинѣ язвы»; особое мѣсто въ ряду обращенныхъ къ правительству произведеній Щербатова занимаютъ его мнѣнія, предлагавшіяся на разсмотрѣніе комиссіи для составленія новаго уложенія. Въ другихъ, и гораздо болѣе частыхъ, случаяхъ поводомъ къ написанію того или другого сочиненія являлся изданный правительствомъ законодательный актъ, важный по своему значенію и затрогивавшій близкіе публицисту интересы; экстренные случаи, вроде голода, разразившагося въ Россіи въ 1787 г., или неудачнаго начала второй турецкой войны, также побуждали его время отъ времени браться за перо и, обсуждая спеціальныя мѣры по данному случаю, касаться вмѣстѣ съ тѣмъ и, общихъ условій дѣятельности государства и общества. Порою его вниманіе особенно привлекали отдѣльныя стороны этой дѣятельности и онъ бралъ на себя разсмотрѣніе вопроса объ ихъ причинахъ и происхожденіи, причѣмъ публицистическій трактатъ наполовину обращался въ историческое изслѣдованіе; таково хотя бы наиболѣе извѣстное произведеніе его «О поврежденіи правовъ въ Россіи». Но при всемъ разнообразіи поводовъ и темъ произведеній, равно какъ способовъ ихъ обработки, при не особенно даже рѣдкомъ противорѣчіи въ частныхъ положеніяхъ, случаи котораго мы уже видѣли у Щербатова и будемъ еще имѣть возможность наблюдать, основныя его мысли вездѣ остаются однѣми и тѣми же, причѣмъ авторъ упорно и настойчиво возвращается къ нимъ даже отъ такихъ темъ, съ которыми, казалось бы, онѣ имѣютъ очень мало общаго. Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы и будемъ слѣдить только за этими основными мыслями, минуя тѣ частныя поводы, по которымъ онѣ высказыва-

¹⁾ «Проектъ о причинѣ язвы» начинается словами: «бывъ побужденъ любовью къ отечеству и ободренъ повелѣніемъ Вашего Императорскаго Величества, дерзаю нѣкоторыя мнѣнія мои предложить». Соч., I, 721.

священнослужителямъ». Петръ измѣнилъ всѣ эти порядки, но сдѣлать онъ это «тогда, когда народъ еще былъ непросвѣщенъ; и тако, отнимая сусвѣріе у непросвѣщеннаго народа, онъ самую вѣру къ божественному закону отнималъ». Между тѣмъ «духовный чинъ, который его не любилъ за отнятіе своей власти, гремѣлъ въ храмахъ божіихъ его панегириками». Особенно сильно нападалъ Щербатовъ съ этой точки зрѣнія на Теофана Прокоповича, который, по его словамъ, въ своей «Правдѣ воли монаршей» оставилъ «памятникъ лести и подобострастія монашескаго изволенію государскому» ¹⁾. Другой недостатокъ, который констатировалъ Щербатовъ въ русскомъ духовенствѣ, заключался въ маломъ распространеніи среди него знанія. Всѣ эти причины и создали паденіе авторитета православной церкви, дошедшее до того, что раскольники, явные и тайные, «если не треть, то, по крайней мѣрѣ, четвертую долю подлаго народа сочиняютъ». Средства, которыми писатель рассчитывалъ повліять на это положеніе и измѣнить его, вытекали какъ изъ знакомыхъ уже намъ общихъ его взглядовъ на религію, такъ и изъ наблюденій его надъ русскою дѣйствительностью. Раскольники «упрямы и бѣсновѣры въ своей вѣрѣ» и, ведя сильную пропаганду ея, между прочимъ и при помощи своихъ матеріальныхъ средствъ, сами не поддаются никакимъ убѣжденіямъ. Политика Петра, который «многими законами старался ихъ утѣснить», была измѣнена его преемниками, но только потому, что они не проникли надлежащимъ образомъ въ причины поступковъ этого великаго монарха. Въ дѣйствительности, «хотя принужденіе въ вѣрѣ и есть являющееся нѣчто весьма суровое», но въ расколѣ есть и иная сторона. Занятія дѣлами Петровской Тайной Канцеляріи убѣдили автора въ существованіи среди раскольниковъ заговоровъ противъ Петра, оправдывавшихся представленіемъ о немъ, какъ объ антихристѣ или его предшественникѣ, возстаніе противъ котораго есть дѣло богоугодное. Тотъ же взглядъ, по его увѣренію, сохранилъ свою силу въ расколѣ и по отношенію къ преемникамъ Петра на престолѣ и не подвергся серьезнымъ измѣненіямъ вслѣдствіе прекращенія гоненія: «хотя такихъ бѣсновѣрныхъ поступковъ и неосторожныхъ противу монарха и не видно въ нихъ, но вездѣ, гдѣ они могутъ съ нѣкоторою надеждою показывать свою ненависть противу государя и російской церкви, не упускаютъ», доказательствомъ чему служить участіе ихъ въ происходившихъ бунтахъ. Все это дѣлаетъ ихъ «несумнительно опасными для правительства». Прямое гоненіе на расколъ представлялось однако Щербатову нежелательнымъ такъ какъ оно вообще лишь помогаетъ развитію гонимой вѣры, а въ данномъ случаѣ, обращенное на значительную массу народа, могло бы сверхъ того повести къ опаснымъ послѣдствіямъ. «И тако не гоненіемъ и нака-

¹⁾ «О поврежденіи нравовъ», Сочиненія, II, 165, 163.

сія предосудительна». Предосудительность эта заключается въ томъ, что данная религія обязываетъ своихъ послѣдователей къ враждѣ съ христіанами, еще усиливающейся у татаръ воспоминаніемъ о прежнемъ ихъ владычествѣ надъ Россіей, и связываетъ ихъ съ Турціей, которой они всячески и высказывали свою преданность во время ея войны съ русскими. Опасность, грозящая отъ иновѣрія, такимъ образомъ и въ этомъ случаѣ сохраняеть чисто политическій характеръ. Мѣры, принимавшіяся правительствомъ къ ея устраненію, въ глазахъ разбиравшаго ихъ публициста представлялись совершенно недостаточными. Онѣ сводились къ наградамъ за крещеніе, освобожденію переходившихъ въ православіе магометанъ отъ заслуженныхъ ими ранѣе наказаній и къ заведенію духовныхъ училищъ для воспитанія дѣтей магометанъ въ христіанской вѣрѣ, но все это или не достигало предположенной цѣли, или же и не могло достичь ея. Въ лицѣ магометанъ, принявшихъ крещеніе изъ-за награды, церковь пріобрѣтала не вѣрныхъ христіанъ, а «безсовѣстныхъ людей»; поступавшіе такимъ образомъ ради избѣжанія наказанія въ сущности не имѣли никакой религіи и только унижили самую христіанскую вѣру; что же касается школъ, то онѣ «не только не способствовали къ распространенію вѣры, но паче въ ненависть ее приводили, ибо духовный російскій чинъ, подъ чьимъ вѣдѣніемъ сіи школы состояли, толь злоупотребленія чинили, что большая часть оныхъ отроковъ помиралъ, а и другіе исполненные огорченія и неизученные христіанскому закону выходили». Въ своей критикѣ, исходившей изъ признанія неудобствъ примѣси матеріальныхъ мотивовъ къ дѣламъ вѣры, авторъ какъ будто становился на дорогу, ведущую къ провозглашенію принципа вѣротерпимости; въ дѣйствительности однако мысль его работала въ иномъ направленіи и приводила его къ заключеніямъ совсѣмъ другого рода. Въ условіяхъ современной ему дѣйствительности онъ находилъ слишкомъ мало возможности надѣяться на устраненіе непріятныхъ ему сторонъ магометанства исключительно силою убѣжденія, и это заставляло его вызывать на сцену силу въ примомъ смыслѣ этого слова. «Мнѣ весьма трудно является—писалъ онъ—сія народы въ христіанскій законъ привести; ибо если особливаго милосердія на нихъ Божескаго не будетъ, то трудно такому духовному чину, каковъ у насъ есть, дѣлать обращенія, и тако-кажется мнѣ, чтобъ къ духовнымъ увѣщаніямъ не худо нѣкоторые избыточные для обращенныхъ способы приложить». Руководясь этимъ соображеніемъ, онъ предлагалъ, рядомъ съ усиленіемъ религіозной пропаганды путемъ проповѣди на языкахъ инородцевъ и перевода на эти языки церковныхъ книгъ, дать льготы новообращеннымъ въ уплатѣ податей и отбываніи службы и ностойной повинности, наблюдать, чтобы они не испытывали притѣсненій со стороны духовенства, и дозволить имъ занятія нѣкоторыми «прибыльными мастерствами», которыя запретить магометанамъ.

он «увѣщаніями, а больше силою, и склонены» къ принатію христіанства, но это обращеніе было и осталось чисто формальнымъ, да и не могло быть инымъ, такъ какъ проповѣдники не принимали на себя труда изучить ихъ языкъ, перевести на него священныя книги и дѣятельно заняться проповѣдью, «но токмо такъ, какъ въ баню, такъ ихъ ко крещенію водили и, давъ имъ крестъ, который они по грубости своей нѣкіимъ талисманомъ почитаютъ, образъ, который они чтятъ за идола, и запретъ имъ ѣсть мясо по постамъ, чего они не исполняютъ», считаютъ свое дѣло конченнымъ ¹⁾).

Такимъ образомъ отъ идеи вѣротерпимости при примѣненіи ея писателемъ къ условіямъ русской дѣйствительности сохранились лишь довольно жалкіе остатки, и русскаго публициста напрасно было бы упрекать въ чрезмѣрномъ подчиненіи теоріямъ Монтескье. Рекомендуемая имъ программа отношенія государства къ религіи измѣнила свой прежній источникъ и основывалась уже не на церковныхъ, а на государственныхъ интересахъ, но въ существѣ своемъ это была та же старая программа насильственного вмѣшательства власти въ вопросы религіозной совѣсти, какая практиковалась еще въ началѣ столѣтія, и, возстановляя ее, писатель находилъ возможнымъ исключать изъ нея только прямое уголовное преслѣдованіе иновѣрца, тѣмъ рѣшительнѣе возражая противъ всякихъ иныхъ отступленій отъ нея, допущенныхъ въ жизни. И однако нѣкоторый шагъ отъ старыхъ представленій былъ уже сдѣланъ. Система водворенія «единозаконія» правительственною силою въ интересахъ государства легче могла быть подвергнута критикѣ, нежели такая же система, практикуемая непосредственно на пользу церкви, а аргументы, обращенные защитникомъ этой системы противъ старой практики, подрывали его собственные положенія. Признаніе, что «гоненіе за вѣру есть нѣчто весьма суровое», и указаніе на то, что подѣлъ матеріальныхъ побужденій въ дѣло религіозной пропаганды можетъ только унижить и загрязнить самую религію, плохо гармонировали съ проектами лишенія упорствующихъ иновѣрцевъ гражданскихъ правъ и награды новообращенныхъ путемъ облегченія ихъ обязанностей передъ государствомъ, и умы, болѣе энергическіе и послѣдовательные и вмѣстѣ менѣе поддававшіеся вліянію фактическаго склада отношеній, должны были скоро разъединить эти различныя части программы и прямѣе и дальше пойти по пути, только намѣченному Щербатовымъ.

Ту же точку зрѣнія первенства государственныхъ интересовъ, какую мы наблюдали въ отношеніяхъ Щербатова къ терпимымъ въ государствѣ религіямъ, онъ примѣнялъ и къ господствующей церкви и, стоя на этой точкѣ зрѣнія, не только одобрялъ мѣры Петровскаго правительства, кдо-

¹⁾ Тамже, 560—4.

недостатковъ въ Петрѣ, которые однакоже въ его глазахъ находили себѣ въ большинствѣ случаевъ достаточное объясненіе въ правахъ эпохи и обстоятельствахъ личной жизни царя, онъ ставитъ личность послѣдняго очень высоко. Для него Петръ представлялъ, правда, не идеалъ государя, но «великаго монарха», съ которымъ трудно выдержать сравненіе кому бы то ни было другому. Попытка оберъ-прокурора Сената, Неклюдова, высказать въ рѣчи, сказанной по случаю заключенія мира съ Швеціей въ 1790 г., Екатерину II на счетъ Петра вызвала въ немъ негодованіе. «Ни у кого не отъемлю,—не безъ проиші писалъ онъ по этому поводу—а меньше всѣхъ у нашей царствующей государыни, чтобы не могъ кто сравниться разумомъ, величествомъ души и прочее (ибо щедръ Господь въ дарованіяхъ!) съ Петромъ В., но не имѣютъ они такого случая, чтобы сіе показать» ¹⁾. Петръ дѣйствовалъ среди народа непроевѣщеннаго, при такихъ обстоятельствахъ, которые не могутъ уже болѣе выпасть на долю русскихъ государей, и потому его дѣятельность не подлежитъ обычной мѣркѣ. Недостатки, какіе Щербатовъ считалъ возможнымъ указать въ этой дѣятельности, съ принятой имъ точки зрѣнія вызывались обстоятельствами, но не принадлежали самому Петру. Послѣдній пользовался самовластіемъ, но употреблялъ его на благо народа и государства и инымъ путемъ не могъ бы провести реформы среди «загрубѣлаго въ своихъ обычаяхъ и противящагося всякому просвѣщенію» народа. Въ немъ проявлялись однако и стремленія иного рода: его правосудіе было одинаково для всѣхъ, онъ обнаруживалъ любовь къ истинѣ, хотя бы и непріятной лично ему, охотно совѣтовался съ отдѣльными своими сотрудниками и съ сенатомъ, словомъ, «нужда его заставляла быть деспотомъ, но въ сердцѣ онъ имѣлъ расположеніе и, можно сказать, вліянное познаніе взаимственныхъ обязательствъ государя съ подданными» ²⁾.

Такой взглядъ на Петра получаетъ себѣ дополненіе въ изображеніи Щербатовымъ попытки верховниковъ въ 1730 г., въ которой онъ подчеркивалъ ея олигархическую тенденцію. По его словамъ, эти «вельможи предопредѣлили великое намѣреніе, ежели бы самолюбіе и честолюбіе оное не помрачило, т. е. учинить основательные законы государству и власть государеву сенатомъ или парламентомъ ограничить. Но засѣданіе въ сенатѣ токмо нѣсколькимъ родамъ предоставили; такоуженшая излишнюю власть монарха, предавали ее множеству вельможамъ съ огорченіемъ множества знатныхъ родовъ и, вмѣсто одного, толпу государей сочиняли» ³⁾. Но уже при Петрѣ, не смотря на добрыя намѣренія

¹⁾ «Отвѣтъ гражданина на рѣчь, говоренную .. Неклюдовымъ», Соч., II, 129.

²⁾ «Разсмотрѣніе о порокахъ и самовластіи Петра В.», тамже, 49—50.

³⁾ «О поврежденіи нравовъ», тамже, 182.

погибель ихъ согражданъ». Опреѣленные быть исполнителями законовъ, вельможи, по его словамъ, или оставили эту науку законовъ своимъ секретарямъ, или судили произвольно, не обращая вниманія на законы и тѣмъ самымъ похищая монаршую власть и разстраивая правительство. Скорость суда въ его глазахъ не служила мотивомъ къ отступленію отъ законной почвы, такъ какъ такой судъ уже необходимо дѣлался несправедливымъ, а то и пристрастнымъ, какъ онъ и наблюдалъ это на дѣлѣ. Не могла быть мотивомъ къ подобному отступленію и недостаточность существующихъ законовъ для наказанія преступника. «Законы—разъяснялъ публицистъ—для того составлены, что они лиценція не имѣютъ; пристрастія въ нихъ нѣтъ: да судится каждый по законамъ, да отступленіе чловѣка отъ извѣстныхъ ему правилъ накажется, а не потому, что кто внушилъ управляющему вельможѣ о комъ худо, или ему что показалось. Но вы на сіе говорите, что хитрость развратныхъ людей есть такая, что никакіе законы не могутъ предупредить ихъ коварства и злости и часто они, за недостаткомъ законовъ, безъ наказанія остаются. Сего оспорить не можно. Но не лучше ли, еслибы кто винный и избѣжалъ наказанія, нежели когда отъ нашего самохотѣнія, упрежденія или худого воззрѣнія невинный кто претерпитъ и разрушится безопасность гражданская, защищаемая законами? Вы тщаетесь наказать другихъ за проступокъ противу законовъ или за вредный подъ нихъ подборъ, нарушая сами оныя, и, считая ихъ достойными наказанія, сами уже ясно злѣйшими извергами, разрушителями законовъ и злодѣями, достойными жесточайшаго себѣ наказанія, учиняетесь». Не менѣе негодованія обнаруживалъ онъ, говоря о рѣшеніи имущественныхъ дѣлъ, основанномъ не на разборѣ документовъ и доказательствахъ, а на произволѣ судьи, хотя бы такой произволъ исходилъ изъ наилучшихъ намѣреній. Достигнутое подобнымъ путемъ возвращеніе несправедливо захваченнаго имущества не удовлетворяло его даже и въ томъ случаѣ, когда иного пути къ такому возвращенію не оказывалось, и онъ легче соглашался терпѣть частную несправедливость, чѣмъ нарушеніе принципа законности со стороны судей и правителей. «Если—разсуждалъ онъ—и такъ вещи сокрыты или такіа обстоятельства приведены, что похититель останется владѣтелемъ похищеннаго, не лучше ли, чтобы государь или нѣкоторые граждане отъ хитрости такой претерпѣли, нежели бы вашимъ скоропостижнымъ сужденіемъ похитилась власть у государя, разрушились законы и погибла бы безопасность подданныхъ, а вы бы разбойниками учинились»? Нарушеніе того же основного принципа усматривалъ Щербатовъ и въ произвольности наказаній, налагаемыхъ судьями, изъ которыхъ одни ослабляли строгость закона въ пользу явныхъ преступниковъ, а другіе, не винкая въ смягчающія вину обстоятельства дѣла, находили себѣ удовольствіе въ увеличеніи размѣровъ наказанія. И то, и другое представляло въ

даже очень сильныхъ людей, какъ Волинскій и кн. Дм. Голицынъ, осужденныхъ вопреки законамъ, и указывая, что даже порядокъ престолонаслѣдія съ Петра опредѣлялся исключительно волею царствующаго государя, онъ рисовалъ печальную картину послѣдствій той незначительной роли, какая удѣлена была закону въ жизни государства. «Возрѣмъ—писалъ онъ—на самое сочиненіе законовъ и на наложеніе налоговъ: не всѣ ли они въ кабинетѣ государевомъ, по большей части крѣпко охраняемомъ отъ проицаній истины и свѣдѣній о бѣдности народной, сочиняются и располагаются государемъ и ближними его совѣтниками, которые дворъ считаютъ своимъ стечествомъ? Упражнены въ дворскихъ проискахъ, имъ некогда и не хотить ни истины, ни состоянія народнаго познать; мысли, запятая единымъ своимъ любочестіемъ и самолюбіемъ,—не оставляютъ ни времени, ни мѣста на глубокія размышленія, и, увлечены быстротою дѣлъ,—лишь токмо дѣйствуютъ тогда, какъ размышлять надлежало; равно любочестивы, какъ несвѣдущи на дѣла, толико любочестивы, коль горды. А подъ сими-то правителями російскій гражданинъ долженъ влечить тягость жизни своей, не имѣя ни твердыхъ законовъ, ни знающихъ правителей, ни правительствъ, довольною силою снабженныхъ; онъ долженъ ежедневно страшиться цари и вельможъ; жизнь, честь, имѣніе его не болѣе въ безопасности, какъ слабая лодка безъ руля среди сурово волнующагося моря. Нѣсть ни правила, коему бы могъ послѣдовать, ни пристанища, гдѣ бы зрѣлъ свое спасеніе» ¹⁾. Не болѣе удовлетворяла суроваго критика и провинціальная администрація его времени, преобразованная Екатериной: намѣстники, назначенные часто неудачно, по преимуществу изъ военныхъ, мало знакомыхъ съ гражданскими законами и порядками, получили въ свое распоряженіе, по его отзыву, чрезмѣрную власть, тѣмъ болѣе, что имъ было предоставлено участіе въ рѣшеніи уголовныхъ дѣлъ, а незаконныя и хищническія ихъ дѣйствія находили себѣ постоянное послабленіе и оставались безнаказанными ²⁾. Сверхъ того, въ практикѣ законодательства, суда и администраціи тогдашней Россіи критикъ подмѣчалъ еще одну общую и неимпатичную ему черту, вредно отразившуюся, по его мнѣнію, на положеніи не только народа, но и самого правительства: «Россія не яко другія страны, гдѣ правительство тѣшитъ обнаружить свои операціи передъ народомъ, но о самыхъ вещахъ, касающихся непосредственно до народа, въ совершенной тайнѣ сіе содержитъ. Что я говорю о народѣ? Самыя таковыя дѣла главному правительству неизвѣстны, а знаетъ токмо ихъ тотъ, кому они препоручены» ³⁾.

¹⁾ Тамже, 251.

²⁾ Тамже, 256, 258; ср. «О поврежденіи нравовъ», тамже, 237.

³⁾ «Состояніе Россіи въ разсужденіи денегъ и хлѣба въ началѣ 1786 г.», «Соч.», I, 697.

ное поведеніе, ихъ «пристрастія и пороки» не исчерпывали въ глазахъ писателя объясненія даннаго явленія и даже не составляли сути этого объясненія. По его словамъ, «не довольно охулять сенаторовъ за оныя, надлежало бы проникнуть и ихъ начало». Такое начало или причину онъ находилъ въ чрезмѣрной власти генераль-прокуроровъ, которые со времени Петра I «не переставали власть свою надъ сенатомъ распространять и можно сказать, что истребили духъ твердости и усердія въ сенаторахъ». Сенаторы, слушавшіе и разбиравшіе дѣла исключительно по опредѣляемой генераль-прокуроромъ очереди, не имѣвшіе никакой власти надъ канцеляріей не могли безъ разрѣшенія генераль-прокурора перечитать дѣло даже въ Сенатѣ, не только взять его къ себѣ на домъ, принужденные въ случаѣ баллотировки какого-нибудь вопроса «слышать увѣщаніе и противное часто заключеніе генераль-прокурора, съ напоминаніемъ указа, чтобы менѣе голосовъ подавали, а старались бы между себя соглашаться», наконецъ, въ случаѣ разногласія съ генераль-прокуроромъ сносившіеся съ верховною властью только черезъ его же посредство, такіе сенаторы, по мнѣнію автора, неизбежно утрачивали «нужную бодрость, для государственнаго правленія надлежащую». При подобныхъ условіяхъ «сенаторы повреждаютъ Сенатъ, а Сенатъ повреждаетъ сенаторовъ». Для исправленія этого неудобнаго порядка Щербатовъ считалъ нужнымъ установить для разбора дѣлъ въ сенатѣ опредѣленную очередь, которая могла бы нарушаться только въ исключительныхъ случаяхъ, заносимыхъ съ опредѣленіемъ причинъ сдѣланнаго отступленія въ журналъ, придать каждому сенатору по секретарю и учредить такой порядокъ, чтобы при разногласіи сенаторовъ по какому-либо вопросу изъ сторонниковъ каждаго мнѣнія выбиралось по нѣскольку человѣкъ для объясненія его государю ¹⁾. На этихъ частныхъ измѣненіяхъ въ организаціи сенатскаго дѣлопроизводства не останавливались однако его реформаторскіе планы. Исходя изъ высказаннаго Екатериною въ Наказѣ положенія, что Россійская Имперія представляетъ изъ себя монархію, въ которой «надлежитъ имѣть хранилище законовъ, ибо законы въ ней должны

ственные указы. Но, безъ излишней ревности относясь къ дѣламъ и не особенно усердно и послѣдовательно охраняя законъ, сенатъ за то ревниво оберегалъ свой покой и съ большой энергіей поддерживалъ существовавшій социальный порядокъ. Разсмотрѣніе сенатомъ челобитій, поданныхъ непосредственно на высочайшее имя, рѣдко обходилось безъ присужденія челобитчикамъ наказанія за «не-дѣльное утружденіе» императрицы вопреки указамъ, и исключеніе изъ этого правила допускалось лишь для лицъ высшихъ общественныхъ классовъ и сколько-нибудь вліятельныхъ, дѣла которыхъ и вообще пользовались въ сенатѣ особымъ вниманіемъ. Относящіеся сюда факты, между прочимъ, см. въ книгѣ г. Грибовскаго: «Высшій судъ и надзоръ въ Россіи въ первую половину царствованія имп. Екатерины II». Спб. 1901.

¹⁾ «Статистика въ разсужденіи Россіи». Соч., I, 564—570.

этимъ онъ выставлялъ и еще два желанія, клонившіяся къ охранѣ личной безопасности гражданъ, именно, чтобы предварительный арестъ различался по своимъ условіямъ отъ тюремнаго заключенія по приговору суда и чтобы всякій обвиняемый могъ, представивъ поручителей за себя, освободиться отъ такого ареста, причемъ польза этого послѣдняго порядка доказывалась не совсѣмъ точной ссылкой на англійскій Habeas Corpus Act ¹⁾.

Такимъ образомъ, какъ критика основныхъ явленій русской государственной жизни, такъ и положительныя требованія, предъявлявшіяся къ этой жизни Щербатовымъ, стояли въ строгомъ соотвѣтствіи съ тѣми теоретическими воззрѣніями его на государство, съ которыми мы познакомились ранѣе. Вытекавшая отсюда программа преобразованій далеко не заключала въ себѣ какихъ-либо чрезмѣрно радикальныхъ требованій, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ этомъ общемъ ея видѣ трудно было бы назвать ее и программой консервативной. Существованіе въ государствѣ основныхъ законовъ и особаго учрежденія, призваннаго оберегать ихъ ненарушимость, построеніе управленія на началахъ законности и гласности, охрана личной и имущественной безопасности гражданъ отъ произвола администраціи и суда, — всѣ эти требованія, предъявляемыя въ тогдашней Россіи, скорѣе всего могли бы быть подведены подъ понятіе утѣреннаго либерализма, свидѣтельствующаго о совершившемся подъемѣ общественнаго правосознанія. При разборѣ общихъ взглядовъ Щербатова мы имѣли уже однако случай замѣтить, что его воззрѣнія на собственно государственную организацію, въ узкомъ смыслѣ этого слова, находятъ себѣ немаловажныя поправки и дополненія, порою измѣняющія самый ихъ смыслъ, въ его понятіяхъ о роли, какую должны играть въ государствѣ отдѣльныя общественныя группы. Съ большимъ вѣроятіемъ мы можемъ ожидать повторенія того же самаго факта и въ примѣненіи писателемъ этихъ общихъ взглядовъ къ условіямъ родного быта. Въ виду этого мы не будемъ дѣлать пока никакого рѣшительнаго заключенія о приведенной программѣ и обратимся еще къ разсмотрѣнію взглядовъ Щербатова на современныя ему русскія сословія, которое должно будетъ доставить намъ матеріалъ для болѣе точной оцѣнки проектировавшейся публицистомъ перестройки государственнаго зданія.

себѣ оправданій. Не могло бы отъ сего (т. е. отъ права обращаться къ защитникамъ) никакого зла произойти, ибо пусть бы отъ сего нѣкоторые виновные нашли случай оправдаться, но не лучше ли спасти единаго невиннаго, нежели сто виновныхъ погубить». Соч., I, 417—18; ср. аналогичное предложеніе Щербатова въ Эк. Коммисіи, тамже, 20.

¹⁾ «Говоря о содержаніи подъ стражей, не могу я умолчать о аглинскомъ узаконеніи, *habeas corpus* называемомъ, по коему каждый, въ какомъ бы уголовномъ дѣлѣ не былъ обвиняемъ, имѣетъ право, сыскавъ по себѣ поручителей, отъ содержанія подъ стражей избѣжать и пользоваться свободой. Чего-жъ бы ради сего у насъ не учредить?», тамже, 418.

въ число служилыхъ людей крестьянъ и даже холоповъ, писатель благо-разумно умалчивалъ, а когда въ Екатерининской Коммиссіи одинъ изъ депутатовъ напомнилъ о происхожденіи дворянства отъ самыхъ незнатныхъ фамилій, кн. Щербатовъ, «съ крайнимъ, по словамъ дневной записки Коммиссіи, движеніемъ духа», удивлялся, «что оной господинъ депутатъ подымъ началомъ древнія російскія фамиліи порицаеть, тогда, когда не токмо одна Россія, но вся вселенная свидѣтелемъ противному можетъ быть»¹⁾. Эта-то древность родословныхъ, засвидѣтельствованная цѣлой вселенной, и военныя заслуги, оказанныя дворянами въ качествѣ рядовыхъ солдатъ и предводителей армій, и служили тѣмъ, правду сказать, довольно шаткимъ, историческимъ основаніемъ, изъ котораго выводились писателемъ права сословія въ настоящемъ.

Впервые перечень этихъ правъ и вытекающихъ изъ нихъ требованій былъ сдѣланъ Щербатовымъ въ качествѣ дѣятеля Коммиссіи для составленія новаго уложенія, сперва при сочиненіи дворянскихъ наказовъ въ Москвѣ и Ярославѣ, затѣмъ въ самой Коммиссіи путемъ подачи частныхъ мнѣній. Группируя вмѣстѣ всѣ эти мнѣнія, мы получаемъ цѣльную и широко поставленную программу дворянскихъ интересовъ, глубоко захватывавшую жизнь сословія и перестраивавшую ее на началахъ, весьма далекихъ отъ тѣхъ, какія были заложены предшествовавшей его исторіей. Исходя изъ своей основной мысли о дворянской семьѣ, какъ проникнутой особенной добродѣтелью, Щербатовъ вполне послѣдовательно желалъ, «дабы дворянское достоинство уподлено не было», закрыть доступъ къ нему для членовъ другихъ сословій черезъ службу, узаконенный Петровскимъ указомъ 1721 г. и табелью о рангахъ; полезные и даже необходимые въ свое время, эти законы, по его мнѣнію, уже пережили нужду въ нихъ и на будущее время только монархъ долженъ былъ сохранить право пожалованія въ дворянство²⁾. Отдѣленному такимъ образомъ отъ остальныхъ классовъ общества сословію онъ предполагалъ частью подтвердить, частью вновь даровать рядъ важныхъ личныхъ, имущественныхъ и корпоративныхъ правъ и привилегій. Выражая удовольствіе по поводу того, что по правиламъ полковничьей инструкціи дворяне рядовые являлись при производствѣ въ офицеры преимуще-ство передъ не-дворянами, онъ желалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и въ налагаемыхъ судомъ уголовныхъ наказаніяхъ установить различіе между дворянами и простыми людьми, чтобы первые отъ излишней строгости «не могли лишиться знатныхъ мыслей, которыя чрезъ долгое время родители въ нихъ тщились вложить». Точно также онъ высказывалъ желаніе, чтобы дворяне не были подвергаемы пыткѣ иначе, какъ послѣ лишенія дворянскаго зва-

¹⁾ Тамже, 86—8.

²⁾ Тамже, 12—15; 55—60.

ни работы фабрикантъ теряетъ очень много ¹⁾. Нечего и говорить, что эта идиллическая картина помѣщичьихъ фабрикъ далеко отстояла отъ суровой дѣйствительности. Кромѣ того, Щербатовъ считалъ необходимымъ допустить дворянъ къ участию въ хлѣбной торговлѣ, дозволивъ имъ однимъ закупку хлѣба на крестьянскихъ дворахъ, и доказывалъ, въ виду пассивности русскаго купечества, пользу отъ допущенія дворянъ къ заграничной торговлѣ, «съ заплатою нѣкоей суммы на купечество» ²⁾; наконецъ, онъ предлагалъ отдавать на откупъ владѣльцамъ деревень имѣющіеся въ послѣднихъ питейные дома, допуская къ такимъ откупамъ купцовъ только въ случаѣ отказа со стороны владѣльцевъ ³⁾. — Корпоративныя права сословія, какъ ихъ понималъ Щербатовъ въ это время, не шли особенно далеко. Онъ проектировалъ устроить въ каждомъ уѣздѣ или провинціи ежегодное дворянское собраніе, которое выбирало бы себѣ предводителя и занималось бы разборомъ и повѣркой правъ отдѣльныхъ членовъ сословія. Затѣмъ, въ видахъ устраненія изъ судебныхъ мѣстъ массы мелкихъ дѣлъ, онъ предполагалъ учредить въ каждомъ стану особую должность комиссара, ежегодно выбираемаго мѣстными дворянами изъ своей среды, вѣдающаго мелкія судебныя, административныя и полицейскія дѣла и подсуднаго по своей должности только дворянскому собранію ⁴⁾.

Такова была первоначальная программа, съ которою выступилъ Щербатовъ въ вопросѣ объ отношеніяхъ дворянства къ государству и къ другимъ сословіямъ при началѣ своей общественной и писательской дѣятельности. Позднѣе онъ неоднократно возвращался къ этому вопросу по различнымъ случаямъ, дополняя и развивая свои частныя положенія. Не слѣдя за всѣми такими мелкими дополненіями, мы прямо обратимся къ его критикѣ Екатерининскаго законодательства о дворянствѣ. Жалованная грамота 1785 г., какъ извѣстно, пошла на встрѣчу многимъ желаніямъ сословія, высказаннымъ въ Комиссіи для составленія новаго уложенія, и, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ пунктахъ удовлетворяла эти желанія даже въ большихъ размѣрахъ, нежели требовалъ того, повидимому, самъ Щербатовъ. Тѣмъ не менѣе послѣдній не присоединилъ своего голоса къ многочисленному хору восторженныхъ хвалителей дворянской грамоты, и, наоборотъ, въ особомъ своемъ произведеніи ⁵⁾, посвященномъ разбору этого законодательнаго акта, выступилъ съ рѣзкой его критикой, переходящей въ прямое осужденіе. За время, прошедшее съ 1767 г. по 1785 г.,

¹⁾ Тамже, 17, 93—8, 101—3.

²⁾ Тамже, 17—18, 204—8.

³⁾ Тамже, 21.

⁴⁾ Тамже, 15, 69, 22—4, 208—13.

⁵⁾ «Примѣчанія вѣрнаго сына отечества на дворянскія права на манифестъ». Соч., I, 269—334.

рянскихъ фамилій въ родословныя книги и доказательства дворянскаго происхожденія, въ томъ видѣ, какъ они были опредѣлены грамотою Екатерины, равнымъ образомъ навлекли на себя сильные упреки со стороны Щербатова. Находя, что установленныя шесть частей родословной книги своимъ порядкомъ и раздѣленіемъ, смѣшивающимъ новые роды со старыми, нарушаютъ «историческій порядокъ» и «истину историческую», онъ тутъ же возставаъ противъ доступа въ дворянство путемъ службы и при помощи грамматическихъ ухищреній доказывалъ незаконность такого доступа, утверждая именно, будто указъ 1721 г. и табель о рангахъ относились только къ лицамъ, получившимъ офицерскіе чины до изданія этихъ законовъ. Соответственно этому онъ отказывался считать патенты на чины и ордена, за исключеніемъ орденовъ, даваемыхъ самимъ государемъ, доказательствомъ дворянства; не считалъ онъ удобнымъ признавать за такое доказательство и свидѣтельство 12 дворянъ о благородной жизни дѣда и отца претендента на дворянское званіе, такъ какъ «всѣ сіи свидѣтели должны быть Несторы, жившіе три вѣка человѣческихъ», и, сверхъ того, при этомъ способѣ доказательства легко возможны злоупотребленія¹⁾.

Вниманіе писателя устремлялось такимъ образомъ по преимуществу на тѣ слабыя стороны въ жизни русскаго дворянства, которыми мѣшали этому, одаренному уже многими привилегіями, классу занять прочное и самостоятельное положеніе въ качествѣ обособленной социальной группы. Онъ желалъ видѣть данный классъ замкнутымъ и рѣшительно первенствующимъ въ государствѣ сословіемъ, предназначеннымъ по преимуществу для государственной службы и надѣленнымъ на ней особыми правами, располагающимъ прочнымъ экономическимъ благосостояніемъ, которое создавалось бы путемъ исключительнаго владѣчества надъ невольнымъ народнымъ трудомъ и пользованія рядомъ важныхъ привилегій въ сферѣ торговли и промышленности, наконецъ, обладающимъ широкимъ самоуправленіемъ и всѣмъ голосомъ въ обще-государственныхъ дѣлахъ. Уже эти черты указываютъ, какое положеніе должно было въ проектахъ дворянскаго публициста выпасть на долю другихъ классовъ народа. Щербатовъ въ своихъ произведеніяхъ не останавливался на нихъ столь же подробно и касался ихъ жизни главнымъ образомъ въ тѣхъ сторонахъ, какими она соприкасалась съ жизнью дворянства, но сущность его взглядовъ на отношенія этихъ другихъ классовъ къ государству и первому сословію была все же высказана имъ съ

¹⁾ Тамже, 315—325, 328—32; онъ приводитъ примѣръ, что «князь Урусовъ и другіе благородные о дворянствѣ Полетаева, холопа кн. Долгорукова, подписались»; указанный въ текстѣ взглядъ на указъ 1721 г. и табель о рангахъ, противорѣчащій тому, что заявлялъ Щербатовъ въ Екатерининской Комиссіи, см. также въ его «Размышленіяхъ о законодательствѣ вообще», Соч., I, 413—14.

нужной логикѣ, безъ всякаго понятія о законахъ, съ врожденной грубостью и пристрастіями», долженъ былъ, по мнѣнію публициста, создать судъ невѣжественный и пристрастный, какой онъ и находилъ во всѣхъ городскихъ магистратахъ ¹⁾). Въ силу этихъ соображеній онъ предлагалъ, «чтобы всѣ суды купеческіе наполнялись дворянами или людьми, не привязанными къ торговлѣ, а довольно для чести купечества, чтобы былъ избираемъ голова и при судахъ одинъ купеческій депутатъ находился». Въ самомъ устройствѣ городского класса критикъ находилъ неудачнымъ раздѣленіе купечества по степенямъ и гильдіямъ, которыя «предписаны не по качеству ихъ и не по пользѣ, какую они могутъ дѣлать отечеству, но по капиталамъ, якобы капиталъ производитъ качества и самъ собою дѣлалъ пользу». Онъ предлагалъ дѣленіе иного рода, основанное на принципахъ личныхъ заслугъ: такъ, банкиръ, купецъ, устроившій контору за границей или ведшій прямыя сношенія съ чужими странами, открывшій новую отрасль торговли, «а паче въ Азіатскія страны», купецъ, вооружившій корабль для китовой ловли и занимавшійся этимъ промысломъ не менѣе 5 лѣтъ,—должны были бы удостоиваться званія именитыхъ людей, а купцы, ведшіе внутреннюю валовую торговлю и отпускавшіе товаръ за границу, должны были входить въ первую гильдію. Третье общее возраженіе, выдвинутое Щербатовымъ противъ Екатерининскаго законодательства о городскомъ классѣ, касалось цехового устройства ремесленниковъ, которое онъ находилъ теперь совершенно ненужнымъ. Неудобства его, на взглядъ публициста, заключались уже въ томъ, что опредѣленіемъ годовъ обученія ремеслу игнорировались природныя способности, что принятіе ученика въ мастера зависѣло отъ старыхъ мастеровъ, интересу которыхъ противорѣчило увеличеніе ихъ числа, наконецъ, въ томъ, что Россія нуждалась не столько въ совершенныхъ, сколько въ дешевыхъ ремесленникахъ. Сверхъ того «не только состояніе, введенный обычай, но и самый климатъ нашей страны, кажется, составляютъ препоны такому учрежденію, ибо: 1-е, множество дворянъ съ немалымъ себѣ убыткомъ изучили ремесленниковъ, которые, можно сказать, и лучшіе есть: они и благоправіемъ своимъ, и искусствомъ большую часть мѣщанъ превосходятъ, а дешевизною за работу дѣлають пользу всѣмъ гражданамъ; 2-е, семь мѣсяцевъ продолжающаяся зима крестьянъ въ праздности оставляетъ и изъ нихъ многіе приходятъ въ города ремеслами своими себѣ прибыль получать и спомоществовать пользѣ общества». «То должно ли—спрашивалъ писатель—для единыхъ мѣщанъ ремесленниковъ отнять у дворянъ плоды попеченія ихъ, сдѣлать ихъ ремесленниковъ безъ пропитанія, крестьянъ привести въ нуж-

¹⁾ Напомнимъ, что для дворянъ Щербатовъ не считалъ нужнымъ знаніе законовъ при исполненіи судейскихъ обязанностей.

Съ интересомъ государства, заключающимся въ поддержаніи и воспитаніи «дворянскаго корпуса» чрезъ посредство предоставленнаго ему крѣпостного права, въ схемѣ публициста совпадалъ интересъ самихъ крестьянъ, находившихъ, по его мнѣнію, въ порядкѣ крѣпостного права удовлетвореніе важнѣйшихъ своихъ нуждъ и потребностей. Съ такой точки зрѣнія не только уничтоженіе даннаго порядка, но и проведеніе какихъ бы то ни было серьезныхъ измѣненій въ немъ въ видѣ ограниченія помѣщичьей власти представлялось совершенно невозможнымъ. Когда въ Комиссіи для составленія новаго уложенія былъ поднятъ крестьянскій вопросъ, и нѣкоторыми депутатами были сдѣланы предложенія, клонившіяся къ болѣе или менѣе существенному ограниченію произвола помѣщиковъ въ дѣлѣ распоряженія личностью и имуществомъ крѣпостного, Щербатовъ выступилъ краснорѣчивымъ апологетомъ существующаго порядка. Не отрицая существованія, впрочемъ, лишь въ видѣ рѣдкихъ исключеній, помѣщиковъ, притѣсняющихъ своихъ крестьянъ, и необходимости старанія прекратить эти притѣсненія, онъ отвергалъ возможность установить норму помѣщичьяго дохода, ссылаясь на разнообразіе мѣстныхъ условій, какому можетъ удовлетворять только существующій строй, настолько удобный, что и «довольно извѣстный всему свѣту мудрыми своими правилами для законодательства г. Монтескье точно руссійское учрежденіе о сборѣ доходовъ и связь между помѣщиками и ихъ подданными похваляетъ». Точно также отвергалъ онъ и возможность утвердить за крестьянами какую-либо собственность. Право собственности на движимое имущество, по его утверженію, и безъ проектируемаго закона принадлежало крестьянамъ, «только съ такимъ ограниченіемъ, что помѣщики наблюдаютъ, для крестьянскаго же благоденствія, дабы самыхъ нужныхъ вещей для земледѣлія не сбывали и не становились бобылами». Что касается земли, то отдача ея въ собственность крестьянамъ представлялась ему немислимою: прежде всего большая часть земель принадлежала дворянамъ, которые не только заслужили ихъ своею кровью, но, уплачивая пошлины при переходѣ имѣній изъ рукъ въ руки, «едва не всю цѣну и денежную въ государственную казну внесли»; затѣмъ, раздача крестьянамъ мелкихъ участковъ на правѣ полной собственности и созданіе такимъ путемъ крестьянскаго участковаго землевладѣнія, не говоря уже о трудностяхъ размежеванія, поведетъ лишь къ тому, что большинство новыхъ владѣльцевъ скоро вынуждено будетъ распродать свои земли меньшинству и окажется въ неволѣ у послѣдняго ¹⁾. Наконецъ, право собственности не имѣетъ большого значенія въ рукахъ невольнаго человѣка: «когда тѣло чье подвластно другому, имѣніе его всегда тому же подвластно будетъ». Подобнаго рода аргументы противъ частичныхъ улучшеній въ быту крѣ-

¹⁾ Последнее соображеніе особенно полно развито въ анонимномъ «Размышленіи», приписываемомъ В. И. Семевскимъ Щербатову.

Настаивая на сохраненіи безъ существенныхъ перемѣнъ всѣхъ главныхъ особенностей положенія помѣщичьихъ крестьянъ, Щербатовъ совершенно иной образъ дѣйствій рекомендовалъ по отношенію къ государственнѣмъ крестьянамъ. Екатерининское законодательство и практика Екатерининскаго правительства опять-таки весьма мало удовлетворяли его въ этомъ вопросѣ. Нижняя расправа столь же мало правилась ему, какъ и городской магистратъ, и отчасти по тѣмъ же самымъ причинамъ. «Желаніе ровности, до неумѣренности доведенное,—съ горечью замѣчалъ онъ—учинило, что изъ послѣдняго и непросвѣщеннѣйшаго рода людей судьи избираются»,—порядокъ, отъ котораго онъ не ждалъ никакихъ добрыхъ послѣдствій. Участіе въ судѣ можетъ только отвлечь крестьянъ отъ земледѣлія, и тогда они, возгордившись, станутъ «тиранами другимъ своимъ собратьямъ». Самый судъ равныхъ полезенъ лишь потому, что обезпечиваетъ большую справедливость, «а можетъ ли она быть отъ глупыхъ, грубыхъ и непросвѣщенныхъ людей»? «Не такъ легко—продолжалъ авторъ свои пессимистическія разсужденія—и не такъ полезно просвѣтитесь народу, какъ думаютъ; ибо малое просвѣщеніе ведетъ токмо въ вящшія заблужденія и къ духу неподданства, а нужно нравственное просвѣщеніе». Ссылаясь на примѣръ духовенства, которое, по его мнѣнію, «имѣетъ малое просвѣщеніе безъ нравовъ» и потому является «наивреднѣйшими людьми въ государствѣ», впадая въ такія преступленія, какъ разбой, корчемство и т. п., авторъ обращался, наконецъ, къ мрачнымъ предсказаніямъ: «и ежели—писалъ онъ—народъ подлой просвѣтится и будетъ сравнивать тягости своихъ налоговъ съ пышностію государя и вельможъ, не зная, впрочемъ, ни нужды государства, ни пользы самой пышности, тогда не будетъ ли онъ роптать на налоги, а, наконецъ, не произведетъ ли сіе и бунта»? Всѣ такія соображенія приводили писателя къ проекту замѣны крестьянскаго суда особыми опекунами, которыхъ бы сами крестьяне избирали на годовой срокъ, сохраняя за собою право по истеченіи его избрать ихъ вновь или замѣнить другими ¹⁾.

Съ этими разсужденіями о вліяніи просвѣщенія на народъ не безъ интересно во всякомъ случаѣ сопоставить составленный Щербатовымъ, когда онъ занималъ должность герольдмейстера, проектъ народнаго образованія. Указывая на примѣръ средневѣковой Европы, авторъ считалъ необходимымъ передать дѣло просвѣщенія народа въ руки духовенства, которое онъ и рекомендовалъ прежде всего «начать просвѣщать». Существовавшія въ его время духовныя семинаріи не удовлетворяли его, главнымъ образомъ, въ виду чрезмѣрной высоты ихъ курса: это послѣднее обстоятельство давало возможность лишь немногимъ окончить ученіе въ нихъ, но и эти немногіе

¹⁾ «Статистика въ разсужденіи Россіи», тамже, 616—618.

ванія приведеннаго пожеланія счесть Щербатова своего рода сторонником самостоятельнаго крестьянскаго хозяйства. Подобныя идеи не умѣщались въ рамки его общихъ представленій и крестьянство въ его планахъ и проектахъ всегда играло чисто служебную роль. Исходя изъ своихъ правовыхъ взглядовъ и агрономическихъ соображеній, онъ представлялъ въ мрачномъ свѣтѣ даже такой крупный въ исторіи русскаго крестьянства и благопріятный для него фактъ, какъ отобраніе имѣній у монастырей и образованіе изъ бывшихъ монастырскихъ т. н. экономическихъ крестьянъ. По мнѣнію публициста, правительство не имѣло права на этотъ шагъ, а, разрѣшившись на него, должно было отобранныя деревни возвратити потомкамъ тѣхъ лицъ, которыя нѣкогда жертвовали ихъ въ монастыри. Кромѣ того, онъ находилъ, что эта реформа повела къ паденію хозяйства въ данныхъ имѣніяхъ, такъ какъ старыя хозяйственныя заведенія монастырей были въ ея результатѣ или раззорены, или запущены, а вновь установленныя казначей и управители «или сами крестьянъ раззоряютъ, или крестьянамъ же крестьянъ раззорять даютъ». Для поправленія дѣла онъ совѣтовалъ устроить въ этихъ имѣніяхъ ежегодно выбираемыхъ крестьянами опекуновъ изъ дворянъ, которые получали бы опредѣленное жалованье; еще лучше было бы, по его мнѣнію, «раздробя деревни, отдать ихъ на аренду: сіе бы послужило къ поправленію состоянія множества бѣдныхъ дворянъ и къ умноженію государственныхъ экономіи» ¹⁾. Завѣтные планы Щербатова не исчерпывались, впрочемъ, этимъ предложеніемъ и шли еще гораздо дальше. «Для обновленія унащнаго у насъ земледѣлія» онъ въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ произведеній проектировалъ «продать всѣ государственныя и экономическія деревни дворянамъ, считая кругомъ по 80 р. за душу», а цѣну мельницъ и другихъ оброчныхъ статей опредѣляя путемъ капитализаціи дохода изъ 5%. Въ отвращеніе злоупотребленій онъ предполагалъ распределить продаваемыя деревни между дворянами по чинамъ и производить продажу по жребію, съ разрѣшеніемъ мѣняться участками. Въ дальнѣйшемъ путемъ довольно наивной манипуляціи эта продажа обращалась въ почти даровую раздачу и яркими красками рисовались благодѣянія, какія должны получиться въ результатѣ такой мѣры. «Продажу бы сію — мечтавъ писатель — сдѣлать, не бравъ деньги, но бравъ въ залогъ самыя сіи деревни безсрочно, съ платежемъ процентовъ; отъ сего бы пользы слѣдующія произошли: каждый бы старался умножить разныя домостройства въ сихъ деревняхъ; дворянство бы обогатилось, земледѣліе и другія домоводства умножились, службы бы наградились, крестьяне лучше бы управляемы и защищены были, доимокъ не было и казна не токмо бы потеряла, но нашла прибыль въ денежномъ своемъ доходѣ», такъ какъ съ каждой тысячи

¹⁾ «Статистика въ разсужденіи Россіи», тамже, 598 — 9, 602—3.

ческой свободы и правомѣрности дѣйствій власти, но то и другое, свобода и законность, находили себѣ лишь весьма узкую сферу приложенія, при-мѣняясь въ полномъ объемѣ лишь къ высшей общественной группѣ, по-своимъ нравственнымъ свойствамъ и соціальному положенію рѣзко отдѣ-ленной отъ остальной массы народа. Въ то время, какъ эта высшая группа, иначе говоря, дворянское сословіе, измѣнила на указанныхъ началахъ свои отношенія къ правительственной власти, вмѣстѣ съ тѣмъ во имя припрож-деннаго ему благородства получало рядъ важныхъ привилегій, низшія со-словія должны были утратить часть даже тѣхъ небольшихъ правъ, которыя они въ дѣйствительности имѣли, и частью подчинить свою дѣятельность интересамъ дворянства, какъ это было съ городскимъ классомъ, частью стать къ нему въ положеніе почти совершенно безправныхъ его рабовъ, какъ это проектировалось относительно крестьянства. Въ послѣднемъ итогѣ дворянство, освобожденное почти отъ всякихъ обязательствъ передъ госу-дарствомъ, получало въ свое распоряженіе если не всѣ, то большую часть государственныхъ силъ и средствъ. Такой идеалъ во всякомъ случаѣ не воплотѣ совпадалъ съ дѣйствительностью. Какія же средства, какіе пути указывалъ его творецъ для осуществленія его въ жизни, гдѣ онъ видѣлъ силы, которыя помогли бы такому осуществленію? Такихъ путей Щербато-вымъ было указано два. Въ заключеніи своего извѣстнаго труда «О по-врежденіи правовѣ въ Россіи» онъ ожидалъ улучшеній въ отечествѣ отъ воцаренія государя, одареннаго высокими нравственными качествами, «мо-гущаго имѣть довольно великодушія и любви къ отечеству, чтобы соста-вить и передать основательныя права государству и довольно тверда, чтобы ихъ исполнять» ¹⁾. Въ одномъ же изъ послѣднихъ, если не въ послѣднемъ произведеніи своемъ, озаглавленномъ: «Оправданіе моихъ мыслей и часто съ излишнею смѣлостью изглаголенныхъ словъ», онъ переносилъ инициа-тиву возбужденія вопроса о реформѣ на наиболее заинтересованное въ ней дворянское сословіе, убѣждая его «принять духъ благородный, духъ твер-дости и любви отечества, представить предъ престолъ монаршіи тугу со-стоянія отечества нашего» ²⁾. Можно думать, однако, что самъ Щербатовъ не особенно вѣрилъ въ возможность подвинуть сословіе на этотъ путь. По крайней мѣрѣ, въ его идеальномъ государствѣ—«Офирской землѣ» благо-творный переворотъ производитъ великій и добродѣтельный монархъ по соб-ственному побужденію,—черта, характерная для оцѣнки дѣйствительной силы даннаго направленія.

Мы не будемъ уже останавливаться на только что упомянутомъ утопи-ческомъ произведеніи Щербатова—«Путешествіе въ землю Офирскую».

¹⁾ Сочиненія, II, 243—4.

²⁾ Тамже, 268.

на него сколько-нибудь глубокаго вліянiя. Фразы о равенствѣ людей спокійно уживались въ этомъ быту рядомъ съ грубѣйшими насиліями крѣпостного права, восхваленію свободы нисколько не мѣшали широкому распространѣнію культа безправія. Заимствованныя слова не претворялись въ идеи и, не проникая въ глубину сознанія, не находили себѣ и никакого реальнаго примѣненія въ жизни. На этой своей ступени европейское вліяніе лишь расширяло и углубляло ту пропасть, кака была вырыта между русскими общественными классами условиями ихъ соціального развитія. Грубая роскошь барства, ослѣплявшая глаза современниковъ этой эпохи, оплачивалась быстро возрастающею тяжестью невольнаго крестьянскаго труда, а верхушки европейскаго просвѣщенія, схваченныя высшими классами общества, лишь рѣзче подчеркивали грань, раздѣлявшую эти классы отъ невѣжественной массы народа.

Однакоже, разѣ войдя въ русскую жизнь, западное вліяніе постепенно стало отвоевывать себѣ въ ней и иного рода роль, болѣе самостоятельную и активную. До извѣстной степени путь къ завоеванію такой роли былъ для него расчищенъ. Средневѣковыя понятія и представленія, составлявшія содержаніе умственной жизни московской Руси, были изжиты ею уже къ концу XVII вѣка, когда несостоятельность ихъ обнаружилась съ полною очевидностью. Съ той поры старое міросозерцаніе потеряло безграничную власть надъ умами не только высшихъ слоевъ общества, но и значительной части народа. Но въ то время, какъ народная масса, отрѣзанная отъ просвѣщенія и предоставленная лишь собственнымъ своимъ силамъ, искала основъ новаго міросозерцанія почти исключительно на почвѣ религіозныхъ представленій, передъ верхними слоями русскаго общества открылась широкая дорога къ источникамъ европейскаго просвѣщенія. Моментъ, въ который они ступили на эту дорогу, совпадалъ съ необычайнымъ оживленіемъ философской и научной мысли на самомъ Западѣ. Какъ разѣ въ это время просвѣтительная философія гордо поднимала во Франціи свое знамя и во имя требованій разума начинала ожесточенную борьбу съ остатками феодально-католическаго строя. Такимъ образомъ, едва успѣвъ выработать себѣ формы замкнутаго сословнаго быта, русское общество становилось свидѣтелемъ могучаго идейнаго движенія, заключавшаго въ себѣ горячій протестъ противъ основныхъ принциповъ подобнаго быта, и вступало даже въ извѣстное общеніе съ этимъ движеніемъ. Противорѣчіе, заключавшееся въ такомъ положеніи вещей, могло оставаться нескрытымъ лишь до той поры, пока самое общеніе съ Западомъ носило чисто виѣшній и механический характеръ. Для большинства общества оно и оставалось такимъ втеченіе всего восемнадцатаго столѣтія. Но, по крайней мѣрѣ, небольшая часть русскаго общества успѣла за это время перейти отъ простаго заимствованія иноземныхъ обычаевъ и взглядовъ къ сознательному усвоенію плодовъ тео-

увѣковѣченный въ позднѣйшей сатирической литературѣ типъ случайнаго-медагога, видѣвшаго въ учительской профессіи исключительно выгодное ремесло и бравшагося за нее безъ малѣйшаго о ней понятія. Подобный медагогъ достался и на долю Радищева. Первый его учитель оказался бѣглымъ солдатомъ и вскорѣ былъ удаленъ. Послѣ того отецъ отправилъ Радищева къ своему родственнику въ Москву, гдѣ онъ и воспитывался втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ подъ наблюденіемъ опять-таки француза-гувернера, который на родинѣ былъ совѣтникомъ руанскаго парламента, но бѣжалъ отъ преслѣдованій правительства Людовика XV и укрывался въ Россіи. Въ Москвѣ Радищевъ пользовался, сверхъ того, и уроками профессоровъ только что открытаго здѣсь университета, но всѣ эти уроки едва-ли могли идти далѣе усвоенія элементарныхъ свѣдѣній. Тринадцати лѣтъ отъ роду Радищевъ былъ уже переведенъ отцомъ въ Петербургъ и помѣщенъ въ пажескій корпусъ, въ которомъ и пробылъ до 1766 года, дѣля свое время между учебными занятіями и дежурствами при дворѣ императрицы. Въ пажескомъ корпусѣ, который, подобно большинству русскихъ учебныхъ заведеній этой эпохи, обладалъ широкой и разносторонней программой, плохо, однако, примѣнявшейся на практикѣ¹⁾, Радищевъ выдѣлился изъ среды товарищей своими блестящими способностями, но, надобно думать, не могъ пріобрѣсти особенно серьезныхъ познаній. Тѣмъ временемъ въ его судьбѣ готовился серьезный поворотъ, опредѣлившій собою не только дальнѣйшій ходъ его образованія, но и всю его послѣдующую жизнь. Екатерина II, въ эту пору своей жизни увлекавшаяся мыслью о широкихъ реформахъ, испытывала нужду въ образованныхъ чиновникахъ и, желая «получить людей, къ службѣ политической и гражданской способныхъ»²⁾, вознамѣрилась для этой цѣли воспользоваться услугами заграничныхъ университетовъ. Для осуществленія плановъ императрицы въ 1766 году рѣшено было отправить въ Лейпцигскій университетъ на казенный счетъ двѣнадцать молодыхъ дворянъ, въ томъ числѣ шесть пажей, изъ наиболѣе способныхъ къ наукамъ. Въ число избранныхъ пажей попалъ и Радищевъ, и въ сентябрѣ 1766 года онъ уже выѣхалъ съ новыми своими товарищами за границу.

¹⁾ Согласно составленному академикомъ Миллеромъ плану, пажи должны были обучаться: русскому языку и каллиграфіи; математикѣ, ариметикѣ; геометріи, тригонометріи, геодези, фортификаціи, артиллеріи, механикѣ; философіи, морали, естественному и народному праву; исторіи, географіи, генеалогіи и геральдикѣ; юриспруденціи, гражданскому и государственному праву и церемоніаламъ (Сухомлиновъ, Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію, СПб. 1889, т. I, сс. 543—4). Легко видѣть, что съ такимъ количествомъ предметовъ мудрено было основательно познакомить малолѣтнихъ учениковъ въ 4 года.

²⁾ Сборникъ Русскаго Истор. Общества, т. X, 116.

ею. «Если кто изъ дворянъ—гласяль одинъ изъ параграфовъ инструкціи—явится въ поступкахъ неисправнымъ или въ ученіи нерадивымъ, того инспектору увѣщевать прежде наединѣ. А послѣ, если не исправится, выговаривать при всѣхъ дворянахъ; если же и симъ не удовольствуется, объявлять профессору». Наконецъ, еслибы и это средство не помогло, инспекторъ обязывался обратиться къ ближайшему русскому посланнику для отпращиванія виновнаго «при первомъ удобномъ случаѣ въ Россію, дабы вступъ государственная казна не была на него трачена». Никакихъ же наказаній инспекторъ не могъ налагать на студентовъ ¹⁾.

Дѣйствительность, ожидавшая русскихъ студентовъ въ Лейпцигѣ, плохо согласовалась съ предписаніями инструкціи. Назначенный инспекторомъ или «гофмейстеромъ» молодыхъ дворянъ майоръ Бокумъ былъ человекъ грубый, до крайности корыстолюбивый и жестокий. Не довольствуясь своимъ жалованіемъ и подарками, которые онъ получалъ отъ родителей порученныхъ ему дворянъ, онъ удерживалъ еще въ свою пользу немалую часть казенныхъ денегъ, отпускавшихся на одежду, пищу и квартиру студентовъ. Благодаря этой своеобразной экономіи, послѣдніе помѣщались въ темныхъ, сырыхъ и грязныхъ квартирахъ, вынуждены были иногда носить платье съ чужого плеча, порою даже голодали. Проѣзжавшій черезъ Лейпцигъ кабинетъ-курьеръ Яковлевъ сообщалъ поздне въ Россіи, что, во время пребыванія его въ этомъ городѣ, Бокумъ кормилъ студентовъ несвѣжей провизіей; Радищевъ въ это время «за болѣзнію къ столу ходить не могъ, а отпускалось ему кушанье на квартиру. Онъ—прибавлялъ Яковлевъ—въ разсужденіи его болѣзни, за отпускомъ худого кушанья, прямой претерпѣваетъ голодъ» ²⁾. На этой почвѣ между гофмейстеромъ и студентами скоро возникли рѣзкія столкновенія, еще осложнившіяся тѣмъ, что Бокумъ смотрѣлъ на молодыхъ людей, къ которымъ онъ былъ приставленъ, какъ на дѣтей, обязанныхъ во всемъ безпрекословно повиноваться его волѣ, и вопреки инструкціи не стѣснялся примѣнять къ нимъ разнообразныя наказанія, не исключая и тѣлесныхъ. «Не зналъ нашъ путеводитель,—разсказывалъ впоследствии объ этомъ Радищевъ—что худо отвергать справедливое подчиненныхъ требованіе и что высшая власть сокрушалась иногда отъ безвременной упругости и безразсудной строгости. Мы стали отважнѣе въ нашихъ поступкахъ, дерзновеннѣе въ требованіяхъ и отъ повторяемыхъ оскорбленій стали, наконецъ, презирать его власть» ³⁾. Единичныя столкновенія перешли въ систематическую борьбу: студенты все чаще отказывали своему официальному руководителю въ повиновеніи,

¹⁾ Сборникъ Русск. Истор. Общества, X, 107—111.

²⁾ Сухомлиновъ, назв. соч., с. 545.

³⁾ Собраніе оставшихся сочиненій покойнаго А. Н. Радищева ч. V, с. 23.

жало, что не только всякія тѣлесныя наказанія, но и въ выговорахъ всякая суровость, гнѣвъ и брань,—какъ средства, благоразумному и пристойному воспитанію, каковымъ по намѣренію своему всемилостивѣйше жадуеъ ея и. в—во отправленныхъ для того въ Лейпцигъ дворянъ, совсѣмъ безчестныя, непристойныя, гнусныя и только подлаго духа людямъ свойственныя,—изъ данной вамъ инструкціи... вовсе исключены». «Какою властію и по чьему дозволенію—спрашивалъ Кабинетъ—осмѣлились вы попустить себя на такую преподлую и прегнусную дерзость, подвергающую российское дворянство явному безславію, въ самихъ же дворянахъ не иное что, какъ уныніе и подлость духа, произвести могущую?.. Не варварство ли это и тиранство? При такихъ подлыхъ съ благородными людьми поступкахъ возможно ли надѣяться, что вкоренены будутъ въ нѣжныхъ сердцахъ ихъ человеколюбіе, добронравіе и истинное любочестіе? Да и вы сами можете ли чаать пріобрѣсть чрезъ такое звѣрское воспитаніе любовь ихъ къ себѣ, дружескую довѣренность и почтеніе, къ чему, однако жъ, всѣ старанія ваши устремить вы обязаны?.. Вѣчно стыдиться вамъ и продерзость толикую оплакивать должно». На будущее время Бокуму строго предписывалось, еслибы онъ по усвоенной отъ собственного воспитанія привычкѣ даже своихъ дѣтей задумалъ исправлять, «по обычаю подлаго народа, побоями, суровостью, крикомъ и бранью», «и въ томъ случаѣ чинить сіе съ такою предосторожностью, въ такое время и въ такомъ уединеніи, чтобъ никто изъ дворянъ российскихъ сихъ гнусностей никогда не видалъ и объ нихъ не вѣдалъ». Въ заключеніе Кабинетъ настоятельно требовалъ, «чтобъ всякая лютость въ нравахъ, неучтивость, свирѣпость и непристойность всемѣрно отъ глазъ и ушей дворянъ российскихъ оставались сокровенны»¹⁾. Слухи, разошедшіеся по Петербургу о насиліяхъ Бокума надъ русскими юношами, и сѣтованія нѣкоторыхъ родителей, что ихъ сыновья частыми побоями «въ такую уже приведены подлую нечувствительность, что сего почти ни во что вмѣнять начинаютъ»²⁾, видимо, раздражали, однако, Екатерину. 15 января 1771 г. она обратилась къ вице-канцлеру кн. А. М. Голицыну съ запискою такого содержания: «Князь Александръ Михайловичъ! Извольте объявить тѣмъ отцамъ и матерямъ, кои почитаютъ, что дѣти ихъ въ Лейпцигѣ отъ Бокума столь много претерпѣваютъ, что въ ихъ волѣ состоятъ ихъ оттуда отозвать, пбо я рушить намѣрена все тамошнее мною сдѣланное учрежденіе, для того, что много отъ него безпокойства, нежели пользы: я трачу пятнадцать тысячъ, а принимаю негодованіе. Если есть такіе отцы, кои дѣтей своихъ хотятъ оставить на теперешнемъ основаніи, то прошу мнѣ сказать».

¹⁾ Сборникъ Р. Ист. Общества, X, 119—21.

²⁾ Тамже, 123.

его товарищи впервые научились сознавать чувство личного достоинства и отстаивать его от чрезмерно грубых посягательств, впервые прониклись сознательной враждой къ произволу, съ горькими плодами котораго имъ пришлось свести такое близкое знакомство. Эти же столкновения, уравнивавшія всѣхъ членовъ студенческаго кружка и объединявшія ихъ въ одно и томъ же чувствѣ, завязали между ними первыя узы взаимнаго общенія. Разъ установившись, такое общеніе и обусловленное имъ единство стремленій кружка не исчезли и тогда, когда первоначальный поводъ къ нимъ былъ устраненъ и студентамъ удалось до нѣкоторой степени оградить себя отъ насильственной опеки съ стороны Бокума. Къ этому времени нашлась новая и болѣе серьезная почва для общенія членовъ кружка въ совместныхъ занятіяхъ наукой, которымъ они и отдались съ пламеннымъ увлеченіемъ.

Для такого увлеченія было немало поводовъ въ той обстановкѣ, какая окружила юныхъ студентовъ въ Лейпцигѣ. Уже одні университетскія лекціи сами по себѣ открывали имъ доступъ въ міръ научнаго знанія, мало похожій на тѣ традиціонныя, на половину дѣтскія, на половину невѣжественныя представленія, какими снабдило ихъ предшествовавшее воспитаніе. Навычное міросозерцаніе, основанное на этихъ представленіяхъ, рушилось тѣмъ скорѣе, что къ вліянію нѣмецкой университетской науки, не вполне еще сбросившей съ себя схоластическую одежду, присоединилось еще болѣе глубокое вліяніе французской литературы. «Всѣ почти юноши, мыслить начинающіе,—замѣчалъ впоследствии Радищевъ, вспоминая объ этомъ періодѣ своей жизни,—любятъ метафизику; съ другой же стороны, всѣ, чувствовать начинающіе, придерживаются правилъ, народнымъ правленіемъ приличныхъ» ¹⁾. Въ исторіи европейской литературы немного можно насчитать моментовъ, когда она давала бы такой полный и сочувственный откликъ на эти инстинктивныя стремленія юности къ свободѣ и къ свѣту обобщеннаго знанія, какъ это было во второй половинѣ XVIII-го вѣка. Французская философская и политическая литература этого вѣка съ ея рѣшительными отвѣтами на важнѣйшіе вопросы міроздавія, съ ея страшною проповѣдью господства разума и правъ человека какъ нельзя болѣе способна была разбудить молодой умъ и взволновать неокрѣпшее чувство. Живя въ Лейпцигѣ, русскіе студенты не могли избѣжать знакомства съ этой литературой, вліяніе которой широко распространилось по всей тогдашней Европѣ. и толчокъ къ такому знакомству, дѣйствительно, не заставилъ себя ждать. Одинъ изъ проѣзжавшихъ черезъ Лейпцигъ русскихъ, рассказываетъ Радищевъ, «возбудилъ во всѣхъ насъ великое желаніе къ чтенію, давъ намъ случай узнать книгу Гельвеціева о Разумѣ... По его совѣту мы читали сію

сознательнымъ шагомъ въ область философскихъ вопросовъ и на немъ онъ не остановился, какъ не ограничился и знакомствомъ съ французской философской литературой. Лекціи лейпцигскаго профессора Платнера, слѣдовавшаго въ своемъ курсѣ философіи воззрѣніемъ Лейбница, ознакомили его съ системою знаменитаго нѣмецкаго мыслителя и подъ вліяніемъ этихъ лекцій Радищевъ принялся за внимательное изученіе нѣмецкой философіи. Двадцать лѣтъ спустя, Платнеръ въ разговорѣ съ Карамзинымъ вспоминалъ о Радищевѣ, какъ объ одномъ изъ самыхъ способныхъ русскихъ учениковъ своихъ ¹⁾.

Эта разносторонняя и богатая результатами умственная дѣятельность сопровождалась сильнымъ подъемомъ нравственнаго чувства. Входя въ соприкосновеніе съ жизнью Запада и воспринимая плоды существовавшего въ ней идейнаго движенія, поскольку они выразились въ университетской наукѣ и въ литературныхъ произведеніяхъ, Радищевъ и его товарищи искали и находили въ нихъ не только теоретическую истину, но и этическій идеалъ. Основныя черты этого идеала стояли въ тѣсной и непосредственной связи съ высокимъ понятіемъ о значеніи человѣческаго разума, опредѣляющего собою всю жизнь. «Помни,—говорилъ Радищеву умирающій Ушаковъ.— что нужно въ жизни имѣть правила, дабы быть блаженнымъ, и что должно быть твердо въ мысляхъ, дабы умирать безтрепетно» ²⁾. Каковы бы ни были эти дающія блаженство въ жизни «правила», они являлись уже результатомъ самостоятельной работы мысли, а не рабскаго слѣдованія традиціи. При этомъ смыслъ тѣхъ нравственныхъ уроковъ, какіе могли быть извлечены и извлекались въ дѣйствительности изъ основныхъ идей умственнаго движенія XVIII столѣтія, не ограничивался въ сознаніи русскихъ наблюдателей этого движенія узкими рамками ихъ личной жизни. Глубоко космополитическая по существу своему, французская литература XVIII вѣка умѣла силою выставляемыхъ ею общихъ идеаловъ зажигать въ сердцахъ искреннихъ своихъ адептовъ горячую любовь къ родинѣ, любовь, чуждую всякаго шовинизма и тѣмъ самымъ наиболѣе плодотворную. Русскіе студенты во время пребыванія своего за границей забыли нѣсколько даже русскій языкъ и должны были подучиваться ему по возвращеніи, но Россіи они не забыли. Много лѣтъ спустя послѣ возвращенія на родину, Радищевъ съ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ вспоминалъ тотъ, доходившій до изступленія, восторгъ, съ которымъ онъ и его товарищи «узрѣли между, Россію отъ Курляндіи отдѣляющую» ³⁾.

Пробывъ пять лѣтъ въ Лейпцигѣ, Радищевъ возвратился въ Россію

¹⁾ Карамзинъ. Письма русскаго путешественника.

²⁾ Собраніе сочиненій Радищева, ч. V, 80.

³⁾ Тамже, 51.

Брюса, но въ 1775 г. вышелъ въ отставку. Черезъ три года однако онъ вновь вступилъ на службу, на этотъ разъ въ коммерцъ-коллегію; отсюда онъ перешелъ черезъ десять лѣтъ въ петербургскую таможенную и въ ней быстро дослужился до должности управляющаго. Служба далеко не заполняла однако всего времени Радищева. Живя въ Петербургѣ, онъ не порывалъ однажды завязанныхъ связей съ европейскимъ просвѣщеніемъ, много читалъ и составилъ себѣ хорошую бібліотеку. Понемногу онъ и самъ сталъ браться за перо и пытаться свои силы въ литературной работѣ, причемъ въ его рукахъ эта работа неизмѣнно принимала характеръ пропаганды его идей и писательское перо становилось орудіемъ проведенія въ жизнь общества заветныхъ мыслей самого писателя.

Первый литературный трудъ Радищева имѣлъ полу-официальное происхожденіе. Екатерина II въ своихъ заботахъ о распространеніи просвѣщенія въ Россіи учредила, между прочимъ, общество для перевода замѣчательныхъ литературныхъ произведеній съ иностранныхъ языковъ на русскій, причемъ средства на изданіе этихъ переводовъ ассигновались изъ собственной шкатулки государыни. Къ участію въ работахъ этого общества были приглашены и Радищевъ, и на его долю достался переводъ книги Мабли «*Observations sur l'histoire de la Grèce*». Радищевъ не только перевелъ эту книгу, но и снабдилъ переводъ своими примѣчаніями, съ которыми онъ и вышелъ въ свѣтъ въ 1773 году. Въ этихъ примѣчаніяхъ ихъ авторъ выступаетъ рѣшительнымъ сторонникомъ теоріи естественнаго права и идеи народнаго суверенитета. «Самодержавство—говоритъ онъ, переводя этимъ терминомъ слово *despotisme* и поясняя его значеніе,—есть наипротивнѣйшее человѣческому естеству состояніе. Мы не только не можемъ дать надъ собою неограниченной власти, но ниже законъ, извѣтъ общія воли, не имѣть другого права наказывать преступниковъ, oprичъ права собственности сохранности. Если мы живемъ подъ властію законовъ, то сіе не для того, что мы оное дѣлать должныствуемъ неотмѣнно, но для того, что мы находимъ въ ономъ выгоды. Если мы удѣляемъ закону часть нашихъ правъ и нашей природной власти, то дабы она употреблена была въ нашу пользу; о семъ мы дѣлаемъ съ обществомъ безмолвный договоръ. Если онъ нарушенъ, то и мы освобождаемся отъ нашей обязанности. Неправосудіе государя даетъ народу, его судіи, то же, и болѣе, надъ нимъ право, какое ему даетъ законъ надъ преступниками. Государь есть первый гражданинъ народнаго общества» ¹⁾. Такимъ образомъ въ книгѣ, изданной на средства императрицы, проводилась мысль объ отвѣтственности верховной власти передъ народомъ и объ ограниченности ея полномочій. Екатерина II не раздѣляла, правда, этихъ идей,

¹⁾ Размышленія о греческой исторіи или о причинахъ благоденствія и несчастія грековъ. Сочиненіе г. аббата де-Мабли. СПб. 1773 г., сс. 126—7.

виѣшало ея автору настроеніе, далекое отъ жизнерадостности. Особенно характерно въ этомъ смыслѣ заключеніе книги. Радищевъ рассказываетъ въ немъ, какъ Ушаковъ въ тяжелыхъ предсмертныхъ мученіяхъ, зная уже о неизбежности своей смерти, просилъ своего товарища и друга, А. М. Кутузова, дать ему яду. Кутузовъ, посоветовавшись съ Радищевымъ, не исполнилъ этой просьбы. Теперь такое рѣшеніе представлялось Радищеву неправильнымъ: самоубійство является въ его глазахъ естественнымъ исходомъ, разъ жизнь обратилась въ мученіе. «Если еще услышишь гласъ стѣнящаго твоего друга.—обращается онъ къ Кутузову—если гибель ему предстоять будетъ необходимая и воззову къ тебѣ на спасеніе мое, не медли, любезнѣйшій мой: ты жизнь неспосную скончаешь и дашь отраду жизнью гнушающемуся и ее возненавидѣвшему»¹⁾. Но мрачное настроеніе, вылившееся въ этомъ воззваніи къ другу, не мѣшало во всякомъ случаѣ Радищеву дѣятельно работать. Онъ началъ было писать исторію сената, но затѣмъ уничтожилъ написанное. Историческое изслѣдованіе, повидимому, мало удовлетворяло его умъ, занятый по преимуществу анализомъ современной дѣйствительности. Въ соответствии съ этимъ дальнѣйшія его работы приняли чисто публицистическій характеръ. Воспользовавшись указомъ Екатерины II о вольныхъ типографіяхъ, дававшимъ право всякому желающему печатать книги съ разрѣшенія управы благочинія, онъ завелъ у себя домашнюю типографію, въ которой работали его крѣпостные. Въ 1790 г. изъ этой типографіи вышла брошюра, носившая заглавіе: «Письмо къ другу, жительствующему въ Tobольскѣ». Въ ней Радищевъ рассказывалъ объ открытіи въ Петербургѣ памятника Петру I, пересыпая свой рассказъ размышленіями о существѣ и назначеніи верховной власти. Но это «Письмо» было только первой пробой. За нимъ въ томъ же году послѣдовала большая книга, которая занимала вниманіе Радищева втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ и окончательный толчокъ къ написанію которой дало ему «Сентиментальное путешествіе» Стерна. Свой новый трудъ Радищевъ посвящалъ Кутузову, скрывъ его имя подъ буквами А. М. К. «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву», какъ называлась эта книга Радищева, напечатанная имъ въ своей типографіи безъ имени автора, вышло въ свѣтъ съ разрѣшенія петербургскаго полицеймейстера Рыльева и въ концѣ іюня 1790 г. появилось въ продажѣ. Публика стала быстро раскупать его, но уже черезъ нѣсколько дней «Путешествіе» исчезло изъ продажи. На этой книгѣ, имѣвшей такое кратковременное существованіе и составившей несчастье и славу Радищева, намъ предстоитъ остановиться нѣсколько подробнѣе.

¹⁾ Собраніе сочиненій Радищева, ч. V, 84.

не позволяеть однакоже согласиться съ подобными отзывами объ ней. При такомъ изученіи за вѣшнюю нестротою содержанія «Путешествія» не трудно разглядѣть въ немъ внутренній порядокъ и гармонію, подчиняющую отдѣльныя части книги общей ея задачѣ. Многочисленныя литературныя заимствованія Радищева не даютъ еще права считать его ни слѣпымъ рабомъ какого-либо авторитета, ни трудолюбивой пчелой, безъ разбора слѣпавшей въ одно цѣлое части различныхъ доктринъ. Не выступая въ «Путешествіи» самостоятельнымъ мыслителемъ въ строгомъ смыслѣ этого слова, Радищевъ пытается однако на фундаментѣ извѣстныхъ ему философскихъ и политическихъ теорій воздвигнуть зданіе болѣе или менѣе цѣльнаго міросозерцанія, и, принимая во вниманіе историческія условія, нельзя отрицать за этимъ міросозерцаніемъ ни продуманности, ни извѣстной стройности. Равнымъ образомъ странно отрицать и существованіе тѣсной связи между основными идеями этого міросозерцанія и тѣмъ изображеніемъ, какое получила русская дѣйствительность въ книгѣ Радищева. Но для ближайшаго опредѣленія этой связи необходимо обратиться къ самому содержанію «Путешествія» и возстановить, хотя бы въ наиболѣе общихъ чертахъ, важнѣйшія воззрѣнія его автора и характеръ наблюденій, сдѣланныхъ имъ надъ русскою жизнью.

Собирая въ одно цѣлое отдѣльныя замѣчанія, разсыянные на различныхъ страницахъ «Путешествія», не трудно составить опредѣленное представленіе объ общихъ взглядахъ Радищева. Въ своей книгѣ онъ высту-

въ обѣихъ Индіяхъ» аббата Рейналя Сухомлиновъ замѣчаетъ: «подражаніе слогу Рейналя, котораго французскіе критики называютъ не иначе, какъ *«le declamateur Raynal»*, развило въ нашемъ авторѣ наклонность къ фразерству, къ риторическимъ украшеніямъ и многословію» (тамже, с. 554). Съ этимъ строгимъ отзывомъ русскаго ученаго, замѣтившаго у Рейналя только напыщенный слогъ, любопытно сопоставить мнѣніе англійскаго ученаго. «У XVIII столѣтія—говоритъ Морлей—была положительная сторона, которая имѣла по меньшей мѣрѣ столь же важное значеніе, какъ и его отрицательная сторона... Писатели того времени... были воодушевлены стремленіемъ къ политической справедливости, къ гуманности, къ введенію лучшаго и болѣе однообразнаго для всѣхъ законодательства и къ улучшенію участи каждаго,—такимъ стремленіемъ, которое никогда не было превзойдено ни въ своей стойкости, ни въ своей искренности, ни въ своемъ безкорыстіи. А произведеніе Рейналя въ цѣломъ было едва-ли не самой сильной и самой выдержанной изъ всѣхъ литературныхъ формъ, въ которыхъ выразились великія социальныя идеи того вѣка. Въ немъ вовсе не было того страннаго и сосредоточеннаго пламени, которое пылало на страницахъ «Общественнаго Договора»; за то оно было полно движенія, реальности, живыхъ и живописныхъ повѣствованій. Оно было доступно для пониманія каждаго и оно было конкретно. Рейналевская «Исторія» затрогивала прямо за сердце многихъ изъ числа тѣхъ читателей, которымъ аргументы Руссо казались несовсѣмъ понятными и наводящими уныніе». Морлей, Дидро и энциклопедисты, р. переводъ Невѣдомскаго, М. 1882, сс. 406—7.

человѣкъ, воспоминаніи величество твое, восхити вѣнецъ блаженства, его же отъяти у тебя тщатся,—умри» ¹⁾. Такимъ образомъ самоубійство, на которое Радищевъ въ «Житіи Ушакова» указывалъ, какъ на средство уйти изъ жизни, сдѣлавшейся несносной вслѣдствіе физическихъ страданій, пріобрѣтало въ его глазахъ и другое значеніе: въ самоубійствѣ онъ видѣлъ послѣднее оружіе въ борьбѣ съ неблагопріятною судьбою, крайнее средство для охраны человѣческаго достоинства личности и избавленія отъ нравственныхъ мученій, какія можетъ повлечь за собою борьба съ существующимъ общественнымъ порядкомъ.

Что касается права личности на такую борьбу, то оно, по взгляду Радищева, заключается уже въ самыхъ условіяхъ возникновенія человѣческаго общества. Принимая общую почти всѣмъ писателямъ XVIII вѣка теорію естественнаго права и происхожденія общества изъ первоначальнаго договора, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ примыкаетъ къ наиболѣе демократическимъ выводамъ изъ этой теоріи. «Человѣкъ родится въ міръ—говоритъ одинъ изъ положительныхъ героевъ «Путешествія»—равенъ во всемъ одинъ другому. Всѣ одинаковые имѣемъ члены, всѣ имѣемъ разумъ и волю. Слѣдственно, человѣкъ безъ отношенія къ обществу есть существо, ни отъ кого не зависящее въ своихъ дѣяніяхъ». Но съ моментомъ возникновенія общества человѣкъ соглашается повиноваться не одной лишь своей волѣ и признавать надъ собою установленную въ обществѣ власть. «Какія же ради вины обуздываетъ онъ свои хотѣнія? по что поставляетъ надъ собою власть?.. Для своей пользы, скажетъ разумъ; для своей пользы, скажетъ внутреннее чувство; для своей пользы, скажетъ мудрое законоположеніе. Слѣдственно, гдѣ нѣтъ его пользы быть гражданиномъ, тамъ онъ и не гражданинъ. Слѣдственно, тотъ, кто восхочетъ его лишить пользы гражданскаго званія, есть его врагъ. Противъ врага своего онъ защиты и мщенія ищетъ въ законѣ. Если законъ или не въ силахъ его заступитъ,

¹⁾ Тамже, 179—80, 160—178, 186—7, 182—6, 191. Аналогичный взглядъ на самоубійство мы встрѣчаемъ во французской литературѣ у Дидро въ его статьѣ въ Энциклопедіи и у Гольбаха. «Страхъ смерти—говоритъ послѣдній—всегда будетъ лишь дѣлать людей трусами; страхъ предполагаемыхъ ея послѣдствій будетъ только дѣлать изъ людей фанатиковъ или меланхолическихъ піетистовъ, равно безполезныхъ для себя самихъ и для другихъ. Смерть—такой ресурсъ, котораго не слѣдуетъ отнимать у угнетенной добродѣтели, нерѣдко доводимой до отчаянія людскою несправедливостію. Еслибы люди меньше боялись смерти, они не были бы ни рабами, ни суевѣрами; истина находила бы для себя болѣе ревностныхъ защитниковъ, права людей отстаивались бы съ большимъ рвеніемъ, борьба съ заблужденіями велась бы энергичнѣе и изъ жизни народовъ была бы навсегда изгнана тиранія; низость питаетъ ее и страхъ ее поддерживаетъ». Holbach, *Système de la Nature*. Nouvelle édition. Paris. 1820. T. I, p. 384.

Таковы основныя воззрѣнія Радищева, поскольку они были имъ высказаны въ «Путешествіи изъ Петербурга въ Москву». Многое въ нихъ, несомнѣнно, заимствовано, но это заимствование во всякомъ случаѣ стояло очень далеко отъ рабскаго подражанія однажды избраннымъ образцамъ. Сознательно усвоивъ себѣ главные результаты теоретической мысли Запада, онъ переработалъ ихъ самостоятельно и слилъ въ одно органическое цѣлое. Жизненность создававшегося такимъ путемъ міровоззрѣнія всего лучше проявлялась въ томъ примѣненіи, какое оно получало въ условіяхъ русской жизни.

Въ своей книгѣ Радищевъ касается самыхъ различныхъ сторонъ современнаго ему русскаго быта, являясь глубокимъ знатокомъ послѣдняго. О знакомствѣ его съ народнымъ бытомъ въ извѣстной мѣрѣ свидѣлствуетъ уже самый языкъ книги. Тяжелый и нѣсколько напыщенный въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ, онъ въ описаніяхъ бытовыхъ спенъ нерѣдко переходитъ въ живую разговорную рѣчь, изобилующую народными оборотами и подчасъ блестящую искрами неподдѣльнаго юмора. Богатство разбросанныхъ въ книгѣ типичныхъ бытовыхъ подробностей изъ жизни различныхъ общественныхъ классовъ и умѣлый подборъ матеріала по основнымъ вопросамъ государственнаго и социальнаго строя Россіи въ еще большей степени обличаютъ въ ея авторѣ человѣка, пристально вглядывавшагося въ окружающую его дѣйствительность и хорошо изучившаго ее. Большую роль въ этомъ изученіи должна была сыграть наблюдательность Радищева, возникавшая на почвѣ его необыкновенной воспріимчивости и живого ума, быстро схватывавшаго впечатлѣнія и легко разбиравашагося въ нихъ. Но къ этимъ особенностямъ духовной природы писателя присоединялась и еще одна, созданная внѣшними условіями его жизни. Въ противоположность большинству своихъ современниковъ, Радищевъ приступилъ къ сознательнымъ наблюденіямъ надъ русскою дѣйствительностью во всеоружіи теоретическаго знанія и твердыхъ убѣжденій. Выѣхавъ изъ Россіи въ поискахъ за образованіемъ на зарѣ юности, онъ вернулся человѣкомъ съ установившимся міровоззрѣніемъ, и это обстоятельство должно было значительно облегчить ему самое наблюденіе фактовъ родной дѣйствительности. Проходя сквозь призму опредѣленнаго міровоззрѣнія, эти факты пріобрѣтали болѣе яркую окраску и, не утрачивая конкретныхъ своихъ чертъ, вмѣстѣ съ тѣмъ яснѣе обнаруживали свой общій смыслъ. Благодаря этому счастливому соединенію въ лицѣ автора «Путешествія» человѣка съ

и лишь любовь къ отечеству создаетъ гражданъ». См. *Système de la Nature*, Paris. 1820, pp. 212, 214. Какъ можно видѣть даже изъ приведенныхъ цитатъ, тотъ отгѣнокъ индивидуализма, который отличалъ взгляды Гольбаха отъ идей Руссо, не былъ чуждъ и Радищеву.

рина; дворовый, по барскому капризу получившій образованіе и, благодаря этому, тѣмъ съ большою силою чувствующій тяготящій надъ нимъ произволъ; крестьяне, вступающіе въ бракъ по принужденію господина; казенные крестьяне, покупающіе крѣпостныхъ у помѣщика для отдачи ихъ въ рекруты, — таковы важнѣйшія фигуры этой галлерей, наглядно убѣждающія Радищева въ томъ, что въ Россіи «крестьянинъ въ законѣ мертвъ» ¹⁾. Какъ бы заключая рядъ впечатлѣній, получаемыхъ читателемъ отъ этихъ фигуръ, и сводя въ одно цѣлое ихъ разрозненныя черты, Радищевъ въ одной изъ послѣднихъ главъ своей книги изображаетъ внѣшнюю обстановку жизни крестьянина. Рѣзкими штрихами набрасываетъ онъ картину жалкаго убожества этой обстановки, граничащаго съ нищетою. Жилище крестьянина — курная изба съ покрытыми сажей и грязью стѣнами, съ затянутыми пузырями окнами, изба, въ которой люди спятъ ночью вмѣстѣ съ животными, въ спертomъ воздухѣ которой свѣча горитъ, какъ въ туманѣ. Внутреннее убранство этой избы состоитъ изъ скудной утвари: двухъ-трехъ горшковъ — «счастлива изба, коли въ одномъ изъ нихъ есть пустыя щи», — деревянной чашки и кружковъ вмѣсто тарелокъ, срубленнаго топоромъ стола, корыта для корма свиней и телятъ и кадки съ квасомъ, похожимъ на уксусъ. Одежда крестьянина — «посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки съ лаптями для выхода». «Вотъ въ чемъ — восклицаетъ писатель — почитается по справедливости источникъ государственнаго избытка, силы, могущества; но тутъ же видимъ слабость, недостатки и злоупотребленія законовъ и ихъ шероховатая, такъ сказать, сторона. Тутъ видна алчность дворянства, грабежъ, мучительство наше и беззащитное нищеты состояніе. — Звѣри алчные, пиявицы ненасытныя, что крестьянину мы оставляемъ? — то, чего отнять не можемъ, воздухъ. Да, одинъ воздухъ. Отъ земли нѣрѣдко у него не токмо даръ земли, хлѣбъ и воду, но и самый свѣтъ. Законъ запрещаетъ отнять у него жизнь. — Но развѣ мгновенно. Сколько способовъ отнять ее у него постепенно! Съ одной стороны почти всесиліе; съ другой немощь беззащитная. Ибо помѣщикъ въ отношеніи крестьянина есть законодатель, судія, исполнитель своего рѣшенія и, по желанію своему, встѣцъ, противъ котораго отвѣтчикъ ничего сказать не смѣетъ. Се жребіи заклѣпаннаго въ узы, се жребіи заключеннаго въ смрадной темницѣ, се жребіи вола въ ярмѣ» ²⁾...

Жизнь другихъ сословій, внѣ ихъ отношенія къ крестьянамъ, менѣе привлекала къ себѣ вниманіе автора «Путешествія». Но и эти стороны общественной жизни не остались вовсе не затронутыми его критикою. Онъ указывалъ на плутни и обманы, на почвѣ которыхъ создавались нѣрѣдко богатства купечества, на раболовство дворянъ, выходящихъ на видныя слу-

¹⁾ Тамже, 15—18, 125—8, 217—8, 342—6, 373—85, 417—8, 385—9.

²⁾ Тамже, 412—14.

сударства царятъ правосудіе и милосердіе. Но изъ толпы богато разодѣтыхъ придворныхъ къ нему подходитъ скромная странница въ простой одеждѣ, называющая себя Истиной. Она снимаетъ бѣльма съ глазъ царя и онъ видитъ, что его солдаты умираютъ отъ голода и болѣзней, суда разваливаются, полководцы и министры расхищаютъ казну, разоренный и угнетаемый народъ бѣдствуетъ, а царскія милости обращаются въ предметъ торговли и достаются лишь недостойнымъ. Въ ужасѣ онъ просыпается. «Властитель міра,—заключаетъ Радищевъ свой рассказъ—если, читая сонъ мой, ты улыбешися съ насмѣшкой или нахмуришь чело, вѣдай, что видѣнная мною странница отлетѣла отъ тебя далеко и чертоговъ твоихъ гнушается» ¹⁾).

Между тѣми теоретическими воззрѣніями, какія выработалъ себѣ Радищевъ, и тѣми наблюденіями, какія онъ сдѣлалъ надъ русскою жизнью, существовала, очевидно, самая тѣсная и неразрывная связь. Общеніе съ умственными теченіями Запада, расширивъ его умственный горизонтъ и укрѣпивъ его нравственное чувство, тѣмъ самымъ усилило и углубило въ немъ интересъ къ явленіямъ родной дѣйствительности, въ которыхъ ему пришлось наблюдать черты, прямо противоположныя его идеалу. Соответственно этому, и даваемая имъ критика этой дѣйствительности, согрѣтая чувствомъ глубокой вѣры въ достоинство человѣческой личности и горячей симпатіи къ народной массѣ, носила строго общественный характеръ, не переходя въ узкую мораль. Но одною критикою Радищевъ не ограничивается и идетъ еще дальше. Онъ подводитъ общій итогъ своимъ наблюденіямъ надъ русскою жизнью и указываетъ тотъ путь, на которомъ могутъ быть исправлены ея недостатки. Главнымъ изъ нихъ, отъ котораго болѣе или менѣе зависятъ всѣ другіе, онъ считаетъ крѣпостное право. Возможно ли, спрашиваетъ онъ, «наслаждаясь внутренней тишиною, вѣдѣвшихъ враговъ не имѣя, доведя общество до высшаго блаженства гражданскаго сожитія», оставлять «цѣлую треть согражданъ, намъ равныхъ, въ тяжкихъ узахъ рабства и неволи»? Право естественное и гражданское учить, что люди должны быть равны, что государство должно обезпечивать благосостояніе гражданъ и что только злодѣй или непріятель можетъ быть повергнутъ въ неволю. «Но кто между нами оковы носить, кто ощущаетъ тяготу неволи? Земледѣлецъ!.. тотъ, кто даетъ намъ здравіе, кто житіе наше продолжаетъ, не имѣя правъ распорядити ни тѣмъ, что обрабатываетъ, ни тѣмъ, что производитъ. Кто же къ нивѣ ближайшее имѣетъ право, буде не дѣлатель ея»?.. Тогда какъ въ началѣ общества, кто обрабатывалъ землю, тотъ и владѣлъ ею, теперь «тотъ, кто естественное имѣетъ къ оному право, не токмо отъ того исключенъ совершенно, но, обрабатывая ниву чуждую, зрѣть пропитаніе свое зависящее отъ власти другого». «Можетъ ли—спрашиваетъ еще писатель—

¹⁾ Тамже, 4—6, 21—40, 43—7, 58, 58—9, 61—85.

глубоко въ русскую жизнь и не указывалъ такъ вѣрно на присущія ей болѣзни. Но идеи, лежавшія въ основѣ этого движенія, ставили наиболѣе послѣдовательныхъ своихъ адептовъ въ чрезвычайъ рѣшительное противорѣчіе съ коренными условіями русской дѣйствительности той поры, а слабость только что начинавшагося движенія заранѣе предрѣшала трагическій исходъ этого противорѣчія. Радищеву первому довелось извѣдать такой исходъ на собственномъ опытѣ. Почти немедленно вслѣдъ за выходомъ въ свѣтъ его книги ему пришлось имѣть дѣло съ такими послѣдствіями этого шага, какихъ онъ не предвидѣлъ и не ожидалъ. Когда «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» появилось въ книжныхъ лавкахъ, продажа его сразу пошла хорошо и книга, видимо, легко находила себѣ читателей, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ обществѣ стали распространяться настолько неблагопріятные слухи относительно вѣроятной судьбы остававшагося пока безыменнымъ автора, что послѣдній уже черезъ нѣсколько дней рѣшилъ пріостановить продажу, а затѣмъ и сжегъ всѣ оставшіеся у него экземпляры книги. Но было уже поздно; за эти дни надъ головой Радищева нависла бѣда и ему не удалось предотвратить ее.

Въ числѣ первыхъ читателей «Путешествія» оказалась сама имп. Екатерина. Секретарь ея, Храповицкій, 26 іюня 1790 г. записалъ въ своемъ дневникѣ: «Говорено о книгѣ: «Путешествіе отъ Петербурга до Москвы». Тутъ разсѣваніе заразы французской, отвращеніе отъ начальства. Авторъ — мартинистъ. Я прочла тридцать страницъ. Посылка за Рылѣвымъ. Открывается подозрѣніе на Радищева». Впечатлѣніе, произведенное на императрицу чтеніемъ «Путешествія», было чрезвычайно сильно. Екатерина II, о которой въ свое время приближенный къ ней человѣкъ, П. В. Завадовскій, въ интимномъ письмѣ отзывался: «мы любимъ хвалу и въ оной не знаемъ излишества»¹⁾, которая до сихъ поръ привыкла слышать лишь истину, говоренную «съ улыбкою», иначе говоря, малую долю истины, приправленную значительною долею лести, въ книгѣ Радищева впервые столкнулась съ такою свободою рѣчи и смѣлостью критики, какихъ она ранѣе не знала въ примѣненіи къ условіямъ русскаго быта. Если уже языкъ Новиковскихъ журналовъ и Фонъ-Визинской сатиры непріятно рѣзалъ ея ухо, то Радищевское «Путешествіе» глубоко поразило и оскорбило ее. Вдобавокъ, сама Екатерина къ этой порѣ своей жизни значительно измѣнилась по сравненію съ первыми годами ея царствованія. Бывшая ученица французскихъ философовъ, всегда, впрочемъ, воздерживавшаяся отъ сколько-нибудь широкаго примѣненія ихъ теорій на практикѣ, пугливо отшатнулась отъ ихъ ученія при первыхъ признакахъ революціоннаго движенія въ Европѣ, всецѣло поставленнаго ею

¹⁾ Въ письмѣ Завадовскаго къ гр. С. Р. Воронцову, отъ 16 марта 1777 г. см. Архивъ кн. Воронцова, XXIV, 154.

о семьѣ, проданной съ молотка за долги господина»—записала Екатерина при разказѣ о продажѣ крѣпостныхъ съ аукціона. Язвительное замѣчаніе вылилось изъ-подъ ея пера и при чтеніи разсужденій автора о вредѣ крѣпостного права: «угавариваетъ помѣщиковъ освободить крестьянъ, да никто не послушаетъ». «Бѣдетъ—отозвалась она въ другомъ мѣстѣ объ авторѣ—оплакивать плачевную судьбу крестьянскаго состоянія, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы нашихъ крестьянъ у хорошаго помѣщика нѣтъ во всей вселенной». Насмѣшливое отношеніе къ автору книги, усвоенное Екатериною, и категорическое отрицаніе ею справедливости общихъ его утвержденій такъ мало, однако, были согласованы съ дѣйствительностью, что самъ суровый критикъ не только не рѣшался заподозривать правдивость отдѣльныхъ фактовъ, сообщенныхъ въ книгѣ, но даже могъ въ разказы объ нѣкоторыхъ изъ нихъ вписать имена ихъ виновниковъ, укрывтыя авторомъ: «едва ли не гисторія Александра Васильевича Салтыкова»,—приписала Екатерина, прочитавъ разказъ о помѣщикѣ, котораго крестьяне собирались убить за систематическое обезчещеніе дѣвушекъ¹⁾.

Но если такимъ образомъ въ полемикѣ, предпринятой Екатериною, преимущества, даваемые точнымъ знаніемъ фактовъ и искренностью и последовательностью мысли, въ большинствѣ случаевъ были не на ея сторонѣ, то это обстоятельство могло не облегчить, а развѣ усугубить тяжесть тѣхъ обвиненій, какія она выставляла противъ автора книги. Черезъ весь разборъ «Путешествія», написанный Екатериною, красною нитью проходитъ тенденція отыскать въ немъ противозаконныя мысли и преступныя стремленія. Въ этомъ разборѣ трудно узнать ту самую государыню, которая нѣкогда переписывала въ свой Наказъ афоризмы Монтескье, утверждая, что «все превращаетъ и опровергаетъ тотъ, кто дѣлаетъ изъ словъ преступленіе, смертной казни достойное», и что «великое было бы несчастье въ государствѣ, еслибы не смѣлъ никто представлять своего опасенія о будущемъ какомъ приключеніи... ниже свободно говорить своего мнѣнія». Тенерь общіе взгляды, высказанные въ книгѣ Радищева, представлялись въ ея глазахъ равносильными преступленію, а критика, направленная не на отдѣльныхъ лицъ, а на нравы и учрежденія, казалась ей «опорочиваніемъ всего установленнаго и принятаго». Екатерина, которая сама была, какъ хорошо знали ея современники, болѣе, чѣмъ холодна къ религіи, отмѣчала, однакоже, тѣ страницы книги Радищева, которыя «доказываютъ, что сочинитель совершенный деистъ, и несходственны православному восточному исповѣданію». Она усмотрѣла въ разбираемой ею книгѣ «ядъ французской» и мнѣнія, «уничтожающія законы и совершенно тѣ, отъ которыхъ Франція вверхъ дномъ поставлена». Идеаль воспитанія, выставленный Радище-

¹⁾ Архивъ кн. Воронцова, V, 410, 416, 420, 419, 411, 417—8.

формальнымъ слѣдствіемъ»¹⁾. Последнее передано было знаменитому начальнику тайной экспедиціи, Шешковскому. Когда Радищевъ, вызванный къ допросу, услышалъ страшное имя слѣдователя, которому поручено было его дѣло, онъ упалъ въ обморокъ²⁾. 30 іюня онъ былъ отвезенъ въ Петропавловскую крѣпость, а 2 іюля Храповицкій занесъ въ свой дневникъ такую отмѣтку: «Радищевъ, сказываютъ, препорученъ Шешковскому и сидитъ въ крѣпости».

Тяжелый ударъ, обрушившійся на Радищева, ошеломилъ его. Поставленный въ положеніе государственнаго преступника, «препорученный» прославившемуся своимъ «квотобойничаніемъ», по выраженію Потемкина, Шешковскому, предупрежденный отъ имени самой Екатерины, что упорство съ его стороны вынудитъ ее «сыскать доказательства» и сдѣлаетъ его дѣло «дурнѣе прежняго», онъ палъ духомъ. Этому содѣйствовалъ и самый характеръ допроса и обвиненій, къ нему предъявлявшихся. Шешковскій, которому Екатерина переслала свои замѣчанія на «Путешествіе», обратилъ содержаніе всѣхъ этихъ замѣчаній въ допросные пункты Радищеву. Последнему легко было доказать, что онъ при написаніи своей книги не руководился никакими мотивами личнаго раздраженія, для которыхъ не было мѣста въ его жизни и служебной дѣятельности, и не питалъ никакихъ преступныхъ замысловъ. «Если кто скажетъ,—говорилъ онъ по поводу послѣдняго пункта въ своей повинной—что я, писавъ сію книгу, хотѣлъ сдѣлать возмущеніе, тому скажу, что ошибается: первое потому, что народъ нашъ книгъ не читаетъ, что писана она слогомъ, для простаго народа невнятнымъ, что и напечатано ея очень мало, не цѣлое изданіе или заводъ, а только половина, и можетъ-ли мыслить о семъ, кто общниковъ не имѣетъ; возмогъ-ли я помыслить, что почестъ меня такимъ возможно»³⁾. Легко, наконецъ, было Радищеву доказать свою непричастность къ мнѣніямъ, несправедливо приписаннымъ ему, въ родѣ симпатіи къ мартинистамъ, простою ссылкой на свою книгу. Но затѣмъ оставался еще вопросъ о мнѣніяхъ, которыя были, несомнѣнно, высказаны Радищевымъ въ его книгѣ и которыя вмѣстѣ съ тѣмъ уже въ вопросныхъ пунктахъ были квалифицированы, какъ преступныя. Радищевъ не нашелъ въ себѣ мужества,—которое при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ онъ находился, было бы равносильно геройству,—всецѣло подтвердить эти свои мнѣнія. Онъ призналъ себя «преступникомъ», свою книгу—«пагубной», наполненной «безразсудною дерзостью», «гнусными, дерзкими и развратными выраженіями», заявилъ, что написалъ и напечаталъ ее исклю-

¹⁾ Тамже, XIII, 199, 201.

²⁾ П. А. Радищевъ, «А. Н. Радищевъ. По воспоминаніямъ сына». Р. Вѣстникъ, 1858, т. 18, с. 407.

³⁾ Архивъ кн. Воронцова, V, 428.

сообщать палатѣ, и они остались въ тайнѣ. «Многія тутъ вещи — писалъ Безбородко — никакъ не могутъ относиться къ обыкновенному трибуналу, который видитъ его преступленіе, удостовѣряется въ немъ новымъ его признаніемъ и имѣетъ прямые законы на осужденіе его. Сверхъ того, многіе вопросы, особляю же: «не имѣетъ ли онъ какого неудовольствія или обиды на ея величество?» отнюдь непристойно выводить передъ судомъ». Наконецъ, послѣдній пунктъ инструкціи содержалъ въ себѣ такое указаніе: «расскааніе до суда не касается, а въ волѣ государевой на него воззрѣть, когда судъ до его крайняго изреченія достигнетъ» ¹⁾).

Дѣйствуя въ полномъ согласіи съ данною ей инструкціей, уголовная палата предложила Радищеву указанные ей вопросы и, признавъ его по выслушаніи его отвѣтовъ виновнымъ, буквально переписала въ свой приговоръ ту часть указа 13 іюля, въ которой перечислялись преступления Радищева. Труднѣе было отыскать прямые законы, на основаніи которыхъ возможно было бы покарать эти преступления. Въ тогдашней Россіи не существовало законовъ, которые предусматривали бы преступления, за какія обвинялся Радищевъ. Изъ этого затрудненія палата вышла, примѣнивъ къ автору «Путешествія» почти всѣ статьи тогдашнихъ законовъ: Уложенія, Воинскаго Регламента и Морского Устава, — трактовавшія о государственныхъ преступленіяхъ и назначавшія за нихъ смертную казнь. Къ Радищеву были такимъ путемъ примѣнены статьи законовъ, говорившія о «ворахъ, которые чиняты въ людяхъ смуту и затѣваютъ на многихъ людей воровскимъ своимъ умышленіемъ затѣйныя дѣла», о преступникахъ, «умышляющихъ на государево здоровье злое дѣло», или желающихъ «московскимъ государствомъ завладѣти и государемъ быти», объ офицерахъ, сдавшихъ непріятелю крѣпость безъ крайности, и т. п. На основаніи всѣхъ этихъ законовъ палата 24 іюля приговорила Радищева къ смертной казни ²⁾. Въ такомъ видѣ приговоръ поступилъ въ сенатъ, согласно ст. 13 жалованной грамоты дворянству, предписывавшей дѣла о лишеніи дворянина жизни, чести или имущества вносить на разсмотрѣніе сената и на утвержденіе верховной власти. Сенатъ призналъ приговоръ палаты правильнымъ и съ своей стороны полагалъ лишь до подписанія указа о смертной казни Радищеву, «заклепавъ его въ кандалы, сослать въ каторжную работу... въ Нерчинскъ» ³⁾. 11 августа мнѣніе сената было доложено императрицѣ, которая нашла нужнымъ передать его на разсмотрѣніе существовавшего въ это время для особо важныхъ дѣлъ «совѣта ея величества». «Съ примѣтною чувствительностію — отмѣтилъ въ своемъ дневникѣ Храповицкій — при-

¹⁾ Сухомлиновъ. Изслѣдованія и статьи, I, 591.

²⁾ Якушкинъ. Судъ надъ русскимъ писателемъ въ XVIII в., Рус. Старина, 1882 г., № 9, сс. 495—501 и 505—6.

³⁾ Тамже, с. 531.

и большую суровостью. Радищеву не удалось даже передъ отъѣздомъ проститься съ своей семьей—дѣтьми отъ умершей жены и жившей съ ними свояченицей его. Прямо изъ петербургскаго губернскаго правленія, куда онъ былъ привезенъ изъ мѣста своего заключенія для выслушанія приговора, онъ и былъ отправленъ въ дорогу, причемъ правленіе отъ себя распорядилось заковать его въ кандалы. У него не было теплой одежды, — на него надѣли «гнусную нагольную шубу, взявъ ее тутъ же у сторожа или солдата». Лишь въ Новгородѣ догналъ его курьеръ съ исходатайствованнымъ гр. А. Р. Воронцовымъ приказаніемъ Екатерины снять съ него оковы и доставить ему нужныя для дороги вещи ¹⁾).

Воронцовъ и вообще принялъ большое участіе въ судьбѣ Радищева. Въ качествѣ президента коммерцъ-коллегіи онъ еще съ 1777 года былъ начальникомъ Радищева по службѣ и, услѣвъ оцѣнить въ немъ не только честнаго чиновника, но и человѣка большого образованія и высокихъ душевныхъ качествъ, дружески сблизился съ нимъ. Не покинулъ онъ Радищева и въ бѣдѣ, хотя самъ въ это время не пользовался расположеніемъ Екатерины и петербургская молва даже называла его, правда, безъ всякихъ основаній, соучастникомъ въ книгѣ Радищева. Когда состоялся уже приговоръ палаты надъ послѣднимъ и братъ его, М. Н. Радищевъ, служившій въ архангельской таможнѣ, рѣшилъ было выйти въ отставку, чтобы посвятить себя воспитанію дѣтей своего брата, Воронцовъ уговорилъ его выждать окончанія дѣла, обѣщая во всякомъ случаѣ съ своей стороны не оставить осиротѣвшей семьи. Послѣ того, какъ судьба Радищева была рѣшена указомъ 4 сентября, Воронцовъ назначилъ его семьѣ пенсію изъ своихъ средствъ и принялъ мѣры къ облегченію участи его самого. Съ этою цѣлью онъ написалъ тверскому, нижегородскому, пермскому и иркутскому губернаторамъ, прося ихъ принять зависящія отъ нихъ мѣры къ облегченію участи Радищева при проѣздѣ его черезъ ихъ губерніи, и пересылалъ черезъ нихъ деньги для Радищева, вскорѣ вступивъ съ нимъ и въ прямую переписку ²⁾). Большое сочувствіе къ судьбѣ Радищева выказывали и другія знавшія его лица. Не только купцы на биржѣ плакали, узнавъ объ его участи, но даже полицейскій чиновникъ, объявлявшій его семейству о состоявшемся надъ нимъ приговорѣ, исполнялъ это порученіе со слезами ³⁾). Приговоръ надъ авторомъ «Путешествія» многихъ изъ современниковъ поражалъ своею суровостью. Тогдашній русскій посланникъ въ Англіи, гр. С. Р. Воронцовъ, писалъ своему брату, что подобное наказаніе, наложенное за простую опрометчивость,

¹⁾ Архивъ кн. Воронцова, V, 399, 285.

²⁾ Тамже, 395—6, 396—400.

³⁾ Р. Вѣстникъ, 1838, т. 18, 409, 408.

несомненно, не ожидалъ, что его мысли будутъ вѣнены ему въ преступленіе. Тѣмъ менѣе могъ онъ ожидать для себя такой кары, какая послѣдовала въ дѣйствительности, и она глубоко потрясла его. Онъ выѣхалъ изъ Петербурга въ ссылку разбитымъ и физически, и нравственно. Трехмѣсячное заключеніе, долгая и томительная неизвѣстность о своей судьбѣ и лишенія, испытанныя въ началѣ пути, надломилъ его и безъ того слабое здоровье, и въ Москву его привезли настолько больнымъ, что здѣсь пришлось остановиться и ждать его выздоровленія. Выѣхавъ изъ Нижняго, онъ опять было заболѣлъ и болѣе или менѣе оправился, лишь подъѣзжая къ Казани. Но сильнѣе физическихъ страданій мучила его въ это время мысль о дѣтяхъ, оставшихся безъ призора и обезпеченія. «Какъ скучно вспомнить,—писалъ онъ Воронцову изъ Перми—что я живу въ разлученіи съ дѣтьми... Если кто знаетъ, что дѣйствительнымъ блаженствомъ я полагалъ быть съ ними, тотъ можетъ себя вообразить, что скорбь моя должна быть безпредѣльна». «Признаюсь,—писалъ онъ въ другой разъ—что чувствительно было видѣть на себѣ желѣзы, но разлука съ дѣтьми моими есть для меня томная смерть»¹⁾. Переживая эту скорбь разлуки съ дѣтьми и безпокойства объ нихъ, Радищевъ готовъ былъ даже винить исключительно себя въ томъ, что попалъ въ бѣду, которой не случилось бы, еслибы онъ не утаилъ своего «безразсудства» отъ Воронцова. «Невѣсть, ни сѣтовать мнѣ не на кого совершенно,—писалъ онъ послѣдному, соглашаясь съ его словами въ письмѣ къ тверскому губернатору.—Я самъ себя устроилъ бѣдствіе и стараюсь сносить казнь мою съ терпѣніемъ». Извѣстіе о томъ, что Воронцовъ принялъ на себя заботу объ его семьѣ, нѣсколько успокоило Радищева, но все же его не переставала волновать мысль о дѣтяхъ и о своей винѣ передъ ними, и въ своихъ письмахъ съ дороги къ Воронцову онъ не разъ говорить о своемъ раскаяніи въ совершенномъ проступкѣ и о намѣреніи «исправиться». Порою эти выраженія скорби и печали были очень рѣшительны, до нѣкоторой степени напоминая даже показанія, данныя Радищевымъ на допросахъ. Еще 8 марта 1797 г., въ письмѣ, отправленномъ изъ Тобольска, онъ говорилъ, что самъ навлекъ на себя несчастье «безразсудствомъ, непростительнымъ въ его годы». Восемь мѣсяцевъ спустя, въ письмѣ, посланномъ изъ Иркутска 5 ноября 1797 г., онъ опять повторялъ, что ничто не можетъ заглушить въ его душѣ печали, происходящей отъ разлуки съ дѣтьми, и что эта печаль, заставляя его раскаяваться въ совершенномъ проступкѣ, не позволила бы ему вновь «впасть въ преступленіе». «И признаюсь вамъ чисто-сердечно,—прибавлялъ онъ—каково должно быть мое поведеніе, чтобы раскаяніе изъвѣляло, не знаю»²⁾.

¹⁾ Тамже, V, 400 и XII, 428, 426.

²⁾ Тамже, V, 288; XII, 427; V, 289 и 328.

путевыя замѣтки въ формѣ дневника и прекратилъ ихъ составленіе лишь незадолго до окончанія своего длиннаго пути, 20 декабря 1791 г. ¹⁾ Эти непритязательныя замѣтки, набросанныя ихъ авторомъ исключительно для самого себя, представляютъ большой интересъ, указывая тѣ вопросы, которые привлекали къ себѣ мысль ихъ составителя. Изъ дня въ день Радищевъ, на ряду съ названіями проѣзжаемыхъ станцій и числомъ раздѣляющихъ ихъ верстъ, заносилъ въ свои замѣтки самыя разнообразныя свѣдѣнія, какія ему удавалось приобрести на пути. Геологическія наблюденія и краткія описанія мѣстности смѣняются здѣсь свѣдѣніями объ ея флорѣ и фаунѣ, а эти свѣдѣнія уступаютъ мѣсто отмѣткамъ объ этнографическихъ особенностяхъ жителей, ихъ бытѣ, промыслахъ и т. д. Экономическій бытъ населенія въ свою очередь привлекаетъ къ себѣ вниманіе автора замѣтокъ, съ особою подробностью записывавшаго въ нихъ тѣ свѣдѣнія, какія ему удавалось собрать относительно тяжелаго положенія приписанныхъ къ заводамъ крестьянъ. Очевидно, мысль писателя не только сохранила свой широкій кругозоръ и работала съ прежнею энергіей, но и возвращалась упорно на тѣ самые пути, отъ слѣдованія по которымъ Радищевъ хотѣлъ было «исправиться».

Ко времени его пріѣзда въ Сибирь эти наблюденія перешли уже въ попытки систематическаго изученія «Время моего здѣсь пребыванія — писалъ онъ изъ Тобольска — я по возможности стараюсь употребить себѣ въ пользу приобретеніемъ безпристрастныхъ о здѣшней сторонѣ свѣдѣній» ²⁾. Условія его обстановки до нѣкоторой степени благопріятствовали этому. Онъ могъ теперь менѣе тревожиться о своей семьѣ: младшія его дѣти были привезены къ нему уже въ Тобольскъ его свояченицей, Е. В. Рубановской, на которой онъ впослѣдствіи женился въ Илимскѣ, а старшія были отосланы, по его желанію, къ жившему въ Архангельскѣ брату его. Мѣстная высшая администрація, предувѣдомленная о Радищевѣ Воронцовымъ и впервые увидѣвшая въ Сибири ссыльнаго новаго типа, отнеслась къ нему мягко, и онъ могъ, не торопясь въ мѣсто своей ссылки, прожить нѣсколько мѣсяцевъ въ Тобольскѣ и болѣе двухъ мѣсяцевъ въ Иркутскѣ. Но въ концѣ концовъ надо было уѣзжать и изъ послѣдняго города, тѣмъ болѣе, что этого настоятельно требовалъ и Воронцовъ, опасавшійся новой вспышки гнѣва Екатерины. 3 января 1792 г. Радищевъ пріѣхалъ съ своею семьей въ Илимскъ, глухой городишко Иркутской губерніи, не насчитывавшій въ себѣ и 500 жителей. Здѣсь онъ прожилъ еще шесть лѣтъ, отрѣзанный отъ личныя сношеній со всѣмъ цивилизованнымъ міромъ, внѣ всякаго интеллигентнаго общества,

¹⁾ Копія этихъ замѣтокъ, какъ и замѣтокъ, веденныхъ Радищевымъ на пути изъ Сибири, любезно сообщена мнѣ В. И. Семевскимъ.

²⁾ Архивъ кн. Воронцова, V, 291.

фабрикамъ: выше мануфактуръ, которыя «за каждымъ 200, 300, 500 или 1.000 человекъ, получающихъ хлѣбъ насущный, обогащаютъ одного или двухъ гражданъ», ставить онъ такое «руководствіе», которое, «не обогащая ни одного, многимъ частнымъ и большею частію сельскимъ жителямъ доставляетъ довольственное житіе» ¹⁾). Но изъ всѣхъ трудовъ этой поры жизни Радищева наиболее важенъ для выясненія его воззрѣній и мѣста, занимаемаго имъ въ исторіи русскаго просвѣщенія, его философскій трактатъ. Толчкомъ къ написанію этого трактата, какъ указываетъ самъ Радищевъ, для него послужило «нечаянное переселеніе» въ далекую страну, разлучившее его съ близкими людьми и почти отнявшее надежду на новое свиданіе съ ними. И раньше ему не разъ приходилось задумываться надъ тѣмъ, что ожидаетъ человека за порогомъ жизни, причемъ онъ не находилъ, повидимому, вполне опредѣленнаго отвѣта на этотъ вопросъ ²⁾). Теперь ссылка заставила его чаще прежняго возвращаться къ вопросу о томъ состояніи, какое наступаетъ для человека послѣ его смерти, когда разрушается тѣло, прерывается жизнь и чувствованіе. Горечь разлуки съ близкими сдѣлала для него особенно привлекательной мысль о возможности, хотя бы и не достигающей степени очевидности, нѣкогда, если не въ этой жизни, то въ будущей, «паки облобызать своихъ друзей и сказать имъ: люблю васъ по прежнему» ³⁾). Подъ вліяніемъ такого настроенія онъ принялся за философскій трактатъ, специально посвященный вопросу о безсмертіи. Трактатъ этотъ, обнаруживающій въ авторѣ обстоятельное знакомство съ западно-европейской естественно-научной и философской литературой и рѣдкое для русскаго человека той эпохи умѣніе пользоваться приемами мыслителя, раздѣляется на четыре части. Въ первой Радищевъ устанавливаетъ необходимыя для него общія положенія и исходные пункты разсужденія: обозрѣвая жизнь человека, онъ пытается опредѣлить состояніе человека до рожденія, мѣсто, занимаемое имъ въ природѣ, его сходства съ минералами, растеніями и животными, наконецъ, его философскія и умственныя способности. Человекъ, по его взгляду, неразрывно связанъ со всею нѣпью существъ, образующихъ природу, и вмѣстѣ съ тѣмъ

¹⁾ Тамже, с. 94.

²⁾ Его колебанія нашли себѣ характерное выраженіе въ эпиграфѣ, написанной на смерть первой жены. «О, если то не ложно,—говоритъ здѣсь Радищевъ—что мы по смерти будемъ жить;—коль будемъ жить, то чувствовать намъ должно;—коль будемъ чувствовать, нельзя и не любить.—Надеждой сей себя питаю—и дни въ тоскѣ препровождая,—я смерти жду, какъ брачна дня:—умру и горести забуду,—въ объятіяхъ твоихъ я паки счастливъ буду!—Но если-жъ то мечта, что сердцу льстить, маня,—и ненавистный рокъ отъялъ тебя на вѣки,—тогда отрады нѣтъ, да льются слезны рѣки!».. Собраніе сочиненій Радищева, ч. I, с. 199.

³⁾ Собраніе сочиненій Радищева, ч. II, сс. 5—6.

лишь въ формѣ разложенія. Съ другой стороны къ тому же выводу о не-уничтожаемости души его приводило и представленіе о мірѣ, какъ о лѣтствиѣ явленій, постепенно и непрерывно возвышающейся къ совершенству. Человѣкъ заключаетъ въ себѣ всѣ силы, свойственныя низшимъ явленіямъ природы, но у него есть и специфическая сила—«мысленность». Такъ какъ однако всѣ силы въ природѣ неуничтожаемы, то тѣмъ менѣе можетъ подвергаться уничтоженію превосходнѣйшая изъ всѣхъ извѣстныхъ человѣку силъ. Наконецъ, стоя на почвѣ только что указаннаго воззрѣнія на міръ, Радищевъ и будущую жизнь души представлялъ себѣ, какъ новую ступень на лѣтствиѣ, ведущей къ совершенству, причемъ, опять-таки въ согласіи съ теоріей Лейбница, допускалъ, что въ этой новой жизни душа можетъ создать себѣ и новую, болѣе совершенную организацію ¹⁾).

Эта любопытная работа, явившаяся первою по времени попыткою перенесенія въ среду русскаго общества идей нѣмецкаго философскаго идеализма въ томъ видѣ, какъ онѣ сложились въ моментъ, непосредственно предшествовавшій Канту, въ свое время не была напечатана и появилась въ свѣтъ вмѣстѣ съ другими трудами Радищева, послѣдовавшими за «Путешествіемъ», лишь послѣ смерти автора, въ 1809 г., когда она не обратила на себя ничьего вниманія.

Среди неустанной умственной дѣятельности, наполнявшей досуги илимскаго узника, постепенно ослабѣвали болѣзненные ощущенія, пережитыя имъ въ первый моментъ постигшей его кары, и, оглядываясь на прошлое, Радищевъ получалъ возможность спокойнѣе судить о немъ и сознательнѣе оцѣнивать ту роль, какая досталась на его собственную долю въ развитіи русскаго общества. Ссылка по прежнему давила его тяжестью соединенныхъ съ ней лишеній, но, мечтая объ облегченіи этой тяжести, онъ не сгибался болѣе подъ нею. Въ своемъ «Письмѣ о китайскомъ торгѣ» онъ говорилъ, что счелъ бы благодареніемъ, еслибы ему позволено было въ цѣляхъ изученія Сибири отлучаться изъ мѣста его пребыванія. «Если—съ нескрываемою горечью прибавляетъ онъ — глаголь мой заразителенъ, если дышу

¹⁾ Ср. Е. Бобровъ. Философія въ Россіи. Матеріалы, изслѣдованія и замѣтки. Вып. III. Казань. 1900. (П. А. Н. Радищевъ, какъ философъ). Г. Боброву принадлежит несомнѣнная заслуга перваго въ литературѣ рѣшительнаго указанія на ученіе Лейбница, какъ на источникъ философскихъ воззрѣній Радищева. Но при этомъ онъ ограничился лишь пересказомъ труда Радищева и приведеніемъ историко-литературныхъ справокъ объ упоминаемыхъ въ этомъ трудѣ писателяхъ, не давъ сколько-нибудь обстоятельнаго разбора и оцѣнки его. Такой разборъ данъ въ послѣднее время П. Н. Милюковымъ въ его «Очеркахъ по исторіи русской культуры», ч. III, вып. 2 (Спб. 1903, сс. 378—202). Между прочимъ, названный авторъ впервые указалъ на то, что въ своей защитѣ идеи безсмертія Радищевъ пользовался главнымъ образомъ книгою Мендельсона: «Phaedon oder über die Unsterblichkeit der

«Распродавъ или раздавъ все въ Илимскѣ, на что употребилъ я 10 дней, мы выѣхали, при стеченіи всѣхъ почти Илимскихъ жителей, въ 3 часа пополудни. О, koliko возрадовалось сердце наше!.. и еслибы не предстояла горестъ о потеряннѣ Анютушки, которую заранѣе предузнавають, то выѣздъ нашъ былъ бы торжественный»... Со дня выѣзда изъ Илимска Радищевъ вновь началъ вести дневникъ и продолжалъ его до пріѣзда своего въ Москву 11 іюля 1797 г. Нося въ общемъ тотъ же характеръ, что и замѣтки, введенныя на пути въ Сибирь, этотъ дневникъ отличается большею подробностью сдѣланныхъ въ немъ записей и обиліемъ внесенныхъ въ него бытовыхъ свѣдѣній. Какая-либо опредѣленная система записей отсутствуетъ въ немъ: авторъ то отводитъ цѣлыя страницы на запись слышанныхъ имъ мѣстныхъ преданій и разсказовъ и на описаніе поразившихъ его воображеніе видовъ, то заноситъ въ свой дневникъ рядъ краткихъ отмѣтокъ о различныхъ явленіяхъ экономической и социальной жизни населенія, привлекавшихъ къ себѣ его вниманіе, перемеживая ихъ съ такими же краткими записями о различныхъ происшествіяхъ, какія ему пришлось наблюдать во время пути. Ключъ ко многимъ изъ этихъ отмѣтокъ и записей въ настоящее время потерянъ безвозвратно, но въ тѣхъ конспективныхъ наброскахъ, какіе онѣ представляютъ собою, живо чувствуется пылливый и глубокій умъ автора «Путешествія», быстро схватывавшій характерныя черты наблюдаемыхъ явленій и связывавшій въ одно стройное цѣлое разнородныя впечатлѣнія, получаемыя отъ окружающей дѣйствительности. Среди разнообразныхъ замѣтокъ, составляющихъ содержаніе дневника, особенно часто мелькаютъ свѣдѣнія, относящіяся къ быту поселенцевъ и крестьянъ Сибири и помѣщичьихъ крѣпостныхъ русскихъ губерній. На первыхъ же страницахъ дневника авторъ записываетъ собранныя имъ свѣдѣнія о бытѣ и работахъ крестьянъ, приписанныхъ къ Колывановоскресенскимъ заводамъ. При проѣздѣ черезъ барабинскій округъ онъ отмѣчаетъ тѣ улучшенія, какія ему пришлось наблюдать въ жизни мѣстныхъ поселенцевъ, и прибавляетъ: «можно предсказать, что если раззорительная рука начальства частнаго не простретъ свое опустошеніе, если равняющаяся огню для сельскаго жителя приписка къ заводамъ не распространится на барабинскихъ жителей, то благосостояніе ихъ будетъ лучше и лучше». Плывя по Камѣ и Волгѣ съ караваномъ судовъ, нагруженныхъ желѣзомъ, Радищевъ заноситъ въ свой дневникъ наблюденія надъ порядками каравана и обращеніемъ съ рабочими, свѣдѣнія о размѣрахъ оброка помѣщичьихъ крестьянъ въ окрестныхъ селахъ, разсказы о разбойникахъ, грабившихъ по преимуществу дворянъ. Такимъ образомъ и въ эти мѣсяцы возвращенія изъ ссылки въ Радищевъ, повидимому, ни на минуту не ослабѣвалъ горячій интересъ къ положенію крестьянства, и онъ не переставалъ внимательно вглядываться въ условія этого положенія и въ тѣ факты протеста противъ крѣпостничества, какіе порою являла крестьянъ.

даютъ его остальные силы». Господинъ можетъ, далѣе, «заставить крестьянина работать, сколько хочетъ». Законъ Павла о трехдневной барщинѣ, вызвавшій въ свое время горячія похвалы со стороны нѣкоторыхъ нетребовательныхъ защитниковъ крестьянства, не имѣетъ серьезнаго значенія въ глазахъ Радищева, дающаго ему трезвую и справедливую оцѣнку. «Нынѣ—замѣчаетъ онъ—только запрещено работать по воскресеньямъ и совѣтомъ сказано, что довольно трехъ дней на господскую работу; но на нынѣшнее время законоположеніе сіе невеликое будетъ имѣть дѣйствіе, ибо состояніе ни земледѣльца, ни двороваго не опредѣлено». Указывая затѣмъ, что помѣщики располагаютъ правомъ суда и наказанія надъ крестьяниномъ, можетъ распоряжаться его имуществомъ и дѣтьми и принуждать его къ браку, Радищевъ заключаетъ, что по отношенію къ помѣщику «земледѣлецъ есть рабъ совершенно»: помѣщикъ не можетъ лишь «уволить селянина своего отъ государственныхъ податей, отъ наказанія за преступленія, заставить жениться на роднѣ и въ посты ѣсть мясо». Между тѣмъ по отношенію къ государству крестьянинъ обязанъ только «жить на одномъ мѣстѣ, но и то, доколѣ господинъ его хочетъ; отдавать рекрутъ всякаго рода, какіе бы ни были; платить подати; судиму быть за общественныя преступленія въ судебныхныхъ мѣстахъ». Если крестьянинъ что и имѣетъ, то лишь въ силу милости господина. «Но кажется,—прибавляетъ авторъ—поелику поселянинъ платить подать, то онъ для удовлетворенія тому долженъ имѣть собственность, и проч.»¹⁾ На этомъ Радищевъ и останавливаетъ свое разсужденіе о крестьянахъ, обрывая мысль на полусловѣ, но уже одинъ характеръ даннаго имъ перечня помѣщичьихъ правъ въ связи съ требованіемъ земельной собственности для крестьянина достаточно ясно говоритъ, что авторъ «Путешествія» и въ эту эпоху своей жизни сохранилъ не только свой интересъ къ положенію крестьянства, но и свои широкіе реформаторскіе планы.

Воцареніе имп. Александра I, казалось, открыло дорогу къ проведенію этихъ плановъ въ дѣйствительную жизнь. Черезъ три дня послѣ своего восшествія на престолъ онъ «простилъ и освободилъ» изъ ссылки и заточенія 156 лицъ, осужденныхъ тайной экспедиціей, возвративъ при этомъ чины и дворянство тѣмъ изъ нихъ, которые при осужденіи были лишены ихъ. Въ числѣ этихъ лицъ находился и Радищевъ. Пять мѣсяцевъ спустя, 6 августа 1801 г., онъ былъ назначенъ членомъ находившейся подъ предсѣдательствомъ гр. Завадовскаго комиссіи о составленіи законовъ, цѣлью дѣятельности которой являлось созданіе общаго руководящаго плана работъ по различнымъ отраслямъ законодательства. Гласно выраженное намѣреніе новаго государя «поставить въ единомъ законѣ начало и источникъ народнаго блаженства» придавало, повидимому, работамъ комиссіи особенное значеніе, и Радищевъ ревностно взялся за представив-

¹⁾ Собраніе сочиненій Радищева, М. 1811 г., ч. IV, 99, 145—7.

щевъ умеръ—писаль одинъ изъ младшихъ его современниковъ¹⁾ — и, какъ сказываютъ, насильственною, произвольною смертью. Какъ согласить сіе дѣйствіе съ непоколебимою твердостью философа, покоряющагося необходимости и радѣющаго о благѣ людей въ самомъ изгнаніи, въ ссылкѣ, въ несчастіи, будучи отчужденнымъ круга родныхъ и друзей? — Или позналъ онъ ничтожность жизни человѣческой? или отчаялся онъ, какъ Врутъ, въ самой добродѣтели? — Положимъ перстъ на уста наши и пожалѣемъ объ участи человечества».

Горячему защитнику интересовъ народной массы, исходившему въ своей дѣятельности изъ идеала общественнаго равенства и свободнаго развитія человѣческой личности, не нашлось такимъ образомъ мѣста въ русской дѣятельности на рубежѣ XVIII и XIX вѣковъ, и богатая идейнымъ содержаніемъ жизнь писателя-гражданина оборвалась трагическимъ концомъ. Но эта трагическая судьба самого писателя еще не рѣшала вопроса о судьбѣ его идей въ современномъ ему обществѣ. На судъ, происходившемъ въ 1790 г., Радищевъ совершенно правильно показывалъ, что онъ при составленіи своей книги «общниковъ не имѣлъ». Не имѣлъ онъ сообщниковъ и втеченіе всей послѣдующей своей дѣятельности, оставаясь въ ней совершенно одинокимъ. Но слѣдуетъ-ли изъ этого, что вся эта дѣятельность не установила и никакого общенія между идеями писателя и умственною жизнью современнаго ему общества, пройдя для послѣдней совершенно безслѣдно?

Тѣ условія, въ какихъ проходила литературная дѣятельность Радищева, сами по себѣ уже затрудняли пріобрѣтеніе писателемъ вліянія на общество. Они не только создавали крайне неблагопріятную внѣшнюю обстановку для дѣятельности самого писателя, но и ставили серьезные преграды на пути къ проникновенію достигнутыхъ ею результатовъ въ читательскую среду. Несомнѣнно, что, благодаря этому, далеко не всѣ плоды богатой и разно-

нія, въ которомъ предлагалъ отмѣнить тѣлесныя наказанія, уничтожить табель о рангахъ, ввести гласный судъ присяжныхъ, установить свободу вѣроисповѣданія и свободу книгопечатанія, освободить крѣпостныхъ и прекратить продажу людей въ рекруты, ввести поземельную подать вмѣсто подушной, установить свободу торговли и отмѣнить строгіе законы противъ ростовщиковъ и несостоятельныхъ должниковъ (Р. Вѣстникъ, 1858, т. 18, 424—5). Сухомлиновъ усматриваетъ въ такой передачѣ проекта нѣкоторое подновленіе и, не найдя никакого общаго проекта Радищева въ архивѣ коммисіи о составленіи законовъ, склоненъ предполагать, что такого проекта и не существовало (назв. соч., сс. 620—4). Но о проектѣ Радищева и его послѣдствіяхъ говорить и цитированный уже нами товарищъ Радищева по коммисіи—Ильинскій. По его словамъ, Радищевъ «написалъ коммисіи такое мнѣніе, что она должна быть поставлена почти вмѣсто сената и для составленія лучшихъ и твердыхъ законовъ требовать не только о производствѣ дѣлъ отчета, но и о всѣхъ приходахъ и расходахъ казенныхъ».

¹⁾ Борнъ въ альманахѣ «Свитокъ музъ», СПб. 1803.

если не въ печатныхъ, то въ рукописныхъ экземплярахъ и въ далекіе провинціальныя углы: самъ Радищевъ, возвращаясь въ 1797 г. изъ ссылки, нашелъ копію своей книги въ Кунгурѣ ¹⁾. Наконецъ, по свидѣтельству Гельбига, рукописное «Путешествіе» проникло и за границу, и многіе отрывки изъ него были помѣщены въ «Эндорскомъ Оракулѣ» («Das Orakel zu Endor»), издававшемся въ Лейпцигѣ въ 1794—5 гг. Самъ по себѣ этотъ фактъ распространенія книги Радищева, конечно, не говоритъ еще объ его вліяніи на современное ему общество, какъ и сочувствіе разныхъ лицъ въ обществѣ къ судьбѣ автора «Путешествія» не говорятъ еще о сочувствіи къ его идеямъ. Если судьба Радищева могла вызывать и вызывала дѣйствительно сочувствіе къ нему даже у лицъ, не раздѣлявшихъ его идей, то и успѣхъ его книги въ извѣстной мѣрѣ могъ быть созданъ тяготѣвшимъ надъ ней запретомъ. Но у насъ есть и свидѣтельства, говорящія, что успѣхъ «Путешествія» не былъ исключительно внѣшнимъ и что, по крайней мѣрѣ, часть общества оцѣнила по достоинству значеніе идей, высказанныхъ Радищевымъ въ этомъ его произведеніи.

Въ одномъ рукописномъ сборникѣ 1792 г. есть такой «Отвѣтъ г-на Радищева, во время проѣзда его черезъ Тобольскъ любопытствующему узнать о немъ»:

Ты хочешь знать, кто я? что я? куда я ѣду?
Я тотъ же, что и былъ, и буду весь мой вѣкъ:
Не скотъ, не дерево, не рабъ, но человекъ.
Дорогу проложить, гдѣ не бывало слѣду,
Для борзыхъ смѣльчаковъ и въ прозѣ, и въ стихахъ,
Чувствительнымъ сердцамъ и истинѣ я въ страхъ
Въ острогъ Илимскій ѣду ²⁾.

Если даже предположить, какъ дѣлаетъ это г. Якушкинъ ³⁾, что стихотвореніе это принадлежитъ самому Радищеву, то включеніе его въ сборникъ все же показываетъ, что въ обществѣ были люди, живо интересовавшіеся, хотя бы и со словъ самого писателя, общимъ смысломъ его дѣятельности. Опредѣленіе этой дѣятельности, весьма близкое по своему содержанію къ приведенному стихотворенію, дано было по смерти Радищева двумя молодыми писателями. «Друзья! — писалъ цитированный уже нами Борнъ въ своемъ некрологѣ Радищева — посвятимъ слезу сердечную памяти Радищева.

¹⁾ Изъ рукописнаго дневника Радищева. Издать эту книгу въ Россіи безъ всякихъ ограниченій оказалось возможнымъ только въ 1905 г. Издатели—Н. П. Сильванскій и П. Е. Щеголевъ—присоединили къ ней біографію Радищева, написанную первымъ изъ нихъ, и статью о рукописи «Путешествія», написанную вторымъ.

²⁾ Приведено г. Ефремовымъ въ его примѣчаніяхъ къ «Живописцу», изд. 1864 г., с. 349.

³⁾ Р. Старина, 1882, № 9, с. 519.

IV.

Изъ пушкинской эпохи.

(Л. Майковъ. *Пушкинъ*. Біографическіе матеріалы и историко-литературныя очерки. СПБ. 1899).

Въ нашей литературѣ накопилось немалое количество работъ, посвященныхъ Пушкину, его произведеніямъ и его жизни. Вышедшій въ 1886 г. спеціальный каталогъ Межова, далеко неполный, насчитывалъ все же болѣе четырехъ съ половиною тысячъ книгъ, статей и замѣтокъ, такъ или иначе относящихся къ творчеству Пушкина либо къ его біографіи. Съ той поры эта Пушкинская литература значительно разрослась. Тѣмъ не менѣе, при всей видимой громадности ея размѣровъ, въ ней и теперь еще продолжаютъ существовать весьма серьезные и ощутительныя пробѣлы. Не смотря на то, что мы не такъ давно отпраздновали столѣтнюю годовщину рожденія великаго поэта, мы и до сихъ поръ не имѣемъ, въ сущности, ни поднаго изданія его сочиненій, ни обстоятельной его біографіи, удовлетворяющей тѣмъ требованіямъ, какія естественно предъявить къ біографіи Пушкина. Даже лучшія изъ существующихъ пока изданій сочиненій Пушкина, — вышедшее въ 1887 г. подъ редакціей П. О. Морозова изданіе Литературнаго Фонда и вышедшее въ 1903-5 гг. изданіе Суворина подъ редакціей П. А. Ефремова, — не могутъ считаться свободными отъ нѣкоторыхъ серьезныхъ недостатковъ, и главнымъ изъ нихъ является именно неполнота. Несравненно хуже еще обстоитъ дѣло съ біографіей поэта. Труды Анненкова: «А. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи и оцѣнки произведеній» и «А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху», въ свое время имѣвшіе весьма большое значеніе и отчасти сохраняющіе его и теперь, во всякомъ случаѣ сильно устарѣли, какъ по матеріалу, положенному въ ихъ основу, такъ и по взглядамъ ихъ автора. Между тѣмъ, за исключеніемъ этихъ трудовъ, вся остальная литература, относящаяся къ жизни Пушкина, представляетъ лишь краткіе біографическіе очерки, либо изслѣдованія, порой, правда, очень обстоятельныя и цѣнныя, отдѣльныхъ моментовъ и частныхъ сторонъ въ жизни поэта, либо, наконецъ, простые и весьма разнокачест-

передает новыя подробности объ отношеніяхъ Пушкина къ семьѣ Ушаковыхъ, во второй—набрасываетъ характеристику извѣстной въ свое время въ придворныхъ и свѣтскихъ кругахъ родственницы жены Пушкина. Впрочемъ, эта послѣдняя статья—едва-ли не самая слабая въ книгѣ. Не сообщая ничего новаго сравнительно съ свѣдѣніями, оставленными о Загряжской самимъ Пушкинымъ и А. А. Васильчиковымъ, она не даетъ и яркой характеристики этой, во всякомъ случаѣ, любопытной и оригинальной фигуры стараго времени. Наконецъ, еще въ двухъ статьяхъ («Кн. П. А. Вяземскій и Пушкинъ объ Озеровѣ» и «Пушкинъ о Батюшковѣ»), основанныхъ на рукописяхъ Пушкина, г. Майковъ знакомитъ читателя съ Пушкинымъ, какъ съ литературнымъ кригикомъ, набрасывавшимъ свои критическія замѣчанія для своихъ друзей и самого себя. Обѣ эти статьи, представляя немалый интересъ для характеристики литературныхъ взглядовъ Пушкина во второй половинѣ двадцатыхъ годовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря уже самому характеру матеріала, положеннаго въ ихъ основу, по необходимости являются нѣсколько отрывочными и не даютъ цѣльнаго представленія о Пушкинѣ-критикѣ.

Такимъ образомъ главный интересъ книги г. Майкова сосредоточивается на матеріалахъ, относящихся къ жизни Пушкина. Въ свою очередь эти матеріалы имѣютъ далеко не одинаковую цѣнность и значеніе. Разсказы Т. С. Пушкина и Вельмана, давно уже извѣстные въ литературѣ, не отличаются ни точностью, ни богатствомъ свѣдѣній и, вопреки настояніямъ г. Майкова, не заключаютъ въ себѣ большого интереса. Воспоминанія Шевырева, М. И. Пущина и Даля, впервые опубликованныя г. Майковымъ¹⁾, различаясь между собою по степени точности сообщеній, сходны въ томъ, что, принадлежа людямъ, довольно далеко стоявшимъ отъ Пушкина, передаютъ лишь мелочныя, хотя порой и характерныя, подробности изъ разныхъ періодовъ его жизни. Дневникъ А. Н. Вульфа, самъ по себѣ способный заинтересовать читателя, заключаетъ въ себѣ и нѣкоторыя, подчасъ весьма любопытныя, свѣдѣнія относительно Пушкина, но эти свѣдѣнія во всякомъ случаѣ обрисовываютъ не болѣе, какъ отдѣльныя черты въ жизни поэта и во взглядахъ на него его современниковъ. Совершенно иной характеръ имѣютъ воспоминанія А. П. Кернъ и И. И. Пущина. Разсказы А. П. Кернъ о Пушкинѣ въ свое время печатались въ различныхъ изданіяхъ, въ книгѣ же г. Майкова изъ этихъ разсказовъ собрано все то, что непосредственно относится къ Пушкину, и дополнено свѣдѣніями о самой г-жѣ Кернъ. Ея разсказы даютъ яркую характеристику поэта въ

¹⁾ Слѣдуетъ отмѣтить, что другой, болѣе короткій, разсказъ М. И. Пущина о встрѣчѣ его съ Пушкинымъ въ 1829 г. былъ уже напечатанъ въ сдѣланномъ бар. Е. А. Розеномъ извлеченіи изъ записокъ Пущина: «Декабристы на Кавказѣ», — Р. Старина, 1894 г., т. 41, сс. 303—338.

свѣдѣнія, не будетъ совершенно бесполезенъ, какъ попытка ближе подойти къ опредѣленію дѣйствительнаго характера связи между поэтомъ и обществомъ его времени.

Первыя связи съ обществомъ, первое знакомство съ волновавшими его идеями были заключены Пушкинымъ еще на школьной скамьѣ. Уже поступая въ лицей, двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, онъ выдавался среди своихъ товарищей не только способностями, но и знаніями. «Всѣ мы видѣли,—писалъ впоследствии Пушкинъ, припоминая обстоятельства своего поступленія въ лицей,—что Пушкинъ насъ опередилъ, многое прочелъ, о чемъ мы и не слыхали, все, что читалъ, помнилъ: но достоинство его состояло въ томъ, что онъ отнюдь не думалъ выказываться и важничать, какъ это очень часто бываетъ въ тѣ годы съ скороспѣлками, которые по какимъ-либо особеннымъ обстоятельствамъ и раньше, и легче находить случай чему-нибудь выучиться» ¹⁾). Между тѣмъ школьные годы Пушкина проходили въ такой обстановкѣ, которая могла бы способствовать быстрому росту и не столь выдающагося ума. Нашествіе Наполеона, громъ войны 12-го года, съ ея пораженіями и побѣдами, позднѣе походъ русскихъ войскъ за границу, закончившійся взятіемъ Парижа,—всѣ эти событія, изъ ряду вонъ выходившія, вліяли на воображеніе, развивали умъ и чувство современниковъ, даже тѣхъ, которые сидѣли еще на скамьяхъ средней школы. Лицей въ этомъ отношеніи находился, быть можетъ, въ особенно благоприятныхъ условіяхъ. Среди учебныхъ заведеній столицы онъ занималъ особое мѣсто, не всегда даже понятное для окружающихъ. Пушкинъ въ своихъ запискахъ сохранилъ забавный рассказъ о томъ, какъ опредѣлялъ это мѣсто-лицей гр. Милорадовичъ. «Въ 1817 году,—рассказываетъ онъ—когда послѣ выпуска мы шестеро, назначенные въ гвардію, были въ лицейскихъ мундирахъ на парадѣ гвардейскаго корпуса, подъѣзжаетъ къ намъ гр. Милорадовичъ, тогдашній корпусный командиръ, съ вопросомъ: что мы за люди и какой это мундиръ? Услышавъ нашъ отвѣтъ, онъ нѣсколько задумался, и потомъ очень важно сказалъ окружающимъ его: «Да, это не то, что университетъ, не то, что кадетскій корпусъ, не гимназія, не семинарія—это... лицей». Поклонился, повернул лошадь и ускакалъ» ²⁾). На первыхъ порахъ своего существованія лицей смущалъ и ставилъ втупикъ не одного гр. Милорадовича, хотя не всѣ, можетъ статься, умѣли такъ побѣдоносно выйти изъ затрудненія, какъ этотъ храбрый генералъ. Соединяя въ себѣ среднюю и высшую школу, порядки закрытаго учебнаго заведенія съ широкой свободой воспитанниковъ внутри

¹⁾ Майковъ, назв. соч., 45.

²⁾ Тамже, 43—4.

со стороны лицестовъ профессорскихъ тетрадокъ, но, какъ бы то ни было, онъ съумѣлъ приобрести вліяніе на своихъ учениковъ. Спустя восемь лѣтъ по выходѣ изъ лицей Пушкинъ не усумнился въ теплыхъ словахъ признать благотворность этого вліянія: «онъ создалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ пламень,—поставленъ имъ краеугольный камень,—имъ чистая лампада вожжена». Въмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря сравнительной свободѣ лицестовъ, у нихъ легко завязывались сношенія и въѣ стѣя самого лица, и для Пушкина они скоро приобрѣли болѣе значенія, чѣмъ дружба товарищей и вліяніе преподавателей. Въ то время, какъ рано сказавшійся талантъ быстро выдвинулъ его изъ ряда сверстниковъ и далъ ему возможность войти въ качествѣ равнаго въ кругъ поэтовъ и литераторовъ Арзамаса, сосѣдство лица съ квартировавшимъ въ Парскомъ Селѣ лейбъ-гусарскимъ подкомъ ввелъ Пушкина и его товарищей въ среду гвардейской молодежи.

Вліяніе на Пушкина этой среды перѣдко изображалось почти исключительно темными красками, равно какъ во вліяніи Арзамаса подчеркивались по преимуществу—и едва-ли правильно—лишь свѣтлыя его стороны. Между тѣмъ, нѣтъ сомнѣнія, что военные кружки этой эпохи могли научить входившаго въ нихъ юношу не одному лишь разгулу. Офицерское общество данной поры было богато особенностями, въ такомъ размѣрѣ не свойственными ему ни раньше, ни позже. Патриотическій порывъ двѣнадцатаго года бросилъ въ ряды войска немалое количество дворянской образованной молодежи и приподнял настроеніе тѣхъ, которые уже ранѣе стояли въ этихъ рядахъ. Этотъ порывъ не могъ разрѣшиться однимъ шовинистическимъ увлеченіемъ, громомъ отечественнаго оружія. Для этого обстоятельства были слишкомъ сложны, среда, на которой приходилось дѣйствовать, слишкомъ громадна и полна неожиданностей. Передъ глазами владѣльцевъ крѣпостныхъ душъ, владѣльцевъ, болѣе или менѣе наивно увѣренныхъ въ полномъ безсмысліи и равнодушіи массы, въ ея лицѣ внезапно выступилъ на историческую арену народъ, самостоятельно поднявшійся на защиту родины отъ нашествія врага, для возбужденія своего патриотизма не нуждавшійся ни въ синодскихъ увѣщаніяхъ¹⁾, ни въ статьяхъ спеціально для этой цѣли выпясаннаго изъ Германіи публициста Арида, ни въ Расточчинскихъ афишкахъ. Когда затѣмъ народная война подготовила силы Наполеона и, гордя своимъ подвигомъ, русскія войска двинулись освобождать другія

1) Какъ извѣстно, во время предвѣдущей войны съ Франціей Синодъ разослалъ по церквамъ объявленіе, въ которомъ Наполеонъ назывался даже Мессіей, поклоняющимся языческимъ богамъ и стремящимся возстановить еврейскій синагогъ,—см. Шильдеръ, Имп. Александръ I, его жизнь и царствованіе, Спб., 1897, т. II, сс. 156 и 352—8. Весьма возможно, что это объявленіе не осталось безъ вліянія на отождествленіе въ народѣ Наполеона съ антихристомъ.

баума и слушала благодарственный молебенъ, который служилъ оберъ-священникъ Державинъ. Во время молебствія полиція нещадно била народъ, пытавшійся приблизиться къ выстроеному войску. Это произвело на насъ первое неблагоприятное впечатлѣніе по возвращеніи въ отечество... За нимъ не замедлили послѣдовать и другія. «Въ 14-мъ году, по словамъ того же лица, существованіе молодежи въ Петербургѣ было томительно. Въ продолженіи двухъ лѣтъ мы имѣли передъ глазами великія событія, рѣшившія судьбы народовъ, и нѣкоторымъ образомъ участвовали въ нихъ; теперь было невыносимо смотрѣть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариковъ, выхваляющихъ все старое и отрицающихъ всякое движеніе впередъ. Мы ушли отъ нихъ на 100 лѣтъ впередъ»¹⁾.

На первыхъ порахъ однако все роковое значеніе этого скачка не было ясно даже людямъ, сдѣлавшимъ его. Недостатки, оказавшіеся въ русской дѣйствительности, казалось, требовали лишь выясненія и затѣмъ исправленіе ихъ становилось уже вопросомъ недолгаго времени. Въ гвардейскихъ казармахъ Петербурга шли между офицерами оживленныя бесѣды на эту тему. «Въ бесѣдахъ нашихъ обыкновенно разговоръ былъ о положеніи Россіи. Тутъ разбирались главные язвы нашего отечества: закоснѣлость народа, крѣпостное состояніе, жестокое обращеніе съ солдатами, которыхъ служба въ теченіе 25 лѣтъ почти была каторгой, повсемѣстное лихоимство, грабительство и, наконецъ, явное неуваженіе къ человѣку вообще». Отъ бесѣдъ, начатыхъ въ своей товарищеской средѣ, естественно было перейти къ дальнѣйшей пропагандѣ выработанныхъ взглядовъ, и эта пропаганда была поведена тѣмъ съ болѣе жаромъ, что для большинства людей, повернувшихъ на новый путь, косность общественной среды представлялась пока единственнымъ препятствіемъ къ осуществленію ихъ взглядовъ въ жизни. Эта косность и въ самомъ дѣлѣ сильно давала о себѣ знать. «На каждомъ шагѣ встрѣчались Скалозубы не только въ арміи, но и въ гвардіи, для которыхъ было не понятно, чтобы изъ русскаго человѣка возможно выправить годнаго солдата, не изломавъ на его спинѣ нѣсколько воезовъ палокъ. Всѣ почти помѣщики смотрѣли на крестьянъ своихъ, какъ на собственность, вполнѣ имъ принадлежащую, и на крѣпостное состояніе, какъ на священную старину, до которой нельзя было коснуться безъ потрясенія самой основы государства. По ихъ мнѣнію, Россія держалась однимъ только благороднымъ сословіемъ, а съ уничтоженіемъ крѣпостнаго состоянія уничтожалось и самое дворянство. По мнѣнію тѣхъ же старовѣровъ, ничего не могло быть пагубнѣе, какъ приступить къ образованію народа. Вообще свобода мыслей тогдашней молодежи пугала всѣхъ, но эта молодежь, вездѣ высказывала смѣло слово истины»²⁾.

¹⁾ Записки Якушкина, сс. 3—4, 5.

²⁾ Тамже, сс. 8—10, 24—5.

бегнуть влиянию идей, съ такой могучей властью подчинявших себя его сверстников. Въ своих первых поэтических опытах, относящихся къ тому времени, когда еще не совсем угасла борьба союзников съ Наполеономъ, онъ не пошелъ по торной дорогѣ военнаго патриотизма и не то съ робостью, не то съ насмѣлкой отклонилъ призывы ступить на эту дорогу¹⁾. Немногія стихотворенія, написанныя имъ на эти темы, не принадлежатъ къ числу лучшихъ его произведеній лицейской поры. Но уже въ тѣхъ же лицейскихъ стихотвореніяхъ, среди анакреонтическихъ и элегическихъ пьесъ, встречаются и первые проблески гражданскихъ мотивовъ, приурочиваемыхъ, правда, пока къ классическимъ темамъ²⁾. Съ выходомъ Пушкина изъ лицея, со вступленіемъ его въ болѣе широкое общество эти мотивы быстро разрастаются въ его поэзіи, сбрасывая съ себя классическую одежду и принимая чаще всего сатирическую форму. Нѣтъ сомнѣнія, что самому поэту эпиграммы и злая шутка, срывавшіяся съ его устъ, нрѣдко, особенно въ первое время, представлялись болѣе или менѣе невинною, хотя и дерзкою насмѣшкой, такъ жѣтко охарактеризованною имъ самимъ въ посланіи къ В. В. Энгельгардту 1819 г.³⁾. Но иначе смотрѣло на это общество, да и звуки Пушкинской лиры быстро крѣпли. Въ короткое время, какъ бы мимоходомъ юный поэтъ успѣлъ, однако, затронуть почти все обсуждавшіяся въ либеральныхъ кружкахъ Петербурга темы, порою выказывая при этомъ поразительную энергію. Во главѣ подобныхъ произведеній его этой поры стоитъ знаменитое первое посланіе къ Чаадаеву, такъ ярко схватывавшее настроеніе современной поэту петербургской молодежи и еще и теперь не утратившее своей свѣжести.

Любви, надежды, гордой славы

Недолго гѣшилъ насъ обманъ:

Исчезли юныя забавы,

Какъ дымъ, какъ утренній туманъ!

Но въ насъ кипятъ еще желанья:

1) «Къ Батюшкову», 1815 г., Сочиненія Пушкина, I, 77—8; здѣсь, какъ и вездѣ далѣе, я цитирую по изданію Литературнаго Фонда.

2) «Я сердцемъ римлянинъ; кизитъ въ груди свобода».

Во мнѣ не дремлетъ духъ великаго народа...»

«Лицинію», 1815 г.; тамже, I, 72.

3) Тамже, I, 199: «...Пріѣду я

Въ началѣ мрачномъ октября:

Съ тобою нить мы будемъ снова,

Открытымъ сердцемъ говоря

Насчетъ глупца, вельможи злова,

Насчетъ холопа записнова,

Насчетъ небеснаго Царя,

А иногда насчетъ земнова».

прекрасные стихи, но и преувеличенія насчетъ псковского хамства». Въ другой разъ онъ же, послѣ присылки Вяземскимъ стихотворенія о Сибиряковѣ, поэтѣ-крѣпостномъ, за выкупъ котораго его помѣщикъ Масловъ требовалъ 10,000 р., сообщалъ: «Пушкинъ бѣсится, что ты отнял у него такой богатый сюжетъ, а я этому радъ, ибо онъ пересодилъ бы самое негодование»¹⁾. Оду «Вольность», или, какъ она иначе называлась, «стансы на свободу», Тургеневъ не рѣшался даже отправлять почтою къ Вяземскому въ Варшаву: «я боюсь—писать онъ—и за него, и за тебя посылать ихъ къ тебѣ. Les murs peuvent avoir des yeux et meme des oreilles»²⁾. За то среди либерально настроенной молодежи эти произведенія встрѣчали живое сочувствіе и восхищеніе. «Вездѣ—разсказываетъ Пушкинъ—ходили по рукамъ, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! Въ Россію скачешь...» и другія мелочи въ томъ же духѣ. Не было живого человѣка, который не зналъ бы его стиховъ»³⁾. Почти тѣми же словами говорить и другой современникъ: «всѣ его не напечатанныя стихотворенія: Деревня, Четырехстишіе къ Аракчееву, Посланіе къ П. Чаадаеву и много другихъ, были не только всѣмъ извѣстны, но въ то время не было сколько-нибудь грамотнаго прапорщика въ арміи, который не зналъ ихъ наизусть»⁴⁾. Въ этихъ произведеніяхъ многіе представители молодого поколѣнія находили отраженіе собственныхъ идей и чувствъ, и тѣмъ быстрѣе росла извѣстность поэта.

По отношенію къ передовымъ кружкамъ тогдашней молодежи Пушкинъ не былъ однако ихъ лѣвцомъ и вдохновителемъ, какъ не былъ и простымъ ихъ отголоскомъ. Если для послѣдней роли онъ былъ слишкомъ самостоятеленъ, то для первой ему не доставало выдержанной прямолинейности характера и сосредоточенности страсти.

Общественное движеніе, начавшееся въ 1812 году, развивалось съ той поры не только въширь, но и въглубь, и это развитіе шло впередъ быстрыми шагами. Если по окончаніи Наполеоновскихъ войнъ для многихъ еще не было ясно, что либеральные элементы русскаго общества и правительство пошелъ по совершенно различнымъ дорогамъ, то къ 1820 году это уже

¹⁾ Остафьевскій Архивъ кн. Вяземскихъ, I, СПб. 1890, сс. 296, 304; стоитъ припомнить, что имп. Александръ, прочитавъ «Деревню», поручилъ передать Пушкину благодарность за «прекрасныя чувства».

²⁾ Тамже, с. 335, письмо отъ 22 окт. 1819 г. Вяземскій, потому ли, что онъ былъ смѣлѣе, или потому, что не ясно представлялъ себѣ дѣло, остался недоволенъ Тургеневымъ. «Присылай же лѣсню Пушкина—писалъ онъ.—Что ты за трусишка такой. Я никого и ничего не боюсь; совѣсть—вотъ мое право. Пускай у стѣнъ не только уши и глаза, но и ротъ будетъ: я все-таки стану бить въ нее горохомъ»,—тамже, сс. 342—3.

³⁾ Майковъ, назв. соч., с. 70.

⁴⁾ Записки Якушкина, с. 67.

ей дѣтелей, распространять просвѣщеніе и улучшать общественныя нравы путемъ личнаго примѣра и пропаганды туманныхъ идей. Конечною цѣлью дѣятельности общества предполагалось измѣненіе политическаго строя Россіи и введеніе въ ней представительныхъ учреждений; но для достиженія этой цѣли не указывалось никакихъ конкретныхъ путей. Тайное общество имѣло еще, такимъ образомъ, яснаго характера заговоръ. Повидимому, на первыхъ порахъ люди, усвоившіе себѣ новый образъ мыслей и разбѣгавшіе среди враждебно косившагося на нихъ консервативнаго большинства, чувствовали просто потребность тѣснѣе сплотиться между собою для обмена мнѣніями и отысканія какой-либо дѣятельности въ духѣ своихъ идей. И этой потребности отвѣчало устройство тайнаго общества по образцу существовавшихъ въ Германіи. Но оказалось и недостатка въ новыхъ кандидатахъ въ «Союзъ Спасенія». Между прочимъ однимъ изъ первыхъ былъ принятъ введенный Бурцевымъ 18-лѣтній юноша И. И. Пущинъ, только что сошедшій вмѣстѣ съ Пушкинымъ съ лицейской скамьи. Въ своихъ запискахъ, веденныхъ уже на старости лѣтъ, онъ оставилъ любопытное указаніе на тотъ подъемъ духа, какимъ сопровождалось для новыхъ членовъ вступленіе въ «Союзъ». После принятія въ общество, — рассказываетъ онъ, — «эта высокая цѣль жизни самою своею таинственностью и начертаніемъ новыхъ обязанностей рѣзко и глубоко проникла душу мою; я какъ будто получилъ особенное значеніе въ собственныхъ своихъ глазахъ: сталъ внимательно смотрѣть на жизнь во всѣхъ проявленіяхъ буиной молодости, наблюдать за собою, какъ за частицею, хотя ничего не значущею, но входящею въ составъ того цѣлаго, которое рано или поздно должно имѣть благотворное дѣйствіе»¹⁾. Искренность и безусловную правдивость этихъ словъ Пущинъ доказалъ всею своею постѣдующею жизнью. Черезъ нѣсколько лѣтъ по вступленіи въ общество онъ смѣнилъ блестящій мундиръ конно-артиллерійскаго офицера на сравнительно скромную должность судьи въ уголовномъ департаментѣ московскаго надворнаго суда, руководясь правиломъ тайнаго общества — поднимать уваженіе къ общественнымъ должностямъ и собственной дѣятельностью содѣйствовать улучшенію всѣхъ полезныхъ отраслей администраціи, проводя въ нее начала гуманности и безкорыстія. Подобный шагъ требовалъ немалого нравственнаго мужества въ то время, когда на дѣятельность, избранную Пущинымъ, въ свѣтъ, къ которому онъ принадлежалъ, смотрѣли чуть не съ презрѣніемъ. Какъ судья и какъ человекъ, Пущинъ вызывалъ дань involuntary уваженія даже со стороны лицъ, являвшихся ревностными и озлобленными противниками исповѣдуемыхъ имъ взглядовъ²⁾. И позднѣе, въ годы ссылки, онъ не утратилъ бодрого на-

¹⁾ Майковъ, назв. соч., с. 69.

²⁾ Гречъ, постаравшійся въ своихъ воспоминаніяхъ о группѣ людей, къ которой принадлежалъ И. И. Пущинъ, объ-

было очень рѣдко»¹⁾. Быстро росло въ эти годы и число членовъ тайнаго общества. Вербовка ихъ совершалась въ кругахъ, близкихъ Пушкину; вслѣдъ за пріятелемъ его со школьной скамьи, Пушинымъ, въ общество вошло немало и другихъ близкихъ знакомыхъ поэта, но самъ онъ не былъ приглашенъ въ «Союзъ Благочестія» и едва лишь подозрѣвалъ въ эту пору своей жизни объ его существованіи.

Это удаленіе тайнаго общества отъ Пушкина, которое не могло быть ни случайнымъ, ни безсознательнымъ, находило себѣ различное истолкованіе въ нашей литературѣ. Высказывалось—въ формѣ то предположеній, то рѣшительнаго утвержденія—и такое мнѣніе, что члены тайнаго общества не желали подвергать Пушкина опасности, щадя въ немъ великій талантъ родной литературы. На это не безъ основанія возражали, что устроители и члены политическихъ обществъ обыкновенно не руководятся подобными соображеніями. Люди, такъ страстно преданные своимъ идеямъ, какъ это было съ большинствомъ членовъ «Союза Благочестія», не могли знать ничего выше служенія этимъ идеямъ и должны были стремиться завербовать въ свои ряды всякую выдающуюся силу, а Пушкинъ, несомнѣнно, уже представлялъ изъ себя такую силу, пренебрегать услугами которой безъ серьезныхъ мотивовъ было бы странно, тѣмъ болѣе, что и въ его поэтическомъ творчествѣ данной поры слышался энергическій отзвукъ тѣхъ самыхъ идей, какія вдохновляли дѣятелей «Союза Благочестія». Записки Пушкина доставляютъ, кажется, возможность окончательно разрѣшить этотъ вопросъ о мотивахъ, заставлявшихъ участниковъ «Союза» воздерживаться отъ принятія Пушкина въ свой составъ. Правда, Пушкинъ говоритъ здѣсь только за себя, но тѣ побужденія, которыя были въ этомъ случаѣ у него, самаго близкаго пріятеля поэта, должны были, и, быть можетъ, еще съ большою силою, дѣйствовать и на другихъ его товарищей по обществу.

По разсказу Пушкина, первую его мысль по вступленіи въ общество было открыться Пушкину: «онъ всегда—поясняетъ разсказчикъ—согласно со мною мыслилъ о дѣлѣ общемъ, по своему проповѣдывалъ въ нашемъ смыслѣ—и изустно, и письменю, стихами и прозой». Но въ этотъ моментъ Пушкина не было въ Петербургѣ: онъ по окончаніи курса въ лицѣ отдыхалъ въ деревнѣ и, пока онъ вернулся оттуда, пріятель его успѣлъ раздумать. Потомъ—говоритъ Пушкинъ—«я уже не рѣшался ввѣрить ему тайну, не мнѣ одному принадлежавшую, гдѣ малѣйшая неосторожность могла быть пагубна всему дѣлу. Подвижность пылкаго его нрава, сближеніе съ людьми ненадежными пугали меня». Однако перемѣна, происшедшая въ самомъ Пушкинѣ, обратила на себя вниманіе поэта, онъ заподозрилъ существованіе скрываемой отъ него тайны и неоднократно настойчиво пытался открыть ее.

¹⁾ Записки Якушкина, с. 34.

дѣйствіе ихъ приподнятаго идеалистическаго настроенія. Не даромъ въ посланіи 1821 г. къ одному изъ наиболѣе видныхъ людей этого круга, П. Я. Чаадаеву, онъ такими яркими и привлекательными чертами обрисовываетъ его значеніе въ своей внутренней жизни: «во глубину души вникая строгимъ взоромъ,—ты оживлялъ ее совѣтомъ или укоромъ;—твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь;—терпѣнье смѣлое во мнѣ рождалось вновь»... Тѣмъ не менѣе, слова Пушкина о проповѣди Пушкинскихъ тѣхъ же взглядовъ, какіе вдохновляли самого Пушкина и его товарищей, могутъ быть приняты лишь съ нѣкоторыми оговорками. При всей своей симпатіи къ освободительнымъ стремленіямъ эпохи Пушкинъ не былъ охваченъ такимъ глубокимъ и, главное, такимъ безраздѣльнымъ увлеченіемъ общественными интересами, какое переживали нѣкоторые его сверстники. Для этого, не говоря уже о различныхъ вліяніяхъ, отвлекавшихъ его въ сторону, въ его собственной природѣ, можетъ статься, слишкомъ преобладали чисто художественныя инстинкты и слишкомъ сильна была жажда разнообразія жизненныхъ впечатлѣній. Соответственно этому опредѣлилась и роль гражданскихъ мотивовъ въ его творчествѣ данной поры. Симпатія къ безправному крѣпостному и признаніе за нимъ человѣческаго достоинства, рѣзкій протестъ противъ обскурантизма и произвола, вольнолюбивыя мечты и смѣлыя надежды,—всѣ эти главные мотивы общественнаго движенія вошли и въ поэзію Пушкина, озаренные въ ней розовымъ свѣтомъ того оптимистически настроеннаго идеализма, какой присущъ еще былъ данной эпохѣ жизни русскаго общества. Въ цѣломъ однако Пушкинъ этой поры едва-ли могъ бы назваться поэтомъ-гражданиномъ, пѣвцомъ скорби и боли современнаго ему поколѣнія. Мотивы гражданского гнѣва и скорби далеко не занимали первенствующаго мѣста въ свѣтлой, жизнерадостной поэзии пѣвца «Руслана и Людмилы» и сравнительно даже рѣдко звучали въ ней.

Но по тѣмъ временамъ даже и такихъ откликовъ, какіе порою давала Пушкинская муза на злобу дня, оказалось достаточно для того, чтобы вызвать радикальную перемѣну въ жизни поэта. Реакція все усиливалась, и надъ головою Пушкина, не ждавшаго бѣды, собралась гроза. Ходившія по рукамъ въ обществѣ не напечатанныя произведенія его, въ особенности ода «Вольность» и эпиграммы на Аракчеева, обратили на себя неблагоклонное вниманіе властей и объ опасномъ направленіи молодого поэта доложено было имп. Александру. Возникали предположенія о ссылкѣ Пушкина въ Сибирь или заточеніи въ Соловки и, только благодаря вмѣшательству нѣсколькихъ друзей его и благожелательно расположенныхъ къ нему людей¹⁾,

¹⁾ По разсказамъ современниковъ, въ смягченіи участи Пушкина принимали участіе П. Я. Чаадаевъ, Н. М. Карамзинъ, Ѳ. Н. Глинка, гр. Милорадовичъ и директоръ лицея Е. А. Энгельгардтъ. При этомъ всѣхъ суше и высо-

Пушкинъ, мягко и дружелюбно относился къ нему, разрѣшала ему уѣзжать изъ Екатеринослава на Кавказъ и въ Крымъ, потомъ изъ Кишинева въ Кіевъ и Каменку, не тѣснилъ его и даже заступался за него передъ высшими властями, но при всемъ томъ ссылка оставалась для Пушкина ссылкой. Главное ея значеніе заключалось въ насильственномъ лишеніи свободы и въ томъ, что она порвала всѣ прежнія связи и отношенія поэта, перебросивъ его изъ центра умственной жизни страны на глухую окраину имперіи, и это ея значеніе не могло быть искуплено никакимъ добродушіемъ Инзова. Мы знаемъ, какъ быстро разросся гений поэта въ годы ссылки при всѣхъ неблагоприятныхъ условіяхъ, но намъ остается неизвѣстнымъ, какъ совершался бы этотъ ростъ въ свободно избранной самимъ поэтомъ обстановкѣ, при постоянномъ общеніи съ тѣмъ высоко-интеллигентнымъ кругомъ людей, который онъ покинулъ въ Петербургѣ.

Вѣрно во всякомъ случаѣ то, что ссылка, а затѣмъ жизнь вдалекѣ отъ обстановки, въ которой прошла первая юность поэта, дали сильный толчокъ той внутренней работѣ надъ самимъ собой, какая началась у Пушкина еще въ Петербургѣ. Въ своемъ кишиневскомъ посланіи къ Чаадаеву онъ самъ намѣтилъ ходъ и плоды этой работы:

...Для сердца новую вкушаю тишину,
Въ уединеніи мой своенравный гений
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій;
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ;
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ.
Богини мира, вновь явились музы мнѣ
И независимымъ досугамъ улынулись..

Въ нашей литературѣ сдѣлана была попытка умалить значеніе этого произведенія, какъ автобіографическаго показанія. «Спокойный, мудро-энический тонъ пьесы — писалъ Анненковъ — находится въ совершенномъ противорѣчій со всѣмъ, что мы знаемъ о бѣшенной жизни Пушкина въ эту эпоху, и еще разъ показываетъ, какъ заблуждаются біографы и въ какое заблужденіе вводятъ читателей, когда, на основаніи стихотвореній, въ которыхъ личность поэта является преображенною поэзіей и творчествомъ, вздумаютъ судить о дѣйствительномъ реальномъ ея видѣ въ извѣстный моментъ»¹⁾. Кажется, однако, осторожность завела въ данномъ случаѣ біографа чересчуръ далеко и сообщила ему нѣкоторую близорукость. Конечно, слова Пушкина нельзя принимать совершенно буквально. Онъ и въ Кишиневѣ не

¹⁾ Анненковъ. А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху. СПб. 1874, с. 156.

общеніе съ такими людьми, укрѣпляя въ умѣ Пушкина либеральныя понятія, вмѣстѣ съ тѣмъ заставляло его живѣе чувствовать недостатки своего образованія и стремиться пополнить ихъ ¹⁾).

Но не одни лишь греки-гетеристы были въ Кишиневѣ носителями либеральныхъ идей. Осмотрѣвшись на новомъ мѣстѣ жительства, Пушкинъ встрѣтилъ людей, одушевленныхъ этими идеями, и въ русскомъ обществѣ, притомъ подчасъ на видныхъ постахъ. И здѣсь, какъ и въ Петербургѣ и другихъ городахъ, это были по преимуществу военные. Дивизіею, расположенной въ Бессарабіи, командовалъ въ это время М. Ѳ. Орловъ, съ именемъ котораго мы уже встрѣчались, человекъ просвѣщенный и раздѣлявшій взгляды передовой части общества. Одно время онъ былъ членомъ Союза Благоденствія, изъ котораго вышелъ въ 1821 г. Впрочемъ, и послѣ того онъ въ своей дѣятельности до известной степени проводилъ убѣжденія, свойственныя Союзу, изгоняя изъ вѣранныхъ ему войскъ палку и заботясь о просвѣщеніи солдатъ. Членомъ Союза Благоденствія былъ и старшій адъютантъ Орлова, Охотниковъ. Въ домѣ Орлова Пушкинъ встрѣтилъ радушный пріемъ со стороны какъ самого хозяина, такъ и всего офицерскаго общества, здѣсь собиравшагося. Но особенно сошелся Пушкинъ изъ встрѣченныхъ имъ въ Кишиневѣ офицеровъ съ майоромъ В. Ѳ. Раевскимъ, завѣдывавшимъ въ дивизіи Орлова солдатской ланкастерской школой и также принадлежавшимъ къ числу членовъ Союза Благоденствія. Обладая серьезнымъ образованіемъ, Раевскій, сверхъ того, отличался рѣшительнымъ характеромъ и рѣзкимъ, насмѣшливымъ умомъ. Оближенію его съ Пушкинымъ не мало способствовало то обстоятельство, что онъ питалъ живой интересъ къ литературнымъ вопросамъ и даже самъ писалъ стихи. Пушкинъ нерѣдко вступалъ въ споръ съ нимъ, но тѣмъ не менѣе до нѣкоторой степени находился подъ его вліяніемъ. Любопытныя подробности объ этомъ сохранены въ воспоминаніяхъ Липранди. Послѣ споровъ съ Раевскимъ—разсказываетъ онъ—Пушкинъ «неоднократно, на другой или на третій день, бралъ у меня книги, касавшіяся до предмета, о которомъ шла рѣчь. Пушкинъ, какъ вспылчивъ ни былъ, но часто выслушивалъ отъ Раевского, подъ веселую

¹⁾ Изъ дневника и воспоминаній И. И. Липранди, Р. Архивъ, 1866, сс. 1244—5. Онъ же передаетъ слѣдующій анекдотъ, живо показывающій, какъ соединялась у Пушкина въ эту пору жажда знанія съ чисто-юношескимъ самолюбіемъ: «Однажды съ кѣмъ-то изъ грековъ въ разговорѣ упомянуто было о какомъ-то сочиненіи. Пушкинъ просилъ достать ему. Тотъ съ удивленіемъ спросилъ его: «Какъ! вы поэтъ и не знаете объ этой книгѣ?!» Пушкину показалось это обидно и онъ хотѣлъ вызвать возразившаго на дуэль. Рѣшено было такъ: когда книга была ему доставлена, то онъ при запискѣ возвратилъ оную, сказавъ, что эту онъ знаетъ. Послѣ сего мы и условились: если что нужно будетъ, а у меня того не окажется, то я доставать буду на свое имя».

кинъ познакомился и съ главнымъ дѣятелемъ Союза Благоденствія на югѣ Россіи, Пестелемъ, который проѣзжалъ въ это время въ Молдавію и даже при непродолжительномъ знакомствѣ поразилъ поэта своимъ выдающимся и оригинальнымъ умомъ ¹⁾.

Былъ и еще пунктъ, въ которомъ ссыльный поэтъ отдыхалъ душою встрѣчаясь съ людьми, не входившими въ сѣрыя рамки его будничной кишиневской жизни. «Я нахожусь—писалъ онъ Гнѣдичу 4 дек. 1820 г.—въ Кіевской губерніи, въ деревнѣ Давыдовыхъ, милыхъ и умныхъ отшельниковъ, братьевъ генерала Раевского. Время мое протекаетъ между аристократическими обѣдами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь разсѣянное, было недавно—разнообразная и веселая смѣсь умовъ оригинальныхъ, людей извѣстныхъ въ нашей Россіи, любопытныхъ для незнакомаго наблюдателя. Женщинъ мало, много шампанскаго, много острыхъ словъ, много книгъ, немного стиховъ»... ²⁾ Въ запискахъ одного современника мы имѣемъ описаніе и этого общества, и части тѣхъ «демагогическихъ споровъ», какіе въ немъ велись. Кромѣ Пушкина, въ имѣніи Давыдовыхъ, Каменкѣ, гостили въ ноябрѣ этого года генералъ Раевскій съ сыномъ А. Н. Раевскимъ, пріятелемъ поэта, М. О. Орловъ, Охотниковъ и И. Д. Якушкинъ. За исключеніемъ Раевскихъ и Пушкина, всѣ гости, а изъ хозяевъ одинъ—В. Л. Давыдовъ, принадлежали къ Союзу Благоденствія, Якушкинъ же и пріѣхалъ въ Каменку исключительно по его дѣламъ. Это неизбежно прорывалось до нѣкоторой степени и въ общихъ разговорахъ. Пушкинъ и молодой Раевскій чувствовали вокругъ себя атмосферу таинственности, заподозривали существованіе скрываемого отъ нихъ секрета и, чтобы сбить ихъ съ толку, остальные члены общества условились мистифицировать ихъ. Устроены были по наружности серьезный диспутъ о томъ, нужно ли и возможно ли существованію въ солдатской школѣ и поставленнымъ ему сперва въ вину, оказались одинаковыми во всей арміи и выписанными для нея изъ Петербурга. Но рѣзкіе отвѣты Раевского озлобили судей. Его держали въ Тираспольской крѣпости до конца 1825 года и тогда отправили въ Петербургъ. Хотя онъ оказался непричастнымъ къ событіямъ 14 декабря 1825 г., онъ все же былъ отправленъ для новаго слѣдствія въ Динабургъ, а отсюда, не смотря на мнѣніе в. к. Константина Павловича, не видѣвшего за нимъ вины, былъ, по настоянію Дибича, лишенъ правъ и сосланъ въ Иркутскъ, гдѣ пробылъ до 1856 г., когда былъ освобожденъ, но безъ возвращенія чина. О немъ см. П. Е. Щеголевъ. Первый декабристъ.—Владиміръ Раевскій. СПб. 1905.

¹⁾ Въ своемъ кишиневскомъ дневникѣ Пушкинъ подъ 9 апр. 1821 г. записалъ: «Утро провелъ я съ Пестелемъ. Умный человѣкъ во всемъ смыслѣ этого слова... Мы съ нимъ имѣли разговоръ метафизическій, политическій, нравственный и пр. Онъ одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ умовъ, которыхъ я знаю». Соч. Пушкина, V, 6. Въ виду этой записи, сдѣланной для себя, едва-ли приходится довѣрять разсказу Липранди о недружелюбномъ отношеніи Пушкина къ Пестелю, см. Р. Архивъ, 1866 г., с. 1258.

²⁾ Сочиненія Пушкина, VII, 11.

будемъ помнить? Это молчаніе непростительно» ¹⁾... Въ свою очередь въ письмахъ и литературныхъ произведеніяхъ этихъ своихъ корреспондентовъ Пушкинъ находилъ рѣшительно поставленныя и довольно обстоятельно аргументированныя положенія о необходимости независимости литературы и о роли гражданского элемента въ поэзіи, встрѣчалъ прямые призывы къ общественной сатирѣ и опредѣленные демократическіе взгляды, соединенные съ добродушной насмѣшкой надъ свойственной ему кичливостью своимъ дворянскимъ происхожденіемъ ²⁾. Всѣ эти разсужденія и взгляды, такъ непохожіе на понятія стараго Арзамаса о чистомъ, самодовлѣющемъ искусствѣ, уводили мысль на новые пути и образовывали лишнюю связь между поэтомъ и покинутымъ имъ въ Петербургѣ общественнымъ движеніемъ.

Въ самомъ этомъ движеніи происходилъ тѣмъ временемъ рѣшительный кризисъ. Русскій либерализмъ Александровскаго царствованія переживалъ заключительную эпоху своего существованія, близившагося къ трагической развязкѣ. Еще правительство, связанное своимъ прошлымъ, не принимало рѣшительныхъ мѣръ къ подавленію всѣхъ либеральныхъ увлеченій молодой части общества ³⁾, но со дня на день яснѣе становилась и вся неосновательность надеждъ на возвращеніе его къ политикѣ первыхъ лѣтъ царствованія. Полный отказъ правительства отъ пути общественныхъ реформъ вызывалъ глухое раздраженіе среди людей, видѣвшихъ въ такихъ реформахъ единственную возможность оздоровленія государственнаго организма Россіи. При такихъ условіяхъ и дѣятельность Союза Благоденствія, заключенная въ скромныя рамки устной пропаганды либеральныхъ идей, безъ указанія конкретныхъ путей для проведенія ихъ въ жизнь, перестала удовлетворять многихъ его членовъ, въ то самое время, какъ другіе почувствовали потреб-

¹⁾ Сочиненія Пушкина, VII, 50.

²⁾ Письма къ Пушкину А. Бестужева, см. Р. Архивъ, 1881, I; Рылѣва—«Сочиненія и переписка К. Ѳ. Рылѣва», изд. подъ редакціей П. А. Ефремова, СПб. 1875. «Ты мастерски оправдываешь—писалъ Рылѣвъ въ 1825 г.—свое чванство шестисотлѣтнимъ дворянствомъ, но несправедливо. Справедливость должна быть основаніемъ и дѣйствій, и самыхъ желаній нашихъ. Преимуществъ гражданскихъ не должно существовать, да они для поэта Пушкина ни къ чему и не служатъ ни въ залѣ невѣжды, ни въ залѣ знатнаго подлнца, не умѣющаго цѣнить твоего таланта... Чванство дворянствомъ непростительно, особенно тебѣ. На тебя устремлены глаза Россіи; тебя любятъ, тебѣ вѣрятъ, тебѣ подражаютъ. Будь поэтъ и гражданинъ» (назв. соч., стр. 213, ср. еще 212—13, 205—6).

³⁾ Въ 1821 г. имп. Александръ сказалъ командиру гвардейскаго корпуса Васильчикову въ отвѣтъ на докладъ его о тайномъ обществѣ: «Любезный Васильчиковъ! Вы, который служите мнѣ съ самаго начала моего царствованія, вы знаете, что я раздѣлялъ и поощрялъ всѣ эти мечты и заблужденія; не мнѣ подобаешь быть строгимъ». Шильдеръ, Имп. Александръ I, въ Біограф. Словарѣ Р. Истор. Общества, т. I, с. 368.

основному мотиву неудовольствій между Пушкинымъ и его начальникомъ присоединились запутанныя чисто-личныя отношенія, печально окончившіяся для поэта. Возбѣшенный его язвительными эпиграммами и какъ бы желая до конца оправдать ихъ, Воронцовъ не задумался написать министру иностранныхъ дѣлъ, гр. Нессельроде, бумагу, въ которой подъ видомъ участія къ «молодому человѣку, не лишенному дарованій», просилъ выслать его изъ Одессы. «Главный недостатокъ Пушкина — мотивировалъ онъ свою просьбу—самолюбіе. Здѣсь проживаетъ множество людей, и количество ихъ еще увеличится во время сезона купаній. Они, будучи экзальтированными поклонниками его поэзіи, думаютъ ему выразить этимъ свою дружбу и оказываютъ услугу непріятеля, способствуя его самоувлеченію и убѣждая его, что онъ выдающійся писатель, между тѣмъ, какъ Пушкинъ пока не болѣе, какъ слабый подражатель не особенно похвальнаго оригинала (лорда Байрона) и только путемъ труда и усидчиваго изученія истинно великихъ классическихъ поэтовъ могутъ принести плоды его счастливыя дарованія, въ которыхъ ему нельзя отказать, и сдѣлать его выдающимся писателемъ». Эта бумага, увѣковѣчившая за гр. Воронцовымъ славу столь же доблестнаго администратора, какъ и тонкаго цѣнителя литературы, была получена въ Петербургѣ въ то самое время, когда государю доложено было о перехваченномъ полиціею въ Москвѣ письмѣ Пушкина къ одному изъ пріятелей, письмѣ, въ которомъ поэтъ сообщалъ, что беретъ «уроки чистаго аэеизма... система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, болѣе всего правдоподобная». Немедленно состоялось повелѣніе исключить Пушкина изъ службы и «выслать его въ принадлежащее родителямъ его помѣстье, въ предѣлахъ Псковской губерніи, подъ надзоръ мѣстныхъ властей». Получивъ извѣщеніе объ этомъ повелѣніи, гр. Воронцовъ позаботился кое-что добавить къ нему и отъ себя и, находясь самъ въ это время въ Симферополѣ, предписалъ одесскому градоначальнику Гурьеву—«если Пушкинъ дастъ подписку, что отправится къ своему назначенію, не останавливаясь нигдѣ на пути ко Пскову, то дозволить ему ѣхать одному, въ противномъ же случаѣ отправить съ надежнымъ чиновникомъ». Пушкинъ далъ требуемую подписку и, выѣхавъ изъ Одессы 30 іюля 1824 г., 9 августа явился въ Михайловское ¹⁾.

Эта исторія тяжело отразилась на душевномъ настроеніи поэта. Въ посланіи къ Языкову изъ Михайловскаго, помѣченномъ 20 сентября 1824 г., онъ говорить о себѣ:

... злобно мной играетъ счастье;
Давно безъ крова я ношусь,

¹⁾ См. «Дѣло о высылкѣ изъ Одессы въ Псковскую губернію кол. секр. Пушкина» — въ «Вѣдомостяхъ Одесскаго Градоначальства» за май 1899 г.

сомнѣваться и въ томъ, что въ основу этой пьесы легло настроеніе, созданное не одними только воспоминаніями о французской революціи и трагической судьбѣ погибшаго въ ней поэта. Самый интересъ Пушкина къ этой судьбѣ могъ, если не появиться, то разростись на почвѣ сознанія извѣстнаго родства, представляемого ею съ переживаемымъ имъ самимъ положеніемъ, и едва-ли не это именно вилетеніе личныхъ мотивовъ въ названную пьесу и придало ей ея необыкновенную задухновенность. На то, что въ «А. Шенье» можно усматривать не только отраженіе общихъ идей поэта, но и нѣкоторое автобіографическое значеніе, указываютъ, повидимому, и слова самого Пушкина въ письмѣ къ П. А. Вяземскому 13 іюля 1825 г.: «читалъ ли ты моего А. Шенье въ темницѣ? Суди о немъ, какъ езуитъ, — по намѣренію» ¹⁾. Въ самомъ дѣлѣ, жалобы заключеннаго поэта и охватывающія его сомнѣнія такъ хорошо подходятъ къ положенію самого Пушкина и къ общему настроенію его музы, которое обаялось въ столь рѣзкомъ противорѣчій съ обстоятельствами его жизни:

...Куда, куда завлекъ меня враждебный геній?
Рожденный для любви, для мирныхъ искушеній,
Зачѣмъ я покидалъ безвѣстной жизни сѣнь,
Свободу, и друзей, и сладостную лѣнь?

Зачѣмъ отъ жизни сей, лѣнливой и простой,
Я кинулся туда, гдѣ ужасъ роковой,
Гдѣ страсти дикія, гдѣ буйные невѣжды,
И злоба, и корысть? Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня? Что дѣлать было мнѣ,
Мнѣ, вѣрному любви, стихамъ и тишинѣ,
На низкомъ поприщѣ съ презрѣнными бойцами?
Мнѣ-ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать безсильныя бразды?

Та же личная нота могла звучать и въ гордомъ утѣшеніи поэта, что онъ «не поникъ главою послушной передъ позоромъ нашихъ лѣтъ». Нѣкоторое подтвержденіе этому можно видѣть въ запискахъ И. И. Пущина, посѣтившаго Михайловское въ январѣ 1825 года и оставившаго въ своихъ воспоминаніяхъ подробное и трогательное описаніе этой поѣздки и свиданія съ другомъ. «Вообще—говоритъ онъ—Пушкинъ показался мнѣ нѣсколько серьезнѣе прежняго, сохраняя однакожъ ту же веселость». Выѣстъ съ тѣмъ, однако, поэтъ приписывалъ себѣ нѣчто большее чисто литературнаго зна-

1884 г., XLII, 636. Записки Вигеля. М. 1865, ч. VII, сс. 54—5. Любопытно, что, благодаря разѣздамъ Пушкина, полиція смогла сообщить ему состоявшееся 29 августа 1828 г. постановленіе государственнаго совѣта лишь въ концѣ января 1831 года.

¹⁾ Сочиненія Пушкина, VII, 137.

Съ началомъ новаго царствованія началась и новая эпоха въ жизни Пушкина. Въ результатъ просьбы, поданной имъ имп. Николаю, онъ былъ возвращенъ изъ ссылки и послѣ бесѣды съ нимъ императоръ вызвался самъ быть цензоромъ его произведеній. Бывшій ссыльный поэтъ былъ затѣмъ приближенъ ко двору, получилъ званіе исторіографа и придворный чинъ камеръ-юнкера,—послѣднее, впрочемъ, безъ своего желанія и даже вопреки ему¹⁾. Вопросъ о томъ, насколько въ этомъ новомъ своемъ положеніи Пушкинъ сохранилъ прежніе свои взгляды, и въ частности тѣ, которые связывали его съ крайними либеральными кружками Александровской поры, покончившими свое гражданское существованіе 14 декабря 1825 года, неоднократно поднимался въ литературѣ и получалъ очень различное рѣшеніе. Мнѣнія, высказанныя въ ней по этому поводу, можно распределить на три главные группы. Нѣкоторые писатели утверждали, что Пушкинъ въ 1826 г. совершилъ крутой поворотъ, перейдя въ лагерь, прямо противоположный тому, въ которомъ онъ находился раньше, причемъ одни изъ нихъ относились къ этому повороту съ безусловной похвалой, другіе же, напротивъ,—съ осужденіемъ, видя въ немъ результатъ угодливости поэта. По мнѣнію другихъ критиковъ, Пушкинъ и въ Николаевскую эпоху сохранилъ гуманную и просвѣщенную основу своихъ убѣжденій, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ произошелъ рядъ очень крупныхъ и существенныхъ измѣненій, въ концѣ концовъ далеко отведшихъ поэта отъ тѣхъ людей, съ которыми онъ нѣкогда стоялъ рядомъ въ качествѣ единомышленника. Существуетъ, наконецъ, и такое мнѣніе,—наименѣе однако распространенное,—согласно которому Пушкинъ и въ послѣдній періодъ своей жизни не испыталъ никакой существенной перемѣны въ своихъ убѣжденіяхъ, а являлся «выразителемъ и носителемъ общественныхъ идей 20-хъ годовъ»²⁾. Споръ представителей этихъ мнѣній остается незаконченнымъ.

А. Г. Муравьевой, ѣхавшей въ Сибирь къ своему осужденному мужу, Никитѣ Муравьеву (назв. соч., с. 70).

¹⁾ Кажется, однако, что Пушкинъ былъ недоволенъ въ данномъ случаѣ не придворнымъ званіемъ вообще, а именно камеръ-юнкерствомъ. Послѣ его смерти П. А. Вяземскій писалъ вел. кн. Михаилу Павловичу, оправдывая погребеніе поэта не въ мундирѣ, а въ сюртукѣ, что онъ не любилъ своего мундира: «При всей моей дружбѣ съ нимъ я не стану скрывать, что онъ былъ человекъ свѣтскій и суеѣный (*vain et mondain*)... Камергерскій ключъ былъ бы для него дорогимъ знакомъ отличія; но ему казалось неприличнымъ, что въ его лѣта, посреди его поприща, сдѣлали его камеръ-юнкеромъ, словно какого-то юношу и новичка въ общественномъ кругу». Р. Архивъ, 1879, № 3, с. 390. Этому, по крайней мѣрѣ, не противорѣчатъ и отзывы самого Пушкина въ его письмахъ и дневникѣ.

²⁾ Послѣднее мнѣніе принадлежитъ В. Е. Якушкину (О Пушкинѣ. М. 1899 сс. 52, 54 и 67—8). Можно пожалѣть, что г. Якушкинъ, перепечатавъ въ этомъ сборникѣ свою статью «Радищевъ и Пушкинъ» 1886 г., съ нѣкоторымъ

родованія приговора. Твердо надѣюсь на великодушіе молодого нашего царя», — пишетъ онъ въ январѣ 1826 г. и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ повторяетъ: «сердце не на мѣстѣ, но крѣпко надѣюсь на милость царскую. Мѣры правительства доказали его рѣшимость и могущество. Большаго подтвержденія, кажется, не нужно» ¹⁾. Когда, лишь 24 іюля 1826 г., дошла до него вѣсть о приговорѣ и о совершившейся 13 іюля казни Рылѣева, Пестеля, Муравьева, Каховскаго и Бестужева, онъ заноситъ это извѣстіе въ свои тетради... ²⁾. Но надежда на смятеніе участи остальныхъ осужденныхъ все еще не покидаетъ его. «Еще таки — пишетъ онъ П. А. Вяземскому — я все надѣюсь на коронацію. Повѣшенные повѣшены, но котораго 120 друзей, братьевъ, товарищей ужасна». Невѣрный слухъ, дошедшій до него въ это время, будто Н. Тургеневъ, находившійся за границей и также обвинявшійся за участіе въ тайномъ обществѣ, привезенъ моремъ въ Петербургъ, заставляетъ глубоко взволнованное чувство поэта, въ томъ же письмѣ къ Вяземскому, вылиться въ стихахъ:

Такъ море, древній душегубецъ,
Воспламеняетъ геній твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грознаго трезубецъ?
Не славь его! Въ намъ гнусный вѣкъ
Съдой Нептунъ — земли союзникъ.
На всѣхъ стихіяхъ человекъ —
Тиранъ, предатель или узникъ ³⁾.

Въ промежутокъ времени до объявленія приговора надъ декабристами Пушкинъ подалъ государю свое прошеніе о разрѣшеніи выѣхать въ столицу или за границу, заявляя «твердое намѣреніе не противорѣчить моимъ мнѣніямъ общепринятому порядку» ⁴⁾. Теперь, когда Вяземскій нашелъ это письмо «холоднымъ и сухимъ», онъ отвѣчаетъ: «иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы» ⁵⁾. И, когда уже судьба участниковъ тайныхъ обществъ выяснилась окончательно, Пушкинъ все еще не терялъ надежды на измѣненіе ея къ лучшему. Въ 1830 г. онъ писалъ Вяземскому, выражая одобреніе вѣвшей политикѣ Россіи: «Каковъ государь? Молодецъ! Того и гляди, что нашихъ каторжниковъ простить. Дай Богъ ему здоровье...» Еще позже, за годъ съ небольшимъ

¹⁾ Сочиненія Пушкина, VII, 172; 172 и 174; 174; 182.

²⁾ Тамже, II, 2.

³⁾ Тамже, VII, 184. Г. Чириковъ въ своихъ «Замѣткахъ на новое изданіе сочиненій Пушкина» (Р. Архивъ, 1881, I, с. 178) приводитъ еще рѣзкую эпиграмму Пушкина на кн. Голицына по поводу дѣйствій его въ верховномъ судѣ.

⁴⁾ Сочиненія, VII, 177.

⁵⁾ Тамже, VII, 185.

кровные и разсудительные обыкновенно взводить на грѣшныхъ служителей стиха и рими. У нихъ поэтъ и человѣкъ не дѣльный одно и то же; а вотъ же Пушкинъ оказался другомъ гораздо болѣе дѣльнымъ, чѣмъ всѣ она вмѣстѣ» ¹⁾. Другой, и болѣе близкій, товарищъ Пушкина по лицее былъ встрѣченъ привѣтствіемъ поэта уже въ далекой Сибири. Черезъ А. Г. Муравьеву, отправлявшуюся къ мужу, Пушкинъ послалъ И. И. Пущину свое стихотвореніе, въ которомъ воспоминалъ его пріѣздъ въ Михайловское и выражалъ пожеланіе,

Да голосъ мой душѣ твоей
Даруетъ то же утѣшенье,
Да озаритъ онъ заточенье
Лучемъ лицейскихъ ясныхъ дней.

Въ самый день пріѣзда Пущина изъ Шлиссельбурга въ Читѣ, 5 янв. 1828 г., Муравьева вызвала его къ частоколу острога и передала ему листокъ бумаги съ этимъ стихотвореніемъ. «Увы,—вспоминаетъ Пущинъ— я не могъ даже пожать руку той женщины, которая такъ радостно спѣшила утѣшить меня воспоминаніемъ друга; но она поняла мое чувство безъ всякаго вѣшняго проявленія, нужнаго, можетъ быть, другимъ людямъ и при другихъ обстоятельствахъ; а Пушкину, вѣрно, тогда не разъ икнулось» ²⁾. И въ стихотвореніи, посвященномъ лицейской годовщинѣ 19 окт. 1827 г., Пушкинъ призываетъ счастье къ своимъ друзьямъ въ разныхъ положеніяхъ, между прочимъ:

И въ мрачныхъ пропастяхъ земли ³⁾.

Въ творчествѣ Пушкина были, наконецъ, и болѣе общіе, относившіеся не только къ лицейскимъ товарищамъ, отклики на несчастье декабристовъ, могущіе служить лишнимъ показателемъ той же благородной памяти сердца. Объ одномъ изъ нихъ, «Аріонѣ», мы уже упоминали; другой— «Посланіе въ Сибирь», написанное въ томъ же 1827 году:

Во глубинѣ сибирскихъ рудъ
Храните гордое терпѣнье:
Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ
И думъ высокое стремленье.

¹⁾ Р. Архивъ, 1881, I, 137—9, 141. Въ письмѣ 1836 г. Кюхельбекеръ говоритъ, что онъ 12 лѣтъ не писалъ Пушкину, но два его письма изъ Динабурга (10 іюля 1828 г. и 20 окт. 1830 г.) напечатаны тутъ же. Можетъ быть, онъ не считалъ возможнымъ говорить объ этой перепискѣ, какъ о тайной.

²⁾ Майковъ, назв. соч., с. 84.

³⁾ Сочиненія Пушкина, II, 23. И это стихотвореніе попало въ Сибирь: И. И. Пущину переслалъ его директоръ лицея Е. А. Энгельгардтъ, находившійся съ нимъ въ перепискѣ. Майковъ, назв. соч., с. 85.

навсегда остались его принадлежностью, какъ челоѣка и писателя. Но на этомъ общемъ фонѣ съ теченіемъ времени выдѣлились и такіе взгляды на конкретные вопросы русской жизни, которые значительно отъ него отличались. И если не слишкомъ тѣсная связь поэта съ кружками начала 20-хъ годовъ не помѣшала ему сохранить теплое чувство по отношенію къ личностямъ, входившимъ въ ихъ составъ, то, быть можетъ, именно недостаточная прочность этой связи не давала ему возможности всегда вѣрно оцѣнить, гдѣ начинается рѣшительное уклоненіе отъ основныхъ идей этихъ кружковъ. Мы упоминали, впрочемъ, выше, что въ литературѣ высказано было и мнѣніе, отрицающее какія-либо существенныя измѣненія во взглядахъ Пушкина въ Николаевскую эпоху. Согласиться съ нимъ однакоже довольно трудно. По крайней мѣрѣ, г. Якушкинъ, выставившій такое положеніе, самъ долженъ былъ снабдить его оговорками, настолько серьезными, что онѣ способны опрокинуть сопровождаемое ими утвержденіе. По его словамъ, вся переѣна въ Пушкинѣ этой поры сводилась къ усвоенію имъ оппортунизма; разочаровавшись въ возможности иныхъ путей, поэтъ стремился теперь идти вмѣстѣ съ правительствомъ и черезъ его посредство содѣйствовать просвѣщенію. «Въ «оппортунизмѣ» весь смыслъ общественной дѣятельности Пушкина при Николаѣ. Общія его идеи тѣ же, но взглядъ на средства для ихъ проведенія другой» ⁴⁾. Но вѣдь дѣятели 20-хъ годовъ какъ разъ менѣе всего обнаруживали пристрастія къ оппортунизму, и ихъ общественныя идеи, съ какой бы точки зрѣнія ни оцѣнивать ихъ, такъ же мало могли быть замкнуты въ эту формулу, какъ и сведены къ одному лишь «просвѣщенію». Въ дѣйствительности же измѣненія въ міросозерцаніи поэта за эту эпоху его жизни едва-ли могутъ быть покрыты формулой, предложенной г. Якушкинымъ. Причины вызывавшихъ такіа измѣненія, было не мало, и онѣ коренились не въ одномъ лишь характерѣ поэта.

Событія, сопровождавшія вступленіе имп. Николая Павловича на престолъ, оказали глубокое, подавляющее вліяніе на весь характеръ русской общественной жизни послѣдующаго періода. Жизнь эта разомъ потускнѣла, пріобрѣла болѣе сѣрую, будничную окраску, улеглась въ болѣе скромныя и тѣсныя рамки. Героиня «Русскихъ Женщинъ» у Некрасова говоритъ пръ свѣтское общество этой поры:

Гдѣ были дубы до небесъ,
Тамъ нынче пни торчатъ.

И это же самое можно было бы съ нѣкоторымъ правомъ сказать не про одинъ лишь свѣтскій кругъ. Изъ жизни общества была безповоротно вычеркнута цѣлая группа людей, представлявшихъ собою опредѣленное

ностью. Одинъ только мотивъ звучалъ въ данной пьесѣ съ полною опредѣленностью и яркостью, и это мотивъ—чисто личный:

Текла въ изгнанъ жизнь моя,
Влачили я съ милыми разлуку,
Но онъ мнѣ царственную руку
Подаль—и съ вами снова я!
Во мнѣ почтилъ онъ вдохновенье,
Освободилъ онъ мысль мою,
И я-ль, въ сердечномъ умиленъ,
Ему хвалы не воспую?

Хотя этотъ мотивъ и уступалъ въ своей силѣ влиянію общественной обстановки, онъ все же надолго, если не навсегда, сохранилъ свою власть надъ Пушкиннымъ, въ свою очередь оказывая извѣстное воздѣйствіе на его взгляды, прокладывая дорогу для компромиссовъ и побуждая его примириться съ существующимъ порядкомъ.

Это примиреніе въ извѣстной степени сказалось уже и въ томъ, что нѣкоторыя струны на Пушкинской лирѣ за послѣдніе годы его жизни значительно ослабли, а то и совсѣмъ замерли. Послѣ 1828 года, когда былъ написанъ «Анчаръ», навлекшій на поэта выговоръ, гражданскіе мотивы прорываются въ поэзіи Пушкина очень рѣдко, и то лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда они вполне гармонируютъ съ господствующимъ настроеніемъ. Вообще же поэтъ въ эти годы совершенно почти уходитъ въ область чистаго художественнаго творчества, чуждаго страстнаго субъективнаго отношенія къ скорбямъ и злобѣ настоящей минуты.

Опредѣленная попытка къ примиренію сдѣлана была Пушкиннымъ, впрочемъ, не по собственному почину, уже въ 1826 г. Вскорѣ послѣ возвращенія поэта изъ ссылки гр. Бенкендорфъ передалъ ему порученіе государя «завѣяться предметами о воспитаніи юношества». «Предметъ сей—прибавлялъ Бенкендорфъ—долженъ представить вамъ тѣмъ обширнѣйшій кругъ, что вы на опытъ видѣли совершенно всѣ пагубныя послѣдствія ложной системы воспитанія». На это письмо, заключавшее въ себѣ столь недвусмысленный намекъ, Пушкинъ сперва ничего не отвѣчалъ. Лишь, когда порученіе было повторено, онъ принялся за работу и затѣмъ представилъ свою «Записку о народномъ воспитаніи». Въ ней онъ постарался провести, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ дорогихъ ему взглядовъ: онъ отстаивалъ пользу и необходимость просвѣщенія, доказывалъ возможность преподавать исторію безъ искаженія характера событій, возставалъ противъ тѣлесныхъ наказаній въ школахъ. Но на ряду съ этими свѣтлыми взглядами онъ принесъ и жертвы новому своему положенію, порою безусловно-сознательныя. Онъ предлагалъ «увлечь все юношество въ общественныя заведенія, подчиненныя надзору правительства», и «во что бы то ни

феодализму, выражалъ теперь сожалѣніе объ уничтоженіи боярскихъ правъ и униженіи старыхъ родовъ. Въ связи съ этимъ ослабляется и прежнее благоговѣйное отношеніе поэта къ Петру В.: въ «Мѣдномъ Всадникѣ», по свидѣтельству П. П. Вяземскаго, въ уста героя поэмы былъ вложенъ энергическій монологъ противъ европейской цивилизаціи, къ сожалѣнію, не сохранившійся до нашего времени, или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ не отысканный. Измѣнилось и отношеніе Пушкина къ «Исторіи» Карамзина, слабыя стороны которой онъ раньше умѣлъ отмѣтить и оцѣнить. Въ 1826 г. «Исторія Государства Россійскаго» въ его глазахъ не просто даже хорошая книга, а «подвигъ честнаго человѣка». Съ нѣкоторымъ презрѣніемъ говоритъ онъ въ это время о томъ, что Н. Муравьевъ письменно разобралъ только предисловіе Карамзина, хотя, по справедливому замѣчанію г. Пыпина, для разсмотрѣнія общихъ тенденцій Карамзина, какъ историка, что собственно и интересовало Муравьева, совершенно достаточно было разобрать предисловіе историографа ¹⁾. Охрана имени и славы Карамзина отъ всякихъ нападеній заводила подчасъ Пушкина въ это время очень далеко. Его пріятель, кн. П. А. Вяземскій, съ его согласія и одобренія подавъ министру народнаго просвѣщенія Уварову письмо о разнузданности цензуры, которая пропускаетъ въ печати излишне свободныя мысли и въ частности критику на «твореніе Карамзина, эту единственную въ Россіи книгу, истинно государственную и народную, и монархическую, и чрезъ то самое поощряетъ черную шайку разрушителей или ломщиковъ, которые только того и добиваются, чтобы можно было провозгласить: у насъ нѣтъ исторіи». Въ качествѣ членовъ этой «черной шайки ломщиковъ» донесеніе убазывало журналы «Телеграфъ» и «Телескопъ» и Устрялова, который, надо думать, и не подозревалъ, въ какихъ ужасныхъ преступленіяхъ онъ участвовалъ ²⁾. Извѣстно, что издателя «Телеграфа», Полевого, Пушкинъ вообще сильно не долюбивалъ. Эта нелюбовь подчасъ проявлялась, не безъ вліянія литературныхъ друзей поэта, въ формахъ, едва-ли его достойныхъ. Когда въ 1834 г. «Телеграфъ» подвергся запрещенію, Пушкинъ записываетъ въ своемъ дневникѣ: «Жуковскій говоритъ: «Я радъ, что «Телеграфъ» запрещенъ, хотя жалѣю, что запретили». «Телеграфъ» достоинъ

¹⁾ Сочиненія Пушкина, IV, 356; V, 82; V, 41. Пыпинъ. Общественное движеніе въ Россіи при Александрѣ I, изд. 2-е, СПб. 1885, с. 417.

²⁾ Собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, т. II, сс. 211—26. Лишь на одно мѣсто этого донесенія Пушкинъ замѣтилъ: «не лишнее ли?». Это замѣчаніе было вызвано слѣдующей фразой: «и самое 14 декабря не было ли вполнѣдствіи времени, такъ сказать, критика вооруженною рукою на мнѣніе, исповѣдуемое Карамзинымъ, то-есть Исторією Государства Россійскаго, хотя, конечно, участвующіе въ немъ тогда не думали ни о Карамзинѣ, ни о трудѣ его».

другомъ важномъ вопросѣ русской общественной жизни. Его нѣкогда напряженный и страстный интересъ къ вопросу освобожденія крестьянъ значительно ослабѣлъ за эти годы и ему случалось даже обмолвливаться въ этомъ вопросѣ аргументами, которые могли быть обращены въ пользу существующаго порядка. «Судьба крестьянина—писаль онъ въ 1834 г. въ неоконченной статьѣ своей, названной въ изданіяхъ его сочиненій «Мысли на дорогѣ»,—улучшается со дня на день, по мѣрѣ распространенія просвѣщенія. Избави меня Боже быть поборникомъ и проповѣдникомъ рабства; я говорю только, что благосостояніе крестьянъ тѣсно связано съ пользою помѣщиковъ». Вся разработка исторіи крестьянства въ XIX в., до сихъ поръ произведенная, какъ нельзя очевидно опровергла оба эти положенія, несостоятельность которыхъ была, впрочемъ, ясна и въ свое время для людей, не желавшихъ закрывать глаза на жизнь. «Злоупотребленія встрѣчаются вездѣ—продолжаетъ Пушкинъ.—Конечно, должны произойти великія перемѣны; но не должно торопить времени, и безъ того уже довольно дѣятельнаго. Лучшія и прочтѣннѣшія взмѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ одного улучшенія правовъ, безъ насильственныхъ потрясеній политическихъ, страшныхъ для человѣчества»... Въ другомъ мѣстѣ той же статьи, доказывая необходимость рекрутскихъ наборовъ, онъ прибавляетъ: «власть помѣщиковъ въ томъ видѣ, какъ она существуетъ, необходима для рекрутскаго набора» ¹⁾. Этотъ сравнительно благодушный оптимизмъ, готовый признать «довольно дѣятельнымъ» время, въ которомъ ничего не дѣлалось для рѣшенія крестьянскаго вопроса, возложить всю надежду въ дѣлѣ освобожденія на улучшение правовъ и до поры, до времени почти помириться съ необходимостью крѣпостного права, былъ мало похожъ на тѣ горячіе призывы рѣшить крестьянское дѣло, съ какими обращался къ власти юный Пушкинъ.

Послѣднія цитаты взяты нами изъ статьи, посвященной Радищеву. Еще въ 1823 г. Пушкинъ находилъ молчаніе русской литературы о Радищевѣ «непростительнымъ». Въ 30-хъ годахъ онъ дважды попытался нарушить это молчаніе. Въ 1833—4 гг. онъ писалъ большую статью, содержащую изложеніе «Путешествія изъ Петербурга въ Москву» и собственные его размышленія на затронутыя Радищевымъ темы, но не окончилъ этой статьи, не надѣясь, вѣроятно, на благополучное прохожденіе ея черезъ цензуру. Въ 1836 г. онъ написалъ для своего «Современника» новую статью: «Александръ Радищевъ», но тогдашняя цензура ее не пропустила. Въ обѣихъ этихъ статьяхъ воспоминаніе о смѣломъ писателѣ Екатерининскаго вѣка вышло, однако, не такимъ, какимъ оно было бы, вѣроятно, у Пушкина ранѣе. Многія изъ тѣхъ возраженій, какія Пушкинъ

¹⁾ Сочиненія Пушкина, V, 240, 231.

мѣнѣйшаго самого же Пушкина. Во всякомъ случаѣ изъ сказаннаго видно, что считать Пушкина въ Николаевскую эпоху выразителемъ общественныхъ идей 20-хъ годовъ было бы неправильно. И въ предшествующую эпоху къ Пушкину было бы не вполне приложимо подобное опредѣленіе, а еще менѣе возможнымъ стало оно въ 30-хъ годахъ, когда самъ Пушкинъ не мало измѣнился. Для современниковъ, какъ и для потомства, Пушкинъ былъ важенъ прежде всего великимъ художественнымъ значеніемъ своей поэзіи, въ цѣломъ всегда сохранявшей высокій и благородный характеръ. Общія идеалы поэта, въ ней выражавшіеся и тѣсно связанныя съ тою общественной средой, какая окружала его юность, несомнѣнно, оказывали воспитательное вліяніе на дальнѣйшія поколѣнія. Но нельзя было бы сказать, что чисто-публицистическія воззрѣнія поэта, особенно выражавшіеся въ 30-хъ годахъ, составляли передаточное звено между общественнымъ движеніемъ 20-хъ и 40-хъ годовъ: для этого они были слишкомъ сложны и неопредѣленны и въ нихъ вкрались слишкомъ замѣтныя уступки духу времени.

Нельзя, какъ извѣстно, сказать и того, чтобы эти уступки сильно улучшили положеніе самого поэта и много облегчили ему выполненіе его жизненныхъ задачъ. Для окружавшей его современности онъ оказывался слишкомъ малымъ, и Пушкинъ оставался человекомъ подозрительнымъ. Онъ и самъ понималъ это, хотя не сразу. Его произведенія проходили черезъ строгую цензуру и не всегда появлялись въ свѣтъ, когда онъ того желалъ, а иногда и вовсе не появлялись. Просьба его о разрѣшеніи ему газеты была отклонена и лишь незадолго до смерти онъ получилъ разрѣшеніе издавать журналъ, но и въ послѣднемъ тѣ статьи, въ которыхъ онъ пытался проводить особенно дорогіе ему взгляды, при всѣхъ оговоркахъ и смягченіяхъ, какими они сопровождались, обыкновенно задерживались. Самъ Пушкинъ, какъ мы уже упоминали, съ 1828 года находился подъ секретнымъ полицейскимъ надзоромъ и сверхъ того былъ поставленъ въ необходимость безпрестанныхъ сношеній съ шефомъ жандармовъ гр. Бенкендорфомъ, который постоянно давалъ чувствовать поэту его зависимость, дѣлаи ему, въ наружно вѣжливой формѣ, обидныя по существу замѣчанія не только по поведению его литературныхъ произведеній или поѣздокъ, безъ особаго о томъ сообщенія, по Россіи, но даже по поведению его женитбы. Приближенность къ государю не избавляла Пушкина отъ контроля надъ его перепиской, и этотъ контроль простирался даже на письма къ женѣ. Томимый двусмысленной, противорѣчивой обстановкой своей жизни, Пушкинъ не разъ помышлялъ бросить и придворную службу, и Петербургъ, но въ такихъ случаяхъ друзья упрекали его въ неблагодарности, задѣвая такими упреками за одну изъ самыхъ чувствительныхъ его струнъ. «Это хуже либерализма», говорилъ онъ и оставался, не разставаясь, однако,

Профессоръ сороковыхъ годовъ.

(Т. Н. Грановскій).

Прошло уже болѣе полустолѣтія со дня смерти Т. Н. Грановскаго. Въ его лицѣ сошелъ въ могилу одинъ изъ лучшихъ представителей русской университетской науки и одинъ изъ болѣе видныхъ вождей русскаго общественнаго движенія той поры, когда послѣднее стало принимать особенно широкій и сознательный характеръ. Ознакомиться съ духовной фizioноміей покойнаго историка, опредѣлить, какъ складывались и какъ окончательно выразились его основныя воззрѣнія, значило бы поэтому не только оглянуться на путь, пройденный русскою историческою наукою за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ, но и раскрыть передъ собою исторію умственнаго развитія русскаго общества на одной изъ болѣе любопытныхъ и содержательныхъ ея страницъ. Правда, осуществленіе такой задачи, представляющей высокій интересъ, встрѣчаетъ и серьезныя затрудненія. Грановскій гораздо болѣе далъ своимъ современникамъ, нежели оставилъ потомству. Прежде всего и болѣе всего профессоръ, дѣятель устнаго слова, онъ писалъ мало и неохотно; были на это и другія причины. Какъ бы то ни было, но, благодаря этому обстоятельству, настоящее его значеніе далеко не полно вскрывается въ тѣхъ его трудахъ, которые попали въ печать и дошли до насъ. Произведенія, напечатанныя имъ самимъ и потомъ вошедшія въ собраніе его сочиненій, отдѣльныя лекціи, записанныя и позднѣе напечатанныя его учениками и слушателями, сами по себѣ, при всемъ высокомъ значеніи, какое они могутъ имѣть, еще не способны воспроизвести передъ читателями фигуру Грановскаго во весь ея ростъ. Въ концѣ концовъ все это не болѣе, какъ отрывки, хотя и весьма значительные, обломки, въ которыхъ легко чувствуется обаятельная красота того цѣлаго, къ какому они принадлежали, но по которымъ еще нельзя составить себѣ вполнѣ отчетливаго понятія объ этомъ цѣломъ. Чтобы получить такое понятіе, чтобы ясно представить себѣ мѣсто и роль Грановскаго въ общественной жизни его эпохи, вліяніе его идей, а иногда и самый характеръ послѣдствъ чельзя

нымъ типомъ тѣхъ промежуточныхъ людей, въ которыхъ старыя идеи упорно боролись съ новыми и которые въ изнеможеніи останавливались на этой борьбѣ, не въ силахъ найти никакого исхода изъ нея и не смѣя рѣшиться смѣло пойти въ одну какую-нибудь сторону». Возможное еще недоумѣніе на счетъ того, что именно подразумѣвается здѣсь подъ «старыми» идеями, критикъ оковчательно разсѣиваетъ, сравнивая Грановскаго то съ Фонъ-Визинскимъ Митрофанушкой, то съ г-жею Простаковой и говоря въ другомъ мѣстѣ статьи, что «въ Грановскомъ сидѣли двѣ противоположныя системы міровоззрѣній: одна—допетровская, арханчская, вся основанная на средне-вѣковыхъ преданіяхъ, другая—новая, система XIX столѣтія». Стоя на распутии двухъ міровоззрѣній и въ каждомъ изъ нихъ находя симпатичныя для себя стороны, Грановскій старался всячески примирять ихъ противорѣчія, но это же самое стояніе на распутьи «располагало его враждебно ко всѣмъ направленіямъ, существовавшимъ въ его время». Отсюда г. Скабичевскій вполне логично заключилъ, что такой человѣкъ могъ вести впередъ только толпу, «всѣ умственные интересы которой сосредоточивались въ узкой сферѣ эстетическихъ вопросовъ и двухъ-трехъ романтическихъ идеальчиковъ». Грановскій ввелъ ее въ область вопросовъ общественныхъ и политическихъ, но и здѣсь онъ явился «не столько проповѣдникомъ глубокихъ истинъ или новыхъ идей, сколько художникомъ-созерцателемъ»¹⁾. Въ статьѣ г. Скабичевского Грановскому послыдался между прочимъ упрекъ за то, что онъ отстаивалъ систему классическаго образованія. Немного спустя г. Илюваискій тотъ же фактъ обратилъ въ похвалу покойному историку, утверждая, что послѣдній «ратовалъ за истинно-охранительныя начала»²⁾. Наконецъ, не такъ давно проф. А. Н. Веселовскій въ своей автобіографіи сообщилъ, что, будучи въ пятидесятыхъ годахъ студентомъ московскаго университета, онъ не могъ пристать къ поклонникамъ Грановскаго, отъ лекцій котораго ему «отдавало фразой», и въ этомъ сообщеніи проф. В. И. Ламанскій увидалъ «большой успѣхъ нашего европеизма»³⁾.

Я привелъ этотъ, немного пестрый, букетъ характеристикъ и отзывовъ не для того, чтобы разбирать или опровергать ихъ. Своего рода отвѣтъ на нихъ будетъ данъ дальнѣйшимъ изложеніемъ моего собственнаго пониманія личности Грановскаго и его значенія въ русской общественной жизни. Привожу только что процитированные отзывы, я хотѣлъ пока лишь наглядно иллюстрировать ими то обстоятельство, что имя Грановскаго сохранило еще и по-сейчасъ способность возбуждать иногда живые споры и что разногла-

¹⁾ Скабичевскій. Очерки умственнаго развитія нашего общества, Отеч. Записки, 1871, № 3, сс. 85, 88, 92, 96, 102, 105—6.

²⁾ Архивъ, 1874, 807.

³⁾ Старина, 1890, вып. 2, 232.

совѣтника солянаго управленія; мать происходила изъ богатой малороссійской фамиліи, члены которой въ 18-мъ вѣкѣ, въ періодъ самостоятельнаго существованія Малороссіи, славились своимъ умѣніемъ собирать немалыя богатства на счетъ подвластныхъ имъ крестьянъ и козаковъ. Но общественная обстановка, окружавшая Грановскаго въ эти ранніе его годы, какъ-то лишь скользнула по немъ, не оставивъ замѣтныхъ слѣдовъ въ его душевномъ складѣ. За то вліяніе расы и природы сказалось на немъ рѣзкими чертами. Малороссъ по происхожденію, сынъ свѣтлаго и вмѣстѣ задумчиваго русскаго юга, онъ какъ будто заимствовалъ отъ тамошней природы богатство поэтическихъ тоновъ своего душевнаго настроенія, мягкую ровность характера и ту прозрачную дымку легкой грусти, которая окутывала его даже въ лучшія минуты его жизни. Немало, повидимому, дѣйствовала на созданіе его характера и мать его, любящая и обладавшая нѣкоторымъ образованіемъ женщина, которую онъ страстно любилъ и вліянію которой приписывалъ впоследствии всѣ лучшія свои свойства. Но и мать не могла или не хотѣла пересилить безпечность отца и сколько-нибудь правильно поставить ученіе сына. Грановскій въ свои ранніе годы учился въ полномъ смыслѣ слова «понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь». Къ нему примѣнялась обыкновенная въ тогдашней помѣщичьей средѣ система воспитанія съ помощью гувернеровъ-иноземцевъ и пансіоновъ, но и та въ конецъ разстраивалась безалаберностью отца. Сперва у Грановскаго были гувернеры-иноземцы, благодаря которымъ онъ познакомился съ французскимъ и англійскимъ языками, затѣмъ его, тринадцати лѣтъ отъ роду, отвезли было въ Москву, въ нѣмецкій пансіонъ Кистера, но, продержавъ тамъ неполные два года, втеченіе которыхъ онъ не успѣлъ даже научиться нѣмецкому языку, взяли домой на каникулы и въ пансіонъ не вернули. Предоставленный самому себѣ, томясь скукою, онъ сталъ наполнять праздное время охотой и чтеніемъ, доставая книги изъ библіотекъ сосѣднихъ богатыхъ помѣщиковъ и читая безъ разбора все, что попадалось подъ руку. Особенно увлекался онъ въ то время Вальтеръ-Скоттомъ, впервые и съ самой свѣтлой стороны открывшимъ передъ нимъ міръ средневѣковой рыцарской Европы; любовь къ этому писателю надолго сохранилась у него и впоследствии.

Такъ проходили годы, и юношѣ грозила опасность остаться безъ всякаго систематическаго образованія. Надо было однако подумать о томъ или иномъ устройствѣ дальнѣйшей его судьбы. Отецъ позаботился толкнуть его на готовую, проторенную дорожку—опредѣлить на службу. Самъ Грановскій подумывалъ даже вступить въ военную службу, но убѣжденія матери заставили его выбрать гражданское поприще. Въ 1831 г. онъ отправился въ Петербургъ и здѣсь поступилъ на службу въ департаментъ министерства иностранныхъ дѣлъ. Вышняго толчка, заключавшагося въ перемѣнѣ об-

самостоятельномъ чтеніи. Отъ историческихъ романовъ, отъ поэтовъ онъ перешелъ къ научнымъ сочиненіямъ по исторіи. Знакомство съ корифеями исторической литературы Франціи и Англіи, съ трудами Милле, Гизо, Тьерри, Робертсона, Юма и Гиббона, пріобрѣтенное за годы университетской жизни, прочно привязало его симпатіи къ исторической наукѣ и, если не дало ему вполне цѣльнаго міровоззрѣнія, то все же обогатило его умъ рядомъ опредѣленныхъ идей. Особенно высоко цѣнилъ онъ въ это время Ог. Тьерри и даже перевелъ было на русскій языкъ двѣ части его «За-воеванія Англіи Норманнами». Между тѣмъ продолжавшаяся матеріальная небезпечность положенія Грановскаго вынуждала его искать себѣ того или иного заработка, и онъ уже очень рано выступилъ на литературное поприще, въ качествѣ сотрудника «Библіотеки для Чтенія» Сенковского. Въ 1835 г. въ этомъ журналѣ была напечатана первая историческая статья Грановскаго, составленная по Капфигу и Деппингу, подъ названіемъ «Судьбы еврейскаго народа». Статья эта, не дающая предвидѣть блестящей славы, какая окружила впоследствии ея автора, замѣчательна только своимъ яснымъ изложеніемъ и проникающимъ ее гуманнымъ настроеніемъ. Грановскій и послѣ того работалъ еще нѣсколько времени въ журналѣ Сенковского, но сношенія съ послѣднимъ не оказали на него никакого замѣтнаго вліянія. Блестящее, порою злое, порою площадное, но всегда почти безпредметное остроуміе «барона Брамбеуса», не согрѣтое никакимъ искреннимъ и страстнымъ убѣжденіемъ, было очень далеко отъ вдумчивой серьезности его юнаго сотрудника, и для Грановскаго сотрудничество въ «Библіотекѣ для Чтенія» осталось лишь средствомъ литературнаго заработка, но не сдѣлалось этапомъ его умственного развитія. Равнымъ образомъ и среди кружка товарищей-студентовъ, въ которомъ онъ вращался, онъ не встрѣчалъ сильныхъ толчковъ къ дальнѣйшему движенію впередъ. Стоя въ сущности на одной съ ними ступени развитія, онъ въ то же время многихъ изъ нихъ превосходилъ своей нравственной чистотой и едва-ли не всѣхъ — своими богатыми способностями. Эти способности обратили на него вниманіе университетскаго начальства и ему сдѣлано было предложеніе отправиться на казенный счетъ за границу для приготовленія къ профессурѣ. Но онъ считалъ себя въ это время связаннымъ романтическими отношеніями, существовавшими между нимъ и одною дѣвушкой изъ помѣщичьей семьи, жившей по сосѣдству съ имѣніемъ его отца, и отклонилъ это предложеніе. Окончивъ курсъ въ университетѣ, онъ поселился въ Петербургѣ и вновь поступилъ на службу, на этотъ разъ въ морское министерство, секретаремъ перваго отдѣленія гидрографическаго департамента: въ то же время онъ продолжалъ работать въ литературѣ, помѣщая свои статьи въ «Библіотекѣ для Чтенія» и въ «Энциклопедическомъ Лексиконѣ» Плюшара.

отпечатокъ. Грановскій менѣе, чѣмъ кто-либо, могъ избѣжать этой судьбы. Въ его мягкой, поэтической и гуманной натурѣ было много родственнаго Станкевичу. Послѣдній, раскрывъ новые горизонты его мысли, подсказавъ ему иное, болѣе широкое пониманіе науки и жизни, заставилъ звучать въ этой богатой, но не вполне еще развернувшейся натурѣ молчавшія ранѣе струны и сдѣлался руководителемъ молодого историка на новомъ поприщѣ знаній, установивъ между нимъ и собою тѣсное духовное общеніе¹⁾. Обогащенный первыми результатами этого общенія, Грановскій вышелъ за границу, въ Берлинъ, питая новыя стремленія, готовясь полнѣе воспринять впечатлѣнія и уроки европейской науки. Нѣсколько выдержекъ изъ переписки друзей лучше всего помогутъ намъ выяснитъ содержаніе этихъ стремленій и тотъ страстно-сосредоточенный характеръ, какой принимали они, по крайней мѣрѣ, у Станкевича и какой неизбежно долженъ былъ заразительно дѣйствовать и на Грановскаго. Для Станкевича Берлинъ, этотъ центръ гегеліанской философіи, являлся не обыкновеннымъ университетскимъ городомъ, въ которомъ удобно довершить свое образованіе, а своего рода обѣтованной землей, въ которой онъ надѣялся найти высшую истину, которая освѣтила бы ему всю жизнь. «Ты въ Берлинѣ! Ты достигъ цѣли твоего страствія!—писалъ онъ Грановскому 14 іюня 1836 г.—Я воображаю, какъ сжалось твое сердце, когда ты увидѣлъ этотъ нѣмецкій городъ, на который каждый изъ насъ возложилъ свою надежду... Надѣюсь, ты удержишь свое обѣщаніе и напишешь мнѣ о тѣхъ чудесахъ, отъ которыхъ мы ждемъ себѣ душевнаго возрожденія. Признаюсь тебѣ, мнѣ давно стало душно отъ этой проклятой неизвѣстности, отъ этого откладыванья. Когда же нибудь надобно отбросить эту робкую уступчивость, эту ученическую скромность, стать лицомъ къ лицу съ тѣми обольстителями души, которые тайною, отрадною надеждою поддерживаютъ жизнь ея, и потребовать отъ нихъ вразумительнаго отвѣта. Воля твоя, я не понимаю натуралиста, который считаетъ ноги у козавокъ, и историка, который, начавъ съ Ромула, въ цѣлую жизнь не дойдетъ до Нумы Помпилія,—не понимаю человѣка, который знаетъ о существованіи и спорахъ мыслителей и бѣжитъ ихъ, и отдается въ волю своего земного поэтическаго чувства. Если нельзя ничего знать, стоитъ работать до кроваваго пота, чтобы узнать хоть это. Тогда въ моемъ отчаяніи, въ моемъ ропотѣ будетъ больше счастья, больше поэзіи, по крайней мѣрѣ, нежели въ этомъ робкомъ отказѣ отъ своего достоинства, отъ своихъ потребностей, силъ. Тогда, можетъ быть, я лучше пойму смиреніе вѣры; тогда я, можетъ

¹⁾ Въ іюні 1836 г. онъ писалъ Грановскому: «ты самъ одобрилъ мои занятія, ты самъ подаль намъ руку и мы прочли въ душѣ твоей, что ты нашъ». Тамже, с. 186.

до этой поры оставалось, повидимому, непоколебленным у Грановскаго, и породившее недовѣріе къ самой наукѣ; все это привело его къ тяжелой и глухой тоскѣ. Обеспокоенный ею, Станкевичъ поспѣшалъ придти ему на помощь, тѣмъ болѣе дѣйствительную, что въ жалобахъ Грановскаго онъ слышалъ отголоски настроенія, недавно и не вполне еще пережитаго имъ самимъ. Онъ старался убѣдить Грановскаго, что сомнѣніе—необходимый и законный періодъ въ жизни человѣка: вопросъ только въ томъ, какъ перейти отъ него къ примиренію съ жизнью и къ дѣятельности. «Всякій другой рѣшилъ бы это дѣло просто: стремись къ тому, чего желаешь; ищи отвѣты на тѣ вопросы, которые съ большею силою гнетутъ тебя; ступай въ тотъ міръ, котораго гражданиномъ ты себя чувствуешь. Но я не скажу тебѣ этого—не только потому, что желѣзная необходимость заставитъ тебя заниматься многимъ, о чемъ душа не спрашивала, но и потому, что ясно сознать свои потребности не есть дѣло одной минуты». Приводя въ примѣръ собственныя занятія, онъ говорилъ, что онъ началъ было заниматься исторіей едва-ли не болѣе всего по «привычкѣ къ недѣятельности ума, которая дѣлала страшнымъ занятіе философіей и изрѣдка обдавала какимъ-то холодомъ невѣрія къ достоинству ума». Изъ этого состоянія его вывело знакомство съ ученіемъ Шеллинга. «Оковы спали съ души, когда я увидѣлъ, что въ одной всеобъемлющей идеи нѣтъ знанія, что жизнь есть самонаслажденіе любви и что все другое—призракъ. Теперь есть цѣль передо мною. Я хочу полнаго единства въ мірѣ моего знанія, хочу дать себѣ отчетъ въ каждомъ явленіи, хочу видѣть связь его съ жизнію цѣлага міра, его необходимость, его роль въ развитіи этой идеи». Тѣмъ настойчивѣе указывалъ Станкевичъ своему другу на необходимость выработки философскаго міросозерцанія, что не находилъ въ немъ задатковъ узкаго спеціалиста. «Другое дѣло—прагматическій интересъ въ наукѣ; тогда она средство, и это занятіе имѣетъ свою прелесть; но для этого надобно имѣть страсть, преодолевающую всѣ трудности, а къ такой страсти способны люди односторонніе. Ты не изъ этого рода людей:—это можно узнать, взглянувши на тебя. Больше простора душѣ, мой милый Грановскій! Теперь ты занимаешься исторіей: люби же ее какъ поэзію, — прежде, нежели ты свяжешь ее съ идеею,—какъ картину разнообразной и причудливой жизни человѣчества, какъ задачу, которой рѣшеніе не въ ней, а въ тебѣ, и которое вызовется строгимъ мышленіемъ, приведеннымъ въ науку. Поэзія и философія—вотъ душа сущаго. Это жизнь, любовь: въ ихъ все мертво. Ты скорбишь о томъ, что едва знаешь имена тѣхъ людей, которыхъ Миллеръ называлъ великими. Не говоря о томъ, что на счетъ величія людей можно имѣть разныя понятія съ Миллеромъ, я скажу: что за потребность узнать и того,

и мѣста,—какъ понято было многими энтузіастами дѣло французской революціи,—окончилась горькимъ разочарованіемъ и, чѣмъ глубже было это разочарованіе, тѣмъ настоятельнѣе сказывалась необходимость провѣрить основныя положенія старой системы пониманія общественныхъ отношеній, въ рамки которой рѣшительно не укладывались факты, слишкомъ громко говорившіе за себя, слишкомъ свѣжіе въ общей памяти, чтобы ихъ можно было обойти или забыть. Эти факты сами по себѣ способны были подорвать въ общественномъ сознаніи вѣру въ старую систему, не говоря уже о томъ, что на послѣднюю, какъ идейную виновницу недавнихъ потрясеній, было воздвигнуто и прямое гоненіе со стороны побѣдившихъ въ борьбѣ представителей старыхъ порядковъ. Научной мысли предстояло теперь создать новую теорію, которая могла бы исправить увлеченія и крайности прежде господствовавшихъ воззрѣній. Работа въ этомъ смыслѣ и была начата, когда выдвинута была идея народности. Абстрактный человѣкъ теоретиковъ XVIII столѣтія у мыслителей XIX-го уступилъ свое мѣсто понятію о національности, какъ своеобразномъ организмѣ, имѣющемъ особыя свойства, присущія всѣмъ его членамъ и опредѣляющимъ его исторію; мѣсто разсудочной философій заняло историческое изученіе. Последнее пошло при этомъ въ двухъ направленіяхъ. Одно изъ нихъ проявилось по преимуществу во французской исторіографіи и заключалось въ изученіи генезиса новыхъ политическихъ идей и формъ, утвержденныхъ на материкѣ Европы революціею; такое изученіе должно было привести и къ косвенному оправданію этихъ идей, осуществленіе которыхъ оказывалось не дѣломъ личнаго произвола, но плодомъ историческаго процесса. Дѣйствительно, съ точки зрѣнія писателей этой школы, существенною частью историческаго прогресса является развитіе личности; такимъ образомъ, подъ ихъ перомъ исторія выступила своего рода защитницею гонимаго либерализма. Болѣе глубоко и послѣдовательно, но вмѣстѣ и болѣе односторонне новое воззрѣніе развито было другимъ направленіемъ, самыя яркіе и талантливыя представители котораго дѣйствовали въ Германіи. Здѣсь именно создавалась, въ трудахъ Нибура, Савиньи, Эйхгорна, Як. Гримма и ихъ послѣдователей, цѣлая школа, выставившая своеобразное ученіе о пути историческаго развитія человѣчества. Въ прямую противоположность философамъ прошлаго столѣтія, склоннымъ едва-ли не всѣ формы человѣческой жизни выводить изъ сознательной воли единичной личности и всѣ соединенія людей разсматривать, какъ нѣчто механическое, данная школа выдвинула мысль о бессознательномъ процессѣ органическаго развитія, являющемся истиннымъ двигателемъ и вмѣстѣ единственнымъ содержаніемъ исторіи. Языкъ, право, государственныя учрежденія народа не созданы тою или другою личностью, не возникли въ силу договора, а органически и строго послѣдовательно развились изъ основныхъ особенностей народнаго характера, представляя

ставилъ «показать, сколько было положительнаго въ его выводахъ и сколько поэзіи въ его воззрѣніи на исторію»; лучшими качествами Нибура, какъ историка, онъ готовъ былъ считать его творческую фантазію и то пылкое участіе, съ которымъ онъ относился къ излагаемымъ имъ событіямъ и благодаря которому даже «становился самъ въ ряды горячихъ приверженцевъ или враговъ описываемыхъ лицъ» ¹⁾. Грановскій, съ его художественной натурой, въ которой Станкевичъ такъ рано и мѣтко опредѣлилъ отсутствіе склонности къ ученой спеціализаціи, не въ приѣмахъ, а въ результатахъ ученой работы видѣлъ главное ея достоинство и, хотя понималъ всю важность правильныхъ приѣмовъ, но неспособенъ былъ восхищаться ими самими по себѣ. Неудивительно, что при такомъ пониманіи науки онъ вынесъ особенно глубокія и поучительныя впечатлѣнія главнымъ образомъ изъ лекцій Савиньи и Риттера, о которыхъ онъ не могъ въ это время писать иначе, какъ въ восторженныхъ выраженіяхъ. Черезъ посредство Савиньи познакомился онъ съ теоріею органическаго развитія народовъ, и она легла въ основу его научныхъ воззрѣній. Новую поддержку для положеній этой теоріи и болѣе широкую ихъ постановку нашелъ онъ въ своихъ спеціальныхъ историческихъ занятіяхъ, въ философіи Гегеля, къ тщательному изученію которой онъ приступилъ съ пріѣздомъ въ Берлинъ Станкевича и въ значительной мѣрѣ подъ руководствомъ послѣдняго ²⁾.

Ученіе Гегеля слишкомъ извѣстно, чтобы излагать его здѣсь, хотя бы въ самыхъ краткихъ чертахъ. Эта единственная по своей грандіозности философская система, однимъ необычайно широкимъ размахомъ охватившая весь міръ, представившая всю жизнь природы и всю исторію человѣчества, какъ непрерывное развитіе одного и того же вѣчнаго діалектическаго процесса, въ себѣ самомъ находящаго высшую истину и полное оправданіе, глубоко потрясла и увлекла Грановскаго, избавивъ его отъ тяжелыхъ сомнѣній и обезпечивъ ему возможность цѣльнаго міросозерцанія. Въ гегелевской философіи онъ нашелъ и примиреніе съ жизнью на почвѣ признанія ея разумности, и смыслъ научной работы, направленной къ раскрытію этой разумности. «Міръ Божій — читаемъ мы въ одномъ берлинскомъ письмѣ Грановскаго — хорошъ и разуменъ, только на него надо смотрѣть разумными очами. А у насъ часто преглуныя очи. Хаосъ въ насъ, въ нашихъ идеяхъ, въ нашихъ повятіяхъ, а мы приписываемъ его міру. Точно какъ человѣку въ зеленыхъ очкахъ все кажется зеленымъ, хотя

¹⁾ Сочиненія Грановскаго, 3 изд., ч. II, 8, 118, 49.

²⁾ Любопытно отмѣтить, какъ даже въ нѣкоторыхъ частностяхъ Грановскій слѣдовалъ толкованіямъ своего друга; ср. хотя бы объясненіе мѣтнія Гегеля о безполезности исторіи въ письмѣ Станкевича 25 іюня 1838 г. и въ рѣчи, произнесенной Грановскимъ въ 1852 г. (Переписка, 264 и Сочиненія Грановскаго, ч. I, 23—4).

всецѣло уйти въ абстрактныя схемы его философіи, ни принять вполне представленныя ею односторонніе уроки консерватизма, начавшіе къ тому же вызывать отпоръ и среди самихъ нѣмецкихъ гегеліанцевъ. Этому мѣшали и сильно развитое въ немъ художественное чувство, и его сознательно-направленный интересъ къ современности. Онъ слишкомъ сильно чувствовалъ красоту прошлой жизни человѣчества, чтобы быть въ состояніи пожертвовать ея красками и цвѣтами голымъ научнымъ построеніемъ, и нерѣдко, начавъ работу, какъ строгій мыслитель, онъ оканчивалъ ее, какъ истинный художникъ. «Я—писалъ онъ Невѣрову изъ Берлина—прочелъ и цѣнялъ въ подлинникѣ Тацита. Какая душа была у этого человѣка! Послѣ Шекспира мнѣ никто не далъ такого наслажденія. Я хотѣлъ было дѣлать изъ него выписки, читать, какъ историка, и не сдѣлалъ ничего, потому что читалъ его, какъ поэта. У него болѣе истинно-человѣческой грустной поэзіи, нежели у всѣхъ римскихъ поэтовъ вмѣстѣ. У него мало любви, но за то какая благородная ненависть, какое прекрасное презрѣніе» ¹⁾. Въ Берлинѣ Грановскій встрѣтился, между прочимъ, съ супружеской четой Фроловыхъ, скоро и близко сдружился съ ними и впоследствии заявлялъ, что ничье вліяніе не было для него такъ благотворно, какъ ихъ. По словамъ же пріятеля Грановскаго, вмѣстѣ съ нимъ жившаго въ Берлинѣ, Я. М. Невѣрова, вліяніе Е. П. Фроловой, высоко образованной и развитой женщины, сказалось въ томъ, что «она заставила Грановскаго вглядываться въ современное общество, сочувствовать его интересамъ и оживила его взглядъ какъ на минувшую жизнь человѣчества, такъ и на настоящее его стремленіе» ²⁾. Болѣе близкое знакомство съ тогдашней европейской жизнью не могло не подорвать вѣры въ полное совершенство существующихъ отношеній, и этотъ практическій комментарий къ отвлеченной теоріи долженъ былъ благотворно подѣйствовать на Грановскаго. Наконецъ, вліяніе нѣмецкихъ историковъ и философовъ только заслонило собою, но не заглушило окончательно болѣе раннихъ впечатлѣній, вынесенныхъ имъ изъ изученія французскихъ историческихъ писателей. Темой своей магистерской диссертациі онъ выбиралъ въ это время вопросъ объ образованіи и упадкѣ народныхъ общинъ въ средніе вѣка, бывшій предметомъ изученія Гизо и Тьерри. Слѣдовъ того же вліянія нельзя не видѣть и въ общемъ опредѣленіи, какое придавалъ Грановскій исторіи. «Меня—писалъ онъ—почти исключительно занимаетъ развитіе политической формы и учреждений. Это одностороннее направленіе, но я не могу изъ него вырваться». Съ этой точки зрѣнія онъ не придавалъ большого значенія средневѣковой исторіи славянства, хотя тепло относился къ вождямъ пробуждавшагося славянскаго движенія и умѣлъ

¹⁾ Русская Старина, 1880, № 4, 746.

«Т. Н. Грановскій», с. 76; Русск. Старина, 1880, № 4, с. 754

взгляды Грановскаго и накопились у него знанія, его пачинало все сильнее тянуть на родину, къ живому общественному дѣлу, какое онъ усматривалъ для себя въ профессорствѣ. Сухая и одинокая кабинетная работа была не по немъ. Ему нужно было дѣлаться съ другими результатами своихъ трудовъ, переводить мысль немедленно въ живое слово и видѣть вызванное имъ впечатлѣніе. «Мнѣ надоѣло бездѣйствіе, — писалъ онъ въ концѣ своего пребыванія въ Берлинѣ. — Положимъ, что я не теряю времени здѣсь, что свѣдѣнія мои увеличиваются съ каждымъ днемъ, но работать только для себя скучно, мнѣ нужна живая дѣятельность». Планъ и значеніе этой дѣятельности уже вырисовывались передъ нимъ, увѣренность въ своихъ силахъ явилась вмѣстѣ съ опредѣленностью взглядовъ. «Мнѣ кажется, что я могу дѣйствовать при настоящихъ моихъ силахъ и дѣйствовать именно словомъ, — писалъ онъ друзьямъ. — Что такое даръ слова? краснорѣчіе? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убѣжденія. Я увѣренъ, что меня будутъ слушать студенты. У меня еще нѣтъ свѣдѣній, нужныхъ для историка въ настоящемъ смыслѣ; я еще не знаю исторіи, но мнѣ кажется, что понимаю и чувствую ее» ¹⁾. Такимъ образомъ онъ нашель, наконецъ, свое истинное призваніе, настоящую свою дорогу въ жизни: избранная наука явилась для него не средствомъ личнаго существованія, не интереснымъ занятіемъ, удовлетворяющимъ личные вкусы, а поприщемъ для служенія важнѣйшимъ интересамъ родного общества и народа.

Пребываніе въ Берлинѣ закончило собою для Грановскаго подготовительный періодъ его жизни и оно же наиболѣе содѣйствовало выясненію и упроченію главныхъ особенностей его духовной личности, вполне определенно сложившейся ко времени его пріѣзда въ Москву. Мы не хотимъ сказать этимъ, чтобы его взгляды въ данную пору вылились въ настолько прочную и окаменѣлую систему, что не были способны къ дальнѣйшему развитію и не допускали возможности какихъ-либо пзмѣненій. Основные его воззрѣнія, дѣйствительно, остались неизмѣнными, но отдѣльные и очень существенные взгляды подвергались весьма сильнымъ подчасъ видоизмѣненіямъ, о которыхъ намъ придется еще говорить. И эти видоизмѣненія являлись результатомъ не только работы отвлеченной мысли, но и окружающей ученаго обстановки, вызывались попытками отвѣта на запросы, предъявлявшіеся къ нему общественною жизнью, съ которой онъ вошелъ теперь въ постоянное и тѣсное соприкосновеніе. Насколько тихо и спокойно было теченіе предыдущей жизни Грановскаго, сперва въ Петербургѣ, потомъ за границей, настолько же его московская жизнь, оставаясь по внѣшности довольно однообразной, была богата постояннымъ внутреннимъ движеніемъ. Благодаря

¹⁾ «Т. Н. Грановскій», 92, 86.

приходилось читать болѣе ответственныя съ этой точки зрѣнія предметы, нерѣдко сводили свои лекціи на остроты и балагурство. Такъ, Василевскій вмѣсто лекцій по международному праву рассказывалъ анекдоты изъ древней исторіи, или Сандуновъ замѣнялъ критическій разборъ русскихъ законовъ устраиваемыми въ аудиторіи примѣрными образцами суда, подбирая застѣвателей изъ студентовъ-заицъ. Въ самыхъ отношеніяхъ между профессорами и студентами еще не исчезла грубоватая патріархальность нравовъ, позволявшая профессору видѣть въ своемъ слушателѣ не то ученика, не то подчиненнаго: въ устахъ многихъ профессоровъ угрозы не только исключеніемъ изъ университета, но и отлачей въ солдаты были довольно обыкновеннымъ средствомъ для возстановленія нарушенной въ чемъ-либо дисциплины ¹⁾. Съ университетской кафедры, правда, поставленной въ тяжелыя условія вслѣдствіе павшаго на нее подозрѣнія въ неблагонадежности, рѣдко раздавалось живое слово, еще рѣже высказывались взгляды, которые дѣйствительно стояли бы на высотѣ современной науки, и лишь временами и поодиночкѣ на ней появлялись люди, способные зажечь «свещенный огонь» въ душѣ молодежи, дать толчокъ къ сознательной критической работѣ мысли. Одно время такую роль игралъ М. Т. Каченовскій, извѣстный какъ основатель скептической школы въ русской исторіографіи. Его возраженія противъ Карамзинскаго изображенія русской исторіи, ставшаго или, вѣрнѣе, бывшаго и въ самый моментъ своего появленія вмѣстѣ и изображеніемъ казеннымъ, нашли себѣ живой отголосокъ въ умахъ молодыхъ слушателей; мысли его о недостоверности древней русской исторіи, основанной на сомнительныхъ источникахъ, совпали съ нарождавшимися образованіями болѣе научнаго построения исторіи и на первыхъ порахъ вызвали значительный энтузіазмъ. Но Каченовскій, не обладавшій серьезнымъ общимъ образованіемъ, бывшій лишь дѣльнымъ специалистомъ-самоучкой, усвоилъ себѣ въ сущности лишь одни вѣтшіе приемы новой исторической науки, оставшись чуждымъ ея духу. Онъ остановился на формальной критикѣ источниковъ, самыя основанія которой были къ тому же выбраны имъ неудачно, и не пошелъ далѣе. Молодое поколѣніе скоро обогнало его и, продолжая относиться къ нему съ почтительнымъ уваженіемъ, усиливавшимся еще тѣмъ обстоятельствомъ, что отрицательныя взгляды Каченовскаго навлекли на него своего рода опалу, выразившуюся въ перемѣщеніи его на кафедру славянскихъ нарѣчій, не видѣло въ немъ болѣе своего учителя. Къ концу же тридцатыхъ годовъ онъ уже такъ одрихлялъ, что, по разсказу Ю. О. Самарина, «не былъ въ состояніи прочесть о чемъ бы то ни было лекціи

¹⁾ См. въ упомянутомъ трудѣ г. Пыпина пересказъ нѣкоторыхъ подобныхъ эпизодовъ, I, 46, 61—5; ср. также любопытныя воспоминанія Костенецкаго о московскомъ университетѣ конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ Р. Архивъ, 1887 г.

и несколько лѣтъ курсъ всеобщей исторіи. Сознывая уже необходимость строго-научнаго построения исторіи, но, не располагая ни серьезной обще-образовательной подготовкой, ни широкимъ и свѣтлымъ умомъ теоретика, ни пламеннымъ энтузіазмомъ къ наукѣ, который позволилъ бы ему всецѣло отдаться ей, онъ почерпалъ свои воззрѣнія наполовину изъ старыхъ взглядовъ Карамзинскаго пошиба, несостоятельность которыхъ онъ самъ уже чувствовалъ, наполовину изъ ходячихъ идей шеллингiana, знакомаго ему больше по наслышкѣ, и въ результатѣ получалось нѣчто весьма толорное и неудобоваримое. Его довольно богатые фактическія свѣдѣнія, давшія ему возможность, особенно въ области древней русской исторіи, придти къ нѣкоторымъ вѣрнымъ частнымъ выводамъ, въ цѣломъ слагались въ крайне уродливую систему, послѣдній выводъ которой, добывавшійся путемъ самыхъ произвольныхъ пріемовъ и самыхъ грубыхъ аналогій, сводился къ тому, что въ основѣ исторіи лежитъ чудесный и ничѣмъ съ научной точки зрѣнія необъяснимый производъ ¹⁾. Безплодность научнаго изслѣдованія, обращающагося въ восторженный или, вѣрнѣе, напыщенный хвалебный гимнъ невѣдомой силѣ, скоро оцѣнили студенты, да временами, кажется, понималъ ее и самъ профессоръ. Начиная въ 1832 г. курсъ по русской исторіи* Погодинъ писалъ: «хочется пройти русскую исторію въ родѣ Гизо». Когда же ему поручено было читать и всеобщую исторію, онъ пришелъ въ полный восторгъ. «Я подамъ руку—записывалъ онъ въ своемъ дневникѣ—Шлегелю, Гердеру, Вико. Читалъ Шлегеля. Мысли выскажутся у меня о всякую страницу и, если я не произведу реформаціи въ исторіи, то открою многіе виды». Но прошло около четырехъ лѣтъ и это наивно-самодовольное увлеченіе уступило мѣсто сознанію горькой истины. «Нѣтъ,—пишетъ теперь Погодинъ—лекціи не мое дѣло, какъ мало я приготовленъ къ профессорству исторіи... Но когда мнѣ! Я все печаталъ... Нѣтъ, на лекціяхъ моихъ есть польза, кто хочетъ слушать, но скука слушать» ²⁾. «Польза», дѣйствительно, была для немногихъ спеціалистовъ, которымъ Погодинъ могъ сообщить цѣнныя частныя свѣдѣнія по русской исторіи, хотя и это онъ дѣлалъ не особенно часто, за то «скука» была общею для спеціалистовъ и не-спеціалистовъ, рѣшительно господствуя на лекціяхъ. Даже русскую исторію Погодинъ читалъ, придерживаясь Карамзина, что же касается курса всеобщей исторіи, то въ немъ онъ прямо ставилъ своей цѣлью «представлять на лекціяхъ полныя извлеченія изъ классическихъ сочиненій» ³⁾ и, дѣйстви-

¹⁾ Мѣткая и яркая, хотя сжатая, характеристика Погодина, какъ историка, дана П. Н. Милюковымъ въ его книгѣ: «Главныя теченія русской исторической мысли XVIII и XIX столѣтія».

²⁾ Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, IV, 60, 172, 348. О характерѣ Погодинскихъ лекцій см. рассказъ С. М. Соловьева въ его воспоминаніяхъ, Р. Вѣстникъ, 1896, № 2.

³⁾ Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, IV, 138.

шею убѣжденностью, выражавшеюся въ неопредѣленныхъ мессіанистическихъ идеяхъ его главныхъ сотрудниковъ. Развивая свою программу, Погодинъ и Шевыревъ пользовались при этомъ приемами нѣмецкой учености. Само собою разумѣется, что послѣдняя вообще, и въ частности шеллингизмъ, съ которымъ редакторы «Москвитинина» старались сохранить связи, играли здѣсь уже чисто пассивную роль и порою даже должны были выносить довольно насильственные операціи.

Но и вообще университетское шеллингизмъ не представляло собою особенно прогрессивнаго факта. Конечно, можно сказать, что послѣ наивнаго мистицизма, господствовавшаго въ широкихъ слояхъ русскаго общества конца XVIII и начала XIX столѣтій, и послѣ непродолжительнаго, впрочемъ, увлеченія французскимъ эклектизмомъ, даже переходъ къ философскому мистицизму Шеллинга, къ его непосредственному созерцанію абсолюта, раскрывавшагося посредствомъ философіи тождества, которая, по ѣдкому выраженію Гегеля, «выдавала абсолютное за ночную темноту, въ которой всѣ кошки сѣры», являлся шагомъ впередъ въ области теоретической мысли. Но наиболѣе крупные послѣдователи ученія Шеллинга, счумѣвшіе болѣе самостоятельно отнестись къ его системѣ и вмѣстѣ нашедшіе для его идей нѣкоторое практическое приложеніе въ русской общественной жизни, во всякомъ случаѣ болѣе достойное самого ученія, чѣмъ то, какое сдѣлали изъ нихъ Погодинъ и его ближайшіе друзья, эти послѣдователи стояли виѣ стѣнъ университета. Таковъ былъ прежде всего И. В. Кирѣевскій, первый теоретикъ и вождь славянофильства, воспитавшій свои взгляды на изученіи европейской романтической литературы и Шеллиговой философіи; хотя позднѣе онъ и познакомился съ Гегелемъ и даже слушалъ въ 1830 г. его лекціи въ берлинскомъ университетѣ, но онѣ не оказали на него глубокаго вліянія и онъ воспринялъ изъ нихъ лишь нѣкоторые внѣшніе приемы гегелевской діалектики. Рядомъ съ Кирѣевскимъ, примыкая ко всѣмъ его основнымъ идеямъ, стоялъ А. С. Хомяковъ, помогая ему строить самостоятельную систему воззрѣній въ духѣ романтической народности на почвѣ философіи, противопоставившей, въ качествѣ истинныхъ источниковъ познанія, фантазію и непосредственное чувство разсудку. Корни славянофильства, этой особой формы русскаго романтизма, лишь наполовину лежали, однако, въ европейской философіи, наполовину же они принадлежали реальнымъ условіямъ русской жизни. Въ началѣ XIX столѣтія русское общество пережило быстро слѣдовавшіе одинъ за другимъ періоды либерализма и консервативной реакціи. Та часть передовыхъ людей общества, которая, будучи застигнута понятнымъ движеніемъ, не захотѣла принять въ немъ участія и попыталась ему противодѣйствовать, была имъ раздавлена, и тяжелый ударъ 1825 года, казалось, положилъ конецъ общественному движенію въ Россіи. Въ обществѣ, въ которомъ элементы самостоятельной крити-

ствовавшихъ въ жизни фактовъ: взятыхъ изъ жизни лишь въ наиболѣе общей своей формѣ и переработанныхъ при помощи нѣмецкой философіи, они возвращались обратно въ жизнь настолько видоизмѣненными, настолько отличающимися отъ нея, что самое появленіе ихъ неизбѣжно возбуждало работу критической мысли и яснѣе вскрывало неудовлетворенность нравственного чувства въ дѣйствительности. Печать квіетизма не лежала поэтому необходимо на давней программѣ и въ рукахъ другихъ, болѣе энергичныхъ и страстныхъ по натурѣ людей, чѣмъ Кирѣевскій и Хомяковъ, она могла даже принять характеръ боевой. Не менѣе серьезную сторону славянофильства составляла и та особенность этого направленія, что оно впервые у насъ отдѣлило начало народности отъ облакавшихъ его рамокъ государственности и стало придавать ему самостоятельное значеніе. Но эти частныя заслуги славянофильства, при всей ихъ важности, не могли возмѣстить основной ошибки его вождей, поставившихъ исходной точкой своей дѣятельности указанія чувства въ противоположность требованіямъ разсудка.

Философскія вѣянія, проникавшія въ русское общество, скоро вызвали однако и иное направленіе, болѣе свѣжее, хотя на первыхъ порахъ и болѣе абстрактное, а одно время даже и болѣе консервативное. Въ серединѣ тридцатыхъ годовъ на скамьяхъ московскаго университета около Станкевича составилъ кружокъ студентовъ, подъ вліяніемъ лекцій профессоромъ-шеллингистомъ приступившій къ самостоятельному изученію Шеллинга и быстро перегнавшій своихъ учителей. Еще до отъѣзда Станкевича за границу кружокъ перешелъ отъ Шеллинга къ Гегелю, и эти занятія не только не прекратились съ отъѣздомъ первоначальнаго главы кружка, но приобрѣли еще, особенно благодаря незадолго до того вступившему въ него Бакунину, крайне напряженный характеръ, такъ неподражаемо-ирко изображенный авторомъ «Былого и Думъ». «Нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики Гегеля, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ почей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности и ея по-себѣ бытіи». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней». Въ этой замѣнѣ одной метафизической системы другою скрывался серьезный смыслъ, такъ какъ она знаменовала возстановленіе правъ

ума, но на первыхъ порахъ она происходила съ такимъ наивнымъ увлеченіемъ, что принимала подчасъ прямо комичныя формы. Жизнь какъ бы а свое самостоятельное значеніе и обращалась исключительно въ философіи. «Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное,—говорить—всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя катего-

смысла и ею могут заниматься только пустые головы. Люби добро и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезным. Еслибы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства,—тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею страной въ мірѣ» ¹⁾. Итакъ, воздѣйствіе на жизнь чрезъ посредство и въ духѣ религіознаго чувства и примиреніе съ дѣйствительностью при помощи науки—таковы были полюсы, между которыми колебалась мысль московскихъ философскихъ кружковъ данной поры.

Параллельно съ этими философскими увлеченіями, приводившими къ большому или меньшему общественному консерватизму, въ жизни московской университетской молодежи за 30-е годы шло, впрочемъ, и другое, не столь замѣтное, но не менѣе серьезное по своему смыслу теченіе, имѣвшее болѣе практическій характеръ. Время отъ времени въ ея средѣ дѣлались попытки возстановить порванную въ 1825 г. нить либеральнаго общественнаго движенія. Такой попыткой явился въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ т. н. Сунгуровскій кружокъ, быстро погибшій ²⁾, такую же попыткой былъ и сложившійся немного позже кружокъ Герцена и Огарева, съ его неясной въ деталяхъ, но яркой въ общей своей постановкѣ программой общественной дѣятельности, съ его пропагандой сенъ-симонизма и политическихъ идей, воспитанныхъ по преимуществу на французской литературѣ. Разсѣянные изъ Москвы въ 1834 г. члены этого послѣдняго кружка вновь начали собираться сюда къ концу 30-хъ годовъ и, враждебно столкнувшись съ Бѣлинскимъ, въ свою очередь взяли за изученіе Гегеля. Но для нихъ результатъ этого изученія сложился какъ разъ въ обратную сторону: откинувъ консерватизмъ, навязанный Гегелемъ своей философіей, они нашли въ его діалектикѣ новое и могучее орудіе для поддержанія и развитія своихъ общественныхъ взглядовъ, примкнувъ такимъ образомъ къ слагавшемуся въ Германіи дѣловому гегелианству. Вражда кружковъ перешла было даже, подъ впечатлѣніемъ гнѣвныхъ статей раздраженнаго первыми возраженіями Бѣлинскаго, въ прямой разрывъ, но затѣмъ скоро недоразумѣнія были устранены и борющіеся партіи перемѣнили фронтъ. Это послѣднее произошло однако уже послѣ пріѣзда Грановскаго и при его дѣятельномъ участіи.

¹⁾ Пыпинъ. Бѣлинскій, его жизнь и переписка, I, 226, 227, 182, 179. Бѣлинскій восхищался въ эту пору и тѣмъ, что «власть даетъ намъ полную свободу думать и мыслить, но ограничиваетъ свободу громко говорить и вмѣшиваться въ ея дѣла», и видѣлъ въ стѣсненіи «политическаго направленія» «самое благонамѣренное средство» къ распространенію мысли, такъ какъ «политика есть вино, которое въ Россіи можетъ превратиться даже въ опіумъ», тамже, 181—2.

²⁾ Его любопытная исторія разсказана однимъ изъ его участниковъ въ упомянутыхъ выше воспоминаніяхъ Костенецкаго.

поприщѣ покрыла его имя славой, какая достается на долю рѣдкаго писателя.

Къ концу тридцатыхъ годовъ въ московскомъ университетѣ уже сильнѣе повѣяло новымъ духомъ, и не только въ студенческихъ аудиторіяхъ, но и на профессорскихъ кафедрахъ. Не мало способствовало этому и появленіе во главѣ управленія учебнымъ округомъ свѣжаго человѣка, умѣвшаго цѣнить и уважать истинную науку, — гр. Строганова. Наибольше одряхлѣвшіе и неспособные профессора одинъ за другимъ уходили съ университетскихъ кафедръ, а на ихъ мѣсто появлялись молодые ученые, по большей части сами причастные тому возбужденію, какое охватило уже лучшую, хотя и немногочисленную, часть общества, побывавшіе за-границей, главнымъ образомъ въ Берлинѣ, и приносившіе съ собою оттуда горячій энтузіазмъ къ наукѣ и свѣжіе взгляды, образовавшіеся подъ сильнымъ вліяніемъ гегеліанской философіи. Нѣсколько талантливыхъ и блестящихъ молодыхъ профессоровъ, какъ Крюковъ, Рѣдкинъ, Крыловъ, занимали уже кафедры въ университетѣ, когда Грановскій началъ свои лекціи. Въ короткое время онъ далеко выдвинулся изъ ряда всѣхъ своихъ товарищей и пріобрѣлъ пламенное сочувствіе университетской молодежи, не измѣнившее ему до самаго конца его жизни. Его лекціи производили потрясающее впечатлѣніе на слушателей, единогласно засвидѣтельствованное многочисленными показаніями. На кафедрѣ, лицомъ къ лицу съ симпатично настроенной аудиторіей, Грановскій чувствовалъ себя въ родной стихіи и, дѣйствительно, онъ обладалъ всѣми данными для глубокаго и прочнаго вліянія на своихъ слушателей. Первое время уже одна его наружность дѣйствовала на воображеніе и возбуждала симпатію къ нему. «Онъ имѣлъ — пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ одинъ изъ первыхъ его университетскихъ слушателей, С. М. Соловьевъ, — малороссійскую, южную фizioномію; необыкновенная красота его производила сильное впечатлѣніе не на однихъ женщинъ. Своею наружностью онъ лучше всего доказывалъ, что красота есть завидный даръ, очень много помогающій человѣку въ жизни. Онъ имѣлъ смуглую кожу, длинные черные волосы, черные, огненные, глубоко смотрящіе глаза»¹⁾. Обаятельность наружности молодого профессора заключалась, насколько можно судить по отзывамъ, главнымъ образомъ въ томъ, что за нею живо чувствовалась душевная красота и мягкая поэтичность всего его существа. Герценъ, описывая свое первое свиданіе съ Грановскимъ въ 1840 г., говоритъ: «онъ мнѣ понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами съ насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой... Черты, костюмъ, темные волосы — все это придавало столько изящества и граціи его личности, стоявшей на предѣлѣ ушедшей

¹⁾ Русскій Вѣстникъ, 1896, № 2, 17.

но, что присутствующіе превращались въ слухъ и наслажденіе; нерѣдко по лицу иныхъ скатывались слезы»¹⁾. Прошли года, унесшіе съ собою вышнее обаяніе личности лектора, усилившіе старые его природныя недостатки и породившіе новые, а эта власть его надъ умами аудиторіи оставалась непоколебленной. Позволимъ себѣ привести еще одно свидѣтельство,—разсказъ студента, который принадлежалъ къ послѣднему курсу, слушавшему Грановскаго, о первой его лекціи въ 1855 году. «Первое впечатлѣніе не оправдало ожиданій: передъ нами сидѣлъ пожилой господинъ съ круглымъ брюшкомъ, огромною лысиной, красный и толстый, сидѣлъ неподвижно, молчалъ и отдувался. Началъ онъ лекцію тихо, шепелявымъ голосомъ, присюсюкивая: вся фигура выражала собою не то анатію, не то усталость. Но это впечатлѣніе исчезло очень скоро, съ первыхъ же фразъ, отрывочныхъ, нерѣдко безсвязныхъ, произносимыхъ съ долгими интервалами и тяжелыми вздохами. Передъ аудиторіей, какъ бы застывшей въ глубочайшемъ вниманіи, стали понемногу развертываться одна за другою картины средневѣковой жизни, исполненныя смысла и красоты... Чѣмъ дальше говорилъ знаменитый профессоръ, тѣмъ дальше отодвигалась окружающая дѣйствительность; онъ уводилъ свою аудиторію въ сѣдую глубь вѣковъ, воскрешалъ передъ нею минувшіе идеалы, оживлялъ въ чарующихъ образахъ давно сошедшіе со сцены типы, а надъ всѣмъ этимъ какъ-то незаметно, сами собою вставали въ сердцахъ слушателей великія начала человѣчности, свѣта, правды и добра»²⁾.

Тайна такого сильнаго и такого прочнаго вліянія, очевидно, не могла скрываться въ одной лишь прелести разсказа, какъ бы ни была велика эта послѣдняя. Даже въ приведенныхъ уже нами отзывахъ сквозятъ указанія на то, что своимъ успѣхомъ Грановскій былъ обязанъ не столько вышнему способу изложенія, сколько самому содержанію и характеру своихъ идей. Въ свое время это хорошо понимали его противники, равно какъ и самъ онъ какъ нельзя болѣе рѣшительно отклонялъ отъ себя роль простого разсказчика историческихъ событій. Когда въ 1843 году онъ читалъ публичный курсъ, его обвиняли Шевыревъ и Погодинъ въ томъ, что онъ пользуется кафедрой историка для изложенія своихъ воззрѣній. Грановскій принялъ эти обвиненія и отвѣтилъ на нихъ—съ кафедры же. «Это отчасти справедливо,—заявилъ онъ—я имѣю убѣжденія и провожу ихъ въ моихъ чтеніяхъ; еслибъ я не имѣлъ ихъ, я не вышелъ бы публично передъ вами для того, чтобы разсказывать, больше или меньше занимательно, рядъ событій». Признавая за Грановскимъ опредѣленность научныхъ взглядовъ, нѣкоторые изъ современниковъ посылали ему другой упрекъ, отрицая самостоятельность этихъ взглядовъ. Впервые такой упрекъ

¹⁾ Изъ дальнихъ лѣтъ. Воспоминанія Т. П. Пассекъ, II, 373.

²⁾ Обнинскій. Изъ воспоминаній юриста, Р. Архивъ, 1892, № 1, 103—4.

вое единство, систему многообразныхъ силъ, надъ которыми владычествуетъ одна, основная». Причины измѣненій въ исторіи народа лежатъ не вѣ, но внутри его, и сводятся къ этой основной силѣ, иначе, къ «народному духу, который при безконечномъ разнообразіи лицъ и круговъ, къ которымъ они принадлежатъ, отражается во всемъ и, не смотря на разнородность частныхъ цѣлей, удерживаетъ одно общее направленіе». Въ представленіи Грановскаго этотъ духъ народа не вытекаетъ изъ вѣшнихъ вліяній, не взирая на все ихъ могущество; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ «живая, дѣятельная сила, а не страдательная масса; онъ усваиваетъ себѣ все приходящее извнѣ и кладетъ на него свою печать, какъ господинъ и хозяинъ». Всѣ существенныя явленія исторіи порождаются этой основной силой: «дѣла народа, его судьбы, учрежденія, религія, языкъ, искусство — суть откровенія народнаго духа, органы его дѣятельности». Въ волнахъ послѣдняго тонетъ, наконецъ, и единичная человѣческая личность, такъ какъ даже великіе люди лишь «цвѣтъ народа, котораго духъ въ нихъ является въ наибольшей красотѣ». Историкъ предстоить наблюдать проявленія указанной силы, но изслѣдовать и объяснить ее самое онъ не въ состояніи: «происхожденіе-врожденнаго генія народа непроницаемо, сущность таинственна». За то могутъ быть изслѣдованы законы его развитія или, что то же, органическаго роста, выражающагося въ постоянной смѣнѣ вѣчно новыхъ противоположностей. Всеобщая исторія, понимаемая такимъ образомъ, какъ тождественная съ философій исторіи, охватываетъ лишь «общее существенное» въ развитіи человечества, лишь логически необходимые моменты этого развитія, но никакъ не всѣ частныя его случаи, и, слѣдовательно, не совпадаетъ со «всемирной исторіей»; только въ далекомъ будущемъ можно ожидать «исторіи поднаго человечества», которая включитъ въ себя всѣ нетронутыя исторіею народы.

Такова была первоначальная схема историческихъ воззрѣній Грановскаго, всецѣло заимствованная имъ изъ нѣмецкой философской и исторической литературы. При всѣхъ несомнѣнныхъ достоинствахъ этой идеалистической схемы, строго развитой изъ одного начала, стройность ея логическихъ формулъ нѣсколько покупалась цѣною ихъ содержательности и въ концѣ концовъ вся система приводила къ глухой стѣнѣ, прыжокъ черезъ которую совершался при посредствѣ чисто-метафизическаго понятія. Но Грановскій и не остановился окончательно на теоріяхъ органической школы и строгого гегеліанства. Онѣ послужили для него лишь первыми ступенями въ его собственныхъ историческихъ построеніяхъ. Прочно усвоивъ себѣ то, что въ нихъ было наиболѣе цѣннаго — понятіе объ исторіи, какъ о строго-закономѣрномъ процессѣ развитія силъ и формъ народной жизни, — онъ скоро пошелъ дальше и расширилъ свой кругозоръ. Наполняя усвоенную систему живымъ содержаніемъ, онъ скоро долженъ былъ убѣдиться въ сравнитель-

словами названнаго лексикона, выразили слѣдующимъ образомъ: «необходимость побѣды ихъ, ихъ виновность даже, ясны, средства употребленныя гнусны; такъ и въ новѣйшей исторіи мы часто видимъ необходимость побѣды, но не можемъ отказать ни въ симпатіи къ побѣжденнымъ, ни въ презрѣніи къ побѣдителямъ». Трудно не видѣть въ этихъ словахъ шага впередъ къ мыслепобужденію изъ-подъ чуждой власти отвлеченной формулы необходимости. Въисте «оправданія» исторіи задачей историка въ нихъ ставится лишь *объясненіе* ея, не исключающее возможности параллельной нравственной оцѣнки объясняемыхъ фактовъ. Въ своемъ университетскомъ курсѣ этого же года Грановскій, говоря о корифеяхъ нѣмецкой исторической школы, мѣтко указывалъ самую слабую сторону ихъ, замѣчая, что «они хорошо повидали прошедшее, но не понимали настоящаго и будущаго» ¹⁾. Подобный протестъ противъ неподвижнаго консерватизма, основаннаго на безграничномъ уваженіи къ результатамъ исторіи, какъ плодотворнаго общенароднаго духа, неизбежно приводилъ къ попыткамъ разложенія этихъ результатовъ и опредѣленія той роли, какую играло въ ихъ созданіи индивидуальное творчество. Грановскій въ своихъ печатныхъ работахъ нѣсколько разъ возвращался къ такимъ попыткамъ. «Многочисленная партія—писалъ онъ въ 1847 г.—подняла въ наше время вѣяніи народныхъ преданій и величаетъ ихъ выраженіемъ общаго непогрѣшимаго разума. Такое уваженіе къ массѣ неубыточно. Довольствуясь совершеніемъ собственной красоты, эта теорія не требуетъ подвига. Но въ основаніи своемъ она враждебна всякому развитію и общественному успѣху. Массы, какъ природа или какъ скандинавскій Торъ, бессмысленно-жестоки и бессмысленно-добродушны. Онѣ коснѣютъ подъ тяжестью историческихъ опредѣленій, отъ которыхъ освобождается мысль только отдѣльная личность. Въ этомъ разложеніи массы мысль заключается процессъ исторіи. Ея задача—нравственная, просвѣщенная, независимая отъ роковыхъ опредѣленій личность и сообразное требованіямъ такой личности общество» ²⁾. Выписанное нами мѣсто едва-ли не наиболее ярко отражаетъ въ себѣ тотъ новый взглядъ, къ какому пришелъ Грановскій и какой, отдавая его отъ нѣмецкой исторической школы, въѣхъ съ тѣмъ вновь сблизилъ съ французскими учеными и особенно съ Гизо. Разъ устранялась прямолинейность историческаго процесса и основной его источникъ—народный духъ—былъ признанъ распадающимся на два враждебныя теченія, массовой и индивидуальной психологіи,—предстояло еще, въ интересахъ сохраненія понятія законности процесса, установить точное отношеніе между этими теченіями и опредѣлить ту роль, какая могла принадлежать единичной

¹⁾ Это мѣсто курса приведено въ названной выше статьѣ проф. Виноградова, см. сборникъ «Въ пользу воскресныхъ школъ», М. 1894, 72.

²⁾ Сочиненія, II, 220.

исторіи и которая совершенно ступшеывалась въ безличномъ и прямолинейномъ процессѣ органическаго развитія цѣльнаго народнаго духа.

Перемищая центръ тяжести историческаго движенія и ставя его источниками и цѣлями идею и личность, Грановскій въ сущности не сходилъ съ почвы гегеліанской философіи, примыкая лишь къ тѣмъ ея послѣдователямъ, которые придавали ея формуламъ, вмѣсто консервативнаго, прогрессивное истолкованіе, обращая ея въ философію индивидуализма. За то въ другомъ направленіи онъ далеко ушелъ отъ узкихъ схемъ гегеліанства. Еще въ Берлинѣ лекціи Риттера обратили его вниманіе на географію и заставили искать нѣкотораго отношенія между природными особенностями страны и свойствами населяющаго ее народа и его исторіи. Въ свою очередь французскіе историки, и изъ нихъ особенно Тьерри, познакомили его съ изученіемъ расовыхъ особенностей и привили ему любовь къ этнографическимъ изысканіямъ. Позднѣе, въ Москвѣ, онъ неустанно и усердно занимался географіей и этнографіей, слѣдя за всѣми важнѣйшими явленіями научной литературы въ этой области и въ то же время знакомясь, главнымъ образомъ черезъ посредство Герцена, съ общимъ прогрессомъ естественныхъ наукъ, получившихъ такое необычайно широкое развитіе съ начала XIX столѣтія. Въ этомъ общеніи съ міромъ естествознанія точнѣе выяснялось ему значеніе матеріальныхъ факторовъ въ жизни человѣчества и разсѣялось постепенно горделивое убѣжденіе, почерпнутое отъ Гегеля, будто человѣчскій духъ, независимо отъ внѣшнихъ вліяній, единственно самъ изъ себя творитъ исторію народовъ. Зрѣлымъ плодомъ занятій и наблюденій Грановскаго, пошедшихъ въ этомъ направленіи, явилось новое, болѣе сознательное и широкое пониманіе существа исторіи, наиболѣе полно выраженное въ рѣчи, произнесенной имъ на университетскомъ актѣ 1852 г. ¹⁾, но сложившееся въ главныхъ своихъ очертаніяхъ несомнѣнно еще раньше. Указывая въ этой рѣчи на вліяніе, оказанное на исторію успѣхами географіи и этнографическими изысканіями Форіеля, Тьерри, Эдвардса, ораторъ вмѣстѣ констатируетъ тотъ фактъ, что въ трудахъ собственно историковъ до сихъ поръ дѣлаются лишь внѣшнія уступки этому вліянію. Правда, историки ввели въ свои труды географическіе обзоры, но это скорѣе случайная прибавка къ ихъ работамъ, нежели органическая ихъ часть. «Предисловіе труду своему бѣглый очеркъ описываемой страны и ея произведеній, историкъ съ спокойной совѣстью переходитъ къ другимъ, болѣе знакомымъ ему предметамъ и думаетъ, что вполнѣ удовлетворилъ современнымъ требованіямъ науки». Между тѣмъ, по смыслу послѣднихъ, «исторія должна выступить изъ круга наукъ филолого-юридическихъ, въ которомъ она такъ долго была заключена, на обширное поприще естествен-

¹⁾ Тамже, I.

всѣхъ разнородныхъ стихій науки въ единую цѣльную систему. Такая возможность рисовалась, однако, для него не на почвѣ исторіи. Историкъ въ своей спеціальной области имѣетъ дѣло съ сложившимися уже фактами, объясняя законы ихъ дальнѣйшаго развитія, но будучи безсиленъ разложить и объяснить начальные данныя своихъ построеній. Неразрѣшимыя для исторіи тайны могутъ быть, однако, раскрыты за ея предѣлами. «Для историка, напримѣръ, различіе породъ человѣческихъ существуетъ, какъ нѣчто, данное природою, роковое, необъяснимое ни въ причинахъ, ни въ слѣдствіяхъ. Можно догадываться, что это различіе находится въ тѣсной связи съ началомъ національностей, что оно, какъ тайный дѣятель, участвуетъ въ безконечномъ множествѣ явленій; но одна фізіологія въ состояніи въ этомъ случаѣ перевести отъ догадки къ уразумѣнію самаго закона» ¹⁾. Намѣчая возможность разрѣшенія загадокъ исторіи путемъ естественно-научныхъ объясненій, Грановскій не переходилъ, однакоже, къ философскому матеріализму и не вносилъ въ исторію искусственно-упрощенныхъ объясненій, отстаивая, напротивъ, ея самостоятельность. Въ самой исторіи для него все же оставались «двѣ стороны: въ одной является намъ свободное творчество духа человѣческаго, въ другой — независимыя отъ него, данныя природою условія его дѣятельности». Признавая недостаточность старыхъ умозрительныхъ построеній исторіи, настаивая на необходимости измѣненія ея метода, Грановскій не думалъ, однако, о простомъ заимствованіи метода естествознанія путемъ подчиненія ему исторіи. «Новый методъ долженъ возникнуть изъ внимательнаго изученія фактовъ міра духовнаго и природы въ ихъ взаимодѣйствіи. Только такимъ образомъ можно достигнуть до прочныхъ основныхъ началъ, т. е., до яснаго знанія законовъ, опредѣляющихъ движеніе историческихъ событій» ²⁾. Последнее слово этихъ воззрѣній осталось недоговореннымъ, но врядъ-ли оно и могло быть договорено при тогдашнемъ состояніи науки. Дальнѣйшее движеніе науки, отбросивъ нѣкоторые частные взгляды, принятые Грановскимъ, вродѣ теоріи устойчивости расовыхъ признаковъ, въ общемъ оправдало тотъ путь, на который онъ вступилъ и который при дальнѣйшемъ развитіи опытнаго знанія велъ къ возстановленію цѣльнаго міросозерцанія въ болѣе научномъ видѣ, чѣмъ могла его создать метафизическая философія. Неразработанностью самой исторіи, въ свою очередь, достаточно объясняется то обстоятельство, что въ воззрѣніяхъ Грановскаго экономическая сторона исторіи не занимала достаточно виднаго и самостоятельнаго мѣста. Эпоха историко-экономическихъ изслѣдованій только что начиналась и въ западно-европейской наукѣ, когда окончилась жизнь Грановскаго; въ среду же русскихъ ученыхъ это теченіе проникло

¹⁾ Сочиненія, II, 209; эти строки были написаны еще въ 1847 г.

²⁾ Сочиненія, I, 22—3.

какъ эту закономерность онъ никогда не отождествлялъ съ фатализмомъ. Съ горькимъ осужденіемъ отзывался онъ о тѣхъ историкахъ, которые, въ противоположность древнимъ трагикамъ, возлагавшимъ на чело своихъ, обреченныхъ гибели, героевъ вѣнецъ духовной побѣды надъ неотразимымъ въ мірѣ вѣдшимъ явленіемъ рокомъ, видятъ въ успѣхѣхъ конечное оправданіе, въ неудачѣхъ—приговоръ всякаго историческаго подвига ¹⁾. Идя еще дальше въ этомъ направленіи, онъ требовалъ отъ историка наряду съ выясненіемъ причинной связи явленій и нравственнаго суда надъ прошлымъ. Недостаточно, быть можетъ, аргументированная въ его печатныхъ сочиненіяхъ, эта мысль тѣмъ не менѣе неоднократно и рѣшительно высказывается въ нихъ. Полное безстрастіе историка было въ его глазахъ лишь признакомъ умственного или душевнаго безсилія. Онъ хотѣлъ, въ интересахъ живущаго поколѣнія, видѣть въ исторіи судъ и приговоръ надъ дѣятелями прошлаго, лишь бы такой приговоръ былъ основанъ «на вѣрномъ, честномъ изученіи дѣла», и въ этомъ требованіи для него заключалась лишняя связь науки съ жизнью, вызывавшаяся, можетъ быть, не столько строгой логикой мышленія ученаго, сколько душевною потребностью общественнаго дѣятеля. «Въ возможности такого суда—писалъ онъ въ 1848 г., въ то время, когда надъ его головою сошлись особенно грозныя тучи и онъ чувствовалъ свои силы почти истощенными,—въ возможности такого суда есть нѣчто глубокаго утѣшительнаго для человѣка. Мысль о немъ даетъ усталой душѣ новыя силы для спора съ жизнью» ²⁾. Но если глубокая отзывчивость Грановскаго къ нуждамъ и вѣяніямъ современности не давала ему возможности всецѣло уйти въ абстрактныя схемы науки, то присущее ему художественное чувство и научный тактъ уберегли его и отъ другой опасности: его судъ надъ историческими событіями и лицами никогда не переходилъ въ озлобленную и безплодную полемику съ явленіями прошедшаго, и производившаяся имъ нравственная оцѣнка, всегда основанная на глубокомъ проникновеніи въ характеръ эпохи, о которой шла рѣчь, ничего не имѣла общаго съ шаблоннымъ морализированіемъ по поводу исторіи.

Таковы были наиболѣе существенныя воззрѣнія Грановскаго на исторію, путемъ выработки которыхъ онъ, а за нимъ и окружавшіе его тѣсною толпою ученики переходили отъ нѣмецкой идеалистической философіи къ новой реальной наукѣ общественнаго дѣянія. Если въ теоретической сторонѣ этихъ воззрѣній строгою критикой и могутъ быть открыты нѣкоторые недочеты, то они въ свое время съ избыткомъ искупались пластикою художественнаго таланта и глубиною гуманитарнаго чувства, сообщавшими лекціямъ Грановскаго высокое воспитательное значеніе, въ самомъ благородномъ смыслѣ этого слова. Говоря словами Кудрявцева, «всякій, слышавшій

¹⁾ Сочиненія, I, 24—26, 20—21 (рѣчь 1852 г.).

²⁾ Тамже, I, 240—1 (въ предисловіи къ «Аббату Сугери»).

прежняго своего вождя, выросъ и окрѣпъ умственно, но вмѣстѣ и измѣнили свое направленіе, перейдя отъ нѣсколько туманнаго идеализма, соединявшагося съ немалою дозою сентиментальности къ безусловному преклопенію передъ дѣйствительностью, съ которымъ не мирился прочно усвоенный Грановскимъ либерализмъ, никогда не уничтожавшійся въ немъ окончательно гегелевскою діалектикой, хотя увлеченіе послѣдней и заставляло его порой въ чисто научныхъ вопросахъ проговариваться нѣсколько неосторожными фразами. Встрѣясь съ Бѣлинскимъ, онъ сошелся съ нимъ, какъ съ человѣкомъ, но ничего не уступилъ ему изъ своего пониманія литературныхъ и общественныхъ вопросовъ, и на время они остались людьми разныхъ лагерей. За то тѣсно сблизился онъ съ Герценомъ, во взглядахъ и убѣжденіяхъ котораго нашелъ много родственныхъ себѣ чертъ. Съ первой ихъ встрѣчи въ годъ пріѣзда Грановскаго въ Москву они стали рядомъ, какъ союзники, а послѣ 1842 года, когда Герценъ переехалъ на постоянное жительство въ Москву, этотъ союзъ былъ скрѣпленъ горячею дружбой, пережившей всѣ ихъ позднѣйшія размолвки. Къ этому времени, впрочемъ, установилось уже и полное согласіе между ними и Бѣлинскимъ. Послѣдній въ концѣ 1839 года уѣхалъ въ Петербургъ, полный раздраженія противъ встрѣченной со стороны Герцена оппозиціи своимъ новымъ взглядамъ, и вылилъ весь свой гнѣвъ на противниковъ въ извѣстныхъ статьяхъ о Бородинской годовщинѣ и о Менцелѣ, доводившихъ до апогея примирительное настроеніе критика по отношенію къ окружавшей его жизни и заслужившихъ отъ Огарева эпитетъ «гнусныхъ», а отъ Грановскаго—«гадкихъ». Петербургъ же, однако, и отрезвилъ критика, поставивъ его лицомъ къ лицу съ обществомъ, вырвавъ его изъ кружковой односторонности и воочию показавъ всю красоту восхваляемыхъ порядковъ. Еще недавно прекрасная дѣйствительность обратилась для него въ «грязную, мерзкую, возмутительно-нечеловѣческую» ¹⁾, и, когда онъ дописывалъ послѣдніе слова своихъ, надѣлавшихъ столько шума, статей, въ немъ скорбно и трудно возникало уже новое убѣжденіе. Прошло около года тяжелой внутренней борьбы, мучительнаго исканія истины, и Бѣлинскій, вырвавшись изъ подъ власти роковой формулы о разумности дѣйствительности, окончательно принявъ выводы, которые недавно его возмущали. Его примиреніе съ недавними противниками, полное и беззаветное, было облегчено и ускорено тѣмъ, что въ рядахъ послѣднихъ стоялъ Грановскій, успѣвшій съ обыкновенною своею терпимостью за крайностями его увлеченія разсмотрѣть его настоящую сущность. Въ свою очередь Бѣлинскій, этотъ страстный боецъ съ нѣжной и любящей душою, полюбивъ въ Грановскомъ симпатичнаго человѣка, все глубже и сильнѣе привязывался къ нему по мѣрѣ того, какъ

¹⁾ А. Н. Пыпинъ. Бѣлинскій, его жизнь и переписка, II, 9.

ученія они видѣли высшій, но вмѣстѣ и самый печальный плодъ цивилизаціи Запада, потому, какъ выражался впоследствии Ив. Кирѣевскій, «что самое торжество ума европейскаго обнаружило односторонность его коренныхъ стремленій, потому что при всемъ богатствѣ, при всей, можно сказать, громадности частныхъ открытій и успѣховъ въ наукахъ, общій выводъ изъ всей совокупности знанія представилъ только отрицательное значеніе для внутренняго сознанія чловѣка»¹⁾. Присоединяясь къ наиболѣе рѣзкому проявленію реакціи противъ абстракцій Гегеля въ самой Германіи, выразителемъ которой явился Шеллингъ, славянофилы противопоставляли логикѣ, какъ низшему способу познанія, познаніе чрезъ чувство, какъ высшее, и звали русскій образованный классъ «изъ подъ гнета разсудочныхъ системъ европейскаго любомудрія» «въ глубину особеннаго, недоступнаго для западныхъ понятій, живого, цѣльнаго умозрѣнія Святыхъ Отцовъ Церкви», которое, въ противоположность воспитанному въ Западной Европѣ университетамъ міровоззрѣнію, хранилось «въ древней Россіи молитвенными монастырями, сосредоточивавшими въ себѣ высшее знаніе», а теперь хранится низшими слоями народа и церковью²⁾. Противоположность воззрѣній обѣихъ группъ нѣкоторое время смягчалась личными дружескими отношеніями ихъ главныхъ представителей, умѣвшихъ уважать другъ въ другѣ крупныя умственные силы и благородство характера. Порою проявленія такихъ отношеній даже выходили изъ четырехъ стѣнъ интимной жизни и пріобрѣтали характеръ публичныхъ дѣйствій. Статьи Герцена и Грановскаго появлялись, хотя и очень рѣдко, въ «Москвитиниѣ», органѣ партіи, хотя и не тождественной съ славянофильствомъ, но наиболѣе къ нему близкой, составившей, по мѣткому и образному выраженію Герцена, его «тяжелую пѣхоту».

Чѣмъ болѣе выяснялось однако коренное различіе двухъ міровоззрѣній, тѣмъ труднѣе становилось поддерживать подобныя сердечныя отношенія. Когда же съ обѣихъ сторонъ сдѣланы были рѣшительныя попытки къ проведенію своихъ теорій въ жизнь, ихъ полная непримиримость рѣзко выступила наружу, разрывъ сталъ неизбежнымъ. Поводовъ къ нему накопилось много на первыхъ же шагахъ. Споръ партій перенесенъ былъ изъ московскихъ салоновъ въ болѣе широкіе круги, на страницы журналовъ и въ аудиторіи университета. Въ Петербургѣ стоялъ Вѣлиинскій, непримиримая и рѣзкая послѣдовательность котораго мало соотвѣтствовала и разносторонней и живой любознательности Герцена, и

¹⁾ Московскій Сборникъ, 1852, 6. Статья Кирѣевскаго «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи», изъ которой мы беремъ эти строки, едва-ли не наиболѣе полно и вѣрно вскрываетъ общій философскій характеръ славянофильства.

²⁾ Тамже, 66, 61.

ствіе громаднаго большинства публики не на сторонѣ обвинителей. Когда же весною слѣдующаго года Грановскій окончилъ свой курсъ, восторгъ слушателей былъ такъ силенъ, что взрывъ его увлекъ обѣ партіи при всемъ ихъ враждебномъ настроеніи и онѣ соединились на обѣдѣ въ честь Грановскаго.

Но примиреніе уже не могло быть прочно. Обвиненія, посыпавшіяся на Грановскаго, не прошли ему даромъ: онъ чуть не былъ вынужденъ выйти изъ университета и долженъ былъ отказаться въ немъ отъ курса о французской революціи, едва сохранивъ за собою право читать о реформаціи ¹⁾. Въ свою очередь Шевыревъ осенью 1844 года началъ читать публичный курсъ, пользовавшійся также немалымъ успѣхомъ, хотя совершенно противоположный курсу Грановскаго. Этотъ успѣхъ, впрочемъ, по мнѣнію Шевырева, зависѣлъ не отъ его лекторскихъ способностей. Объясняя хорошее впечатлѣніе на публику одной изъ своихъ лекцій, онъ писалъ Погодину: «не даромъ я наканунѣ провелъ часъ въ молитвѣ и чтеніи житія св. Кирилла передъ его мощами, за которыя благодарю тебя. Позволь имъ еще погостить у меня денекъ, другой. Эта лекція была его внушеніемъ» ²⁾. За этими столкновеніями съ главарями «Москвитянина» послѣдовали новыя — уже съ представителями чистаго славянофильства, вызванныя попытками обѣихъ партій создать себѣ литературные органы въ Москвѣ. Грановскій и Евг. Коршъ еще въ 1842 г. обращались съ этою цѣлью къ Погодину, рассчитывая взять отъ него «Москвитянина», не приносящій дохода въ неумѣлыхъ рукахъ своего редактора и тяготившій его самого, но этотъ шагъ, не смотря на то, что тогда между ними еще не было открытой вражды, не имѣлъ успѣха, такъ какъ Погодинъ поставилъ дѣло на принципиальную почву, на которой не могло быть достигнуто соглашеніе ³⁾. Позднѣе, именно въ 1844 г., рѣшено было попытаться основать совершенно самостоятельный журналъ и, такъ какъ собранныхъ въ кружкѣ денегъ не хватало на покупку какого-либо изъ существующихъ изданій, Грановскій подалъ прошеніе о разрѣшеніи ему новаго ежемѣсячника. Почти одновременно славянофилы, стѣснявшіеся слишкомъ близкимъ союзомъ съ Погодинымъ и Шевыревымъ и чувствовавшіе потребность нѣсколько освободиться отъ этого компрометирующаго союза, настояли на передачѣ «Москвитянина» подъ редакцію И. В. Кирѣевскаго. Обѣ эти попытки опять-таки не имѣли

¹⁾ Станкевичъ, «Т. Н. Грановскій», 142.

²⁾ Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, VII, 457.

³⁾ Самъ Погодинъ своимъ грубовато-наивнымъ языкомъ передавалъ это такъ: «я спросилъ ихъ: возьмутъ ли они свято соблюдать нашу программу, отрекутся ли отъ діавола и Отечественныхъ Записокъ, будутъ ли почитать христіанскую религію, уважать бракъ». Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, VI, 280.

кова. Ив. Аксаковъ отвѣтилъ ему стихотвореніемъ же, въ которомъ отрекался отъ него, обзывая его «союзникомъ гнилымъ». Но такъ отнеслись къ дѣлу далеко не всѣ славянофилы, и запутанныя отношенія едва не разрѣшились дуэлью Грановскаго съ И. Кирѣевскимъ. Разрывъ сталъ неизбеженъ, и партіи разошлись окончательно, хотя многіе изъ членовъ ихъ обѣихъ повиновались этой необходимости лишь съ тяжелымъ сердцемъ. К. Аксаковъ простился съ Герценомъ и Грановскимъ особенно трогательно. Къ послѣднему онъ пріѣхалъ ночью, разбудилъ его и, сжимая въ своихъ объятіяхъ, объявилъ, что пришелъ, сохраняя къ нему глубокое уваженіе, проститься съ нимъ, какъ съ представителемъ враждебныхъ взглядовъ, и порвать старую дружбу. Личныя чувства при всей ихъ силѣ не могли однако замѣнить единства воззрѣній. Неумолимая логика идей брала свое, и разошедшіяся въ разныхъ сторонахъ партіи скоро очутились на такомъ разстояніи одна отъ другой, что почти утратили способность взаимнаго пониманія и послѣдніе слѣды недавняго общенія. Въ роковомъ для жизни русскаго общества 1848-году, когда западники возбужденно примыкали къ европейскимъ движеніямъ, ждали на родинѣ либеральныхъ дѣйствій въ крестьянскомъ вопросѣ, а позднѣе пытались въ виду надвигавшейся реакціи придать хоть какую-нибудь организацію общественнымъ силамъ, славянофилы или, какъ Ив. Аксаковъ, мечтали, что въ эпоху, «когда весь Западъ отрекается отъ всѣхъ своихъ началъ», «вырастаетъ громадное значеніе Россіи» и «Государь надѣнетъ скоро или позволить носить русское платье» ¹⁾. Или же, какъ И. Кирѣевскій, проповѣдуя полную апатію, вмѣстѣ угрюмо ворчали даже противъ введенія инвентарныхъ правилъ ²⁾. Они позволили опередить себя даже Погодину, намѣревавшемуся было въ это время послать адресъ объ освобожденіи литературы отъ излишнихъ цензурныхъ стѣсненій, — мысль, послѣдшне остановленная тѣмъ же Кирѣевскимъ, не видѣвшимъ большой бѣды въ томъ, что «наша литература будетъ убита на два или на три года». Познѣе нельзя было оправдать разрывъ 1845 года.

На первыхъ же порахъ послѣ этого разрыва выяснилось и то, на сторону какой изъ выступившихъ передъ обществомъ партій склоняется сочувствіе молодой его части. Поводъ къ выясненію этого обстоятельства опять доставленъ былъ частнымъ эпизодомъ изъ жизни Грановскаго — защитою имъ магистерской диссертациі. Представленная имъ въ факультетъ работа едва не была отвергнута по стараніямъ Шевырева и Бодянскаго, раздражен-

¹⁾ И. С. Аксаковъ. М. 1888, сс. 438—9.

²⁾ Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, IX, 303. Хомяковъ еще въ 1845 г. писалъ: «Досадно, когда видишь, что Загоскинъ (хоть онъ и славный человѣкъ) за насъ, а Грановскій противъ насъ: чувствуешь, что съ нами за одно только инстинктъ, а умъ и мысль съ нами шириться не хотятъ». Р. Архивъ, 1879, III, 318.

защитою обще-человѣческой цивилизаціи и правъ личности, вопросъ о характерѣ отношенія между личностью и массою народа рѣшался всецѣло въ пользу первой и на долю второго доставалось въ такомъ случаѣ сострадательное или даже полу-презрительное пренебреженіе. Одно время и Вѣлинскій, менѣе всего повинный въ такомъ взглядѣ на практикѣ, въ пылу спора съ славянофильствомъ допускалъ съ обычной своею страстностью такія тирады въ этомъ смыслѣ, которые не могли уже быть истолкованы, какъ простыя полемическія украшенія журнальной рѣчи. Адвокатомъ нравственного достоинства народа и проповѣдникомъ уваженія къ нему явился на этотъ разъ тотъ же Грановскій, который при другихъ условіяхъ былъ пропагандистомъ идеи личности. Всего черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ разрыва съ славянофилами онъ уже считалъ необходимымъ точнѣе обозначить свою точку зрѣнія въ данномъ вопросѣ, возставъ противъ практиковавшихся Вѣлинскимъ приѣмовъ полемики, какъ оправдывающихъ ложную мысль и служащихъ къ распространенію презрительныхъ взглядовъ на народность; къ его рѣшительному заявленію, что онъ въ этомъ вопросѣ сознаетъ себя стоящимъ ближе къ славянофиламъ, чѣмъ къ «Отечественнымъ Запискамъ» и вообще къ западникамъ, присоединился и Герценъ ¹⁾. Возникшее разногласіе, поскольку оно касалось Вѣлинскаго, задѣвало все же болѣе форму, нежели сущность его взглядовъ, и потому, уясняя поднятый вопросъ, производя даже по нему нѣкоторое раздѣленіе въ западническомъ кругу, не влекло за собою разъединенія его главныхъ вождей. Вѣлинскій очень скоро самъ сталъ на точку зрѣнія, указывавшуюся ему Грановскимъ, и выразилъ ее еще опредѣленнѣе и рѣзче.

Болѣе глубокое и существенное разногласіе произошло между главными представителями кружка по другимъ вопросамъ. Съ начала сороковыхъ годовъ въ его интересахъ вопросы эстетическіе стали уступать свое мѣсто общественнымъ и самыя философскія проблемы получили болѣе ясную и опредѣленную постановку. Изученіе Гегеля и его правовѣрныхъ послѣдователей замѣнилось изученіемъ философскихъ построеній нѣмецкаго лѣваго гегеліанства и критики социальныхъ условій современности, какая производилась во французской литературѣ. Фейербахъ, Фурье, Прудонъ, Лув-Бланъ приковали къ себѣ вниманіе московскихъ гегеліанцевъ и въ результатъ такого увлеченія новыми интересами характерныя ранѣе для западничества умѣренность въ политическихъ вопросахъ и пантеизмъ въ сферѣ философій стали преобразоваться въ общественный радикализмъ и философскій матеріализмъ. Руководящая роль въ этомъ направленіи принадлежала Герцену,

¹⁾ См. рассказъ Анненкова («Замѣчательное десятилѣтіе»), именно настаивающаго на томъ, что такія мысли въ кругу западниковъ впервые были высказаны Грановскимъ.

осуществленіе въ современной имъ жизни, оправданнымъ суровою дѣйствительностью. Вопросы практической политики слишкомъ далеко стояли, однако, отъ жизни русскаго общества въ сороковыхъ годахъ для того, чтобы эти разногласія могли принять вполне опредѣленную форму и пріобрѣсти серьезное значеніе. При различіи мнѣній въ частностяхъ, единство въ общихъ взглядахъ могло и продолжало существовать, благодаря отсутствію почвы для ихъ непосредственнаго примѣненія. Иной вопросъ, болѣе отвлеченный, но и болѣе видный и болѣе жгучій въ порядкѣ развитія идей кружка, нарушилъ это единство.

Тогда какъ въ Грановскомъ знакомство съ гегеліанскою философіей лишь преобразовало, но не уничтожило основы старыхъ его воззрѣній на духовную сторону человѣческой природы, для Герцена примиреніе конечнаго съ безконечнымъ путемъ логическихъ пріемовъ Гегелевской діалектики послужило лишь кратковременной переходною ступенью къ новому міровоззрѣнію, которое было выработано имъ еще за время пребыванія въ Новгородѣ, при помощи Фейербаха, и въ основу котораго легла мысль объ единствѣ духа и матеріи. Это обстоятельство ставило его на твердую почву и въ спорахъ съ славянофилами объ относительной роли философій и преданія, давая возможность отвѣчать на упрёки противниковъ въ безсиліи разсудочнаго мышленія дать удовлетвореніе непосредственному религіозному чувству полнымъ отрицаніемъ такой обязанности за философіей и провозглашеніемъ обязательности единственно ея выводовъ. Грановскій слѣдовалъ при этомъ за его аргументами лишь до той поры, пока они направлялись противъ общихъ противниковъ, отказываясь присоединиться къ послѣднимъ выводамъ изъ нихъ. Въ немъ самомъ порывы чувства порою пересиливали и заслоняли требованія логики; его мысль, наполовину совершавшаяся въ образахъ, была лишена той строгой опредѣленности и быстроты логическихъ соображеній, какая отличала умъ его друга; наконецъ, долгія и вдумчивыя занятія по преимуществу духовной стороной исторіи давали ему чувствовать натяжки философскаго матеріализма, и онъ долго уклонялся отъ послѣдняго слова въ этомъ вопросѣ. Когда же въ 1846 г. Герценъ и Огаревъ ребромъ поставили спорный вопросъ, требуя признанія своей точки зрѣнія на него, какъ единственно научной, онъ отказался продолжать споръ на эту тему. Вѣѣшность дружбы осталась въ кружкѣ, и въ лицѣ остальныхъ своихъ членовъ раздѣлившимся по данному вопросу, и послѣ того неприкосновенной, но во внутреннихъ отношеніяхъ была проведена рѣзкая разграничительная линія. Въ 1847 г. Герценъ выѣхалъ за-границу, унося съ собою сознаніе разрыва, въ слѣдующемъ году смерть унесла Вѣѣвскаго, и Грановскій, лишенный наиболѣе близкихъ друзей, остался одинокимъ передъ надвигавшимся самымъ мрачнымъ періодомъ его жизни.

Этотъ разрывъ его съ Герценомъ считается часто окончательнымъ и

не оставляют никакого сомнѣнія въ томъ, что главное разногласіе между вожжами московскаго западничества съ теченіемъ времени окончательно устранилось, хотя при этомъ Грановскій, какъ можно догадываться, и не становился всецѣло на сторону философскаго матеріализма. Литературная дѣятельность Герцена за границею также вызывала нѣкоторыя возраженія со стороны Грановскаго. Онъ находилъ въ работахъ друга слишкомъ механическое воззрѣніе на исторію. «Для такого человѣчества, — замѣчалъ онъ — какое ты представляешь въ статьяхъ своихъ, для такого скуднаго и бесплоднаго развитія не нужно великихъ и благородныхъ дѣятелей». Онъ протестовалъ и противъ тѣхъ увлеченій Герцена, въ которыхъ видѣлъ возрастающее сближеніе съ славянофилами: «глядя на пороки Запада, ты клонишься къ славянамъ и готовъ подать имъ руку. Пожилъ бы ты здѣсь и ты сказалъ бы другое»¹⁾. Онъ пытался, наконецъ, замкнуть дѣятельность друга въ такія рамки, оставаясь въ которыхъ, она могла, по его убѣжденію, имѣть непосредственное практическое значеніе въ русской жизни, для которой онъ видѣлъ «страшную потерю» въ уходѣ на сторону такой громадной силы. Не надо забывать и того, что періодъ наиболее громкой дѣятельности Герцена тогда только еще начинался. Во всякомъ случаѣ все это представляло собою не болѣе, какъ частныя несогласія, не имѣвшія подъ собою глубокой принципиальной почвы и не мѣшавшія Грановскому, въ концѣ концовъ, стоять ближе въ основныхъ воззрѣніяхъ къ далекому другу, чѣмъ къ складывавшейся въ Москвѣ, въ частности среди молодыхъ профессоровъ университета, фракціи умѣреннаго западничества, члены которой охотно выставляли Грановскаго своимъ главою, хотя не могли не чувствовать въ немъ чловѣка, сближеннаго съ ними болѣе характеромъ и обстоятельствами, чѣмъ убѣжденіями²⁾. Надо помнить также, что «модерація» Грановскаго, которая такъ сердила Вѣлинскаго, порою все же вліяла на него, имѣла точно опре-

съ неполной удовлетворенностью положеніями философскаго матеріализма, иные принимали за отсутствіе прочныхъ убѣжденій.

¹⁾ Переписка Т. Н. Грановскаго, 447, 448 (письма 1851 и 1854 гг.).

²⁾ Станкевичъ приводит (Т. Н. Грановскій, 297) рѣзкіе отзывы Грановскаго о Герценѣ въ 1855 г. и даже сравненіе послѣдняго съ Погодинымъ. Довольно однако просмотрѣть недавно опубликованныя письма Грановскаго къ самому Герцену, чтобы видѣть, что подобные отзывы были результатомъ гнѣвнаго раздраженія минуты, а не прочнаго настроенія. «О тебѣ, пишетъ онъ въ 1851 г., осталось исполненное любви воспоминаніе не у однихъ насъ, близкихъ тебѣ». «Изъ сочиненій твоихъ, говорится въ письмѣ 1854 г., нѣкоторыя дошли и къ намъ. Друзья твои прочли ихъ съ жадностью, любовью и грустью. Когда случай сводитъ насъ вмѣстѣ, разсѣянныхъ теперь, твое имя чаще всѣхъ другихъ раздается между нами». Переписка Т. Н. Грановскаго, 447. Съ другой стороны, хотя бы записки С. М. Соловьева даютъ чувствовать ту грань, которую проводили настоящіе «умѣренные» западники между собою и Грановскимъ.

популярны среди студентов, и замѣчая о Грановскомъ, что онъ «человѣкъ чрезвычайно живой, энергическій, бойкій, вѣчно держащій оппозицію здѣшнему университетскому начальству, которое до того подло и гнусно, что трудно вообразить себѣ» ¹⁾. По поводу этого письма коммиссія признала нужнымъ обратиться съ запросомъ къ московскому военному губернатору, гр. Закревскому, а послѣдній въ свою очередь запросилъ тогдашняго попечителя, Д. П. Голохвастова, обо всѣхъ трехъ инкриминированныхъ профессорахъ, потребовавъ свѣдѣнія объ ихъ образѣ жизни и мыслей, отношеніи къ университетскому начальству и о духѣ и направленіи ихъ лекцій. Голохвастовъ на эти вопросы отвѣчалъ: «Въ образѣ жизни всѣхъ ихъ ничего предосудительнаго не извѣстно. По образу мыслей и ученому направленію всѣ трое могутъ почесться противниками т. н. славянофиловъ и скорѣе наклонными къ европеизму, что и можно было замѣтить изъ сочиненій, помѣщенныхъ ими въ разныхъ петербургскихъ журналахъ. Въ отношеніи къ университетскому начальству никогда не были замѣчены въ сопротивленіи или нарушеніи должнаго къ нему уваженія. Въ отношеніи къ студентамъ, какъ преподаватели усердные, трудолюбивые и знающіе свое дѣло, всегда пользовались ихъ уваженіемъ и любовью; но чтобы входили съ ними въ вѣзвѣдательныя связи или сношенія, того извѣстно не было. Что касается до духа и направленія ихъ лекцій въ настоящее время, то съ этой стороны также ничего вреднаго не замѣтно, тѣмъ болѣе, что, какъ люди весьма умные, они очень хорошо понимаютъ, что, въ особенности со времени послѣднихъ событій въ Европѣ, надзоръ со всѣхъ сторонъ долженъ быть усиленъ и что, еслибы они позволяли себѣ на лекціяхъ, посѣщаемыхъ многими молодыми людьми, говорить что-либо противное духу правительства, то это никакъ не могло бы остаться тайною» ²⁾. Этотъ отзывъ не могъ, однакоже, усыпить подозрительность гр. Закревскаго, возбужденная мнительность котораго, заставлявшая его видѣть въ однихъ словахъ: западничество и славянофильство что-то недозволительное, позволяла ему уже въ 1858 г. доходить до аттестаціи В. А. Кокорева, какъ «западника, демократа и возмутителя, желающаго безпорядковъ», М. П. Погодина, какъ «корреспондента Герцена, литератора, стремящагося къ возмущенію», и Ю. О. Самарина, какъ «славянофила и литератора, желающаго безпорядковъ и на все готоваго» ³⁾. Въ данномъ случаѣ изъ представленнаго имъ въ слѣдственную коммиссію отзыва было «видно, что по собранныхъ секретнымъ свѣдѣніямъ о всѣхъ обстоятельствахъ, относящихся до Грановскаго и Кудрявцева, оказалось, что Грановскій, отправляя

¹⁾ Сѣв. Вѣстникъ, 1896, № 1.

²⁾ Р. Архивъ, 1887, II, 522—3.

³⁾ Р. Архивъ, 1885, № 7, 449—50.

нута грозившій обрушиться. Не личная опасность, однако, дѣлала для него тяжелыми эти мрачные годы, а весь характер общественной жизни. Волненія, ознаменовавшія 1848 годъ въ Зап. Европѣ, повели къ чрезвычайнымъ мѣрамъ предосторожности внутри Россіи. Въ университетахъ была увеличена плата за слушаніе лекцій и установленъ комплектъ студентовъ — въ 300 человекъ. Печать была взята подъ присмотръ особаго печальной памяти комитета, почти совершенно задавившаго ее своими произвольными мѣрами, перешедшими всякую границу вѣроятія. Въ министерствѣ народнаго просвѣщенія самъ гр. Уваровъ, еще незадолго вынудившій гр. Строганова отказаться отъ должности попечителя въ Москвѣ, былъ признанъ не совсѣмъ подходящимъ къ потребностямъ времени и долженъ былъ смириться передъ дѣйствіями учрежденнаго по дѣламъ печати комитета. Особенное вниманіе было обращено на среднія учебныя заведенія, программы которыхъ подверглись радикальнымъ преобразованіямъ. Въ корпусахъ дѣйствовало знаменитое Ростовцевское «Наставленіе», предписывавшее, межу прочимъ, преподавателямъ Закона Божія при изложеніи жизни І. Христа обращать главное вниманіе на «неуклонное исполненіе Имъ, въ продолженіе всей земной Своей жизни, возложеннаго на Него долга—до пожертвованія этому долгу самою жизнью». Учитель исторіи, по этому же рецепту, долженъ былъ при прохожденіи древней исторіи сообщать ученикамъ, что «высокій патріотизмъ, которому удивлялись въ подвигахъ греческихъ героевъ, былъ только высокій эгоизмъ Афинянина или Спартамца, полный или ненависти, или презрѣнія ко всякому греку не-Афинянину, не-Спартамцу», долженъ былъ разоблачать «мишуриныя, театральныя добродѣтели многихъ героевъ Греціи и Рима» и указывать, что «никогда человѣчество не находилось на такой жалкой степени нравственнаго и политическаго униженія, какъ въ періодъ владычества римскаго», и именно римской республики. Главною цѣлью преподаванія исторіи вообще ставилось доказательство мысли, что «республиканскіе уставы» годятся только для маленькихъ государствъ, и установленіе кореннаго различія между Россіей и З. Европой въ развитіи тамъ и здѣсь понятія о верховной власти¹⁾. Аналогичное «наставленіе», составленное въ то же время и по образцу перваго для институтовъ, заявляло, что для женщины исполненіе священныя обязанности супруги и матери «и лучше, и выше всякихъ познаній историческихъ и географическихъ». Въ прямомъ соотвѣтствіи съ этимъ общимъ принципомъ на урокахъ географіи предписывалось объ образѣ правленія въ разныхъ государствахъ «упомянуть какъ можно короче», а историку слѣдовало «вообще объяснить, что уравненіе всѣхъ сословій и состояній есть химера несбыточная попытка разныхъ вре-

¹⁾ Наставленіе для образованія воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній. СПб. 1849, 24, 103—113.

эту пору и въ его личномъ характерѣ проявилась слабость, какую онъ умѣлъ сдерживать въ болѣе свѣтлые годы своей жизни, — наследственная страсть къ игрѣ, навлекшая на него столько громкихъ упрековъ, которыми пытались омрачить его чистую память ¹⁾. Врядъ-ли стоить останавливаться на этихъ упрекахъ, слишкомъ обыкновенныхъ въ нашемъ обществѣ, нерѣдко такомъ снисходительномъ къ общественной дѣятельности своихъ членовъ и такъ строго судящемъ ихъ частную жизнь. «Когда же поймутъ, — писалъ самъ Грановскій по этому поводу — что человѣку нельзя серьезно помириться съ мыслью о погибшемъ собственномъ существованіи, что эта мысль, временно подавленная и заглушенная, непрерывно грызетъ его». Слабости, о которыхъ мы упомянули, не помѣшали Грановскому выполнить великій подвигъ. Черезъ бурю реакціи онъ пронесъ невредимымъ знамя прогресса и собралъ къ нему толпы свѣжихъ и юныхъ бойцовъ. За то его собственные силы изнемогли подъ тяжестью этого подвига.

Съ грознымъ испытаніемъ, вынесеннымъ Россіей въ видѣ Крымской кампаніи, такъ наглядно вскрывшимъ несостоятельность старой системы, заправлявшей ходомъ государственнаго механизма, и вмѣстѣ показавшимъ всю мощь крѣпкаго народнаго организма, въ жизни нашего отечества оканчивалась одна эпоха и начиналась другая. Въ воздухѣ повѣяло новыми, болѣе свѣжими теченіями, и Грановскій одинъ изъ первыхъ лихорадочно схватился за работу, ставшую вновь возможной въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Онъ принялъ участіе въ дѣлахъ факультета, будучи избранъ его деканомъ, проектировалъ реформы въ немъ, писалъ учебникъ исторіи, задумывалъ и подготовлялъ изданіе историческаго журнала. Но

Пали съ плечъ подвижника вериги,
И подвижникъ мертвый палъ.

Надломленный долгою борьбою организмъ не выдержалъ, и борецъ за русское просвѣщеніе, за достоинство и самостоятельность науки и успѣхи гражданственности въ Россіи какъ разъ въ тотъ моментъ, когда его скорбный трудъ готовъ былъ увѣчаться первыми осязательными результатами и надъ русскою жизнью загоралась заря новаго дня, сошелъ въ могилу, съ радостнымъ сознаніемъ наступленія этой зари и въ блаженномъ невѣдѣніи того, какъ недолго суждено возвѣщавшемуся ею дню горѣть полнымъ и

¹⁾ Примѣромъ того, какъ мало заботились иногда въ подобныхъ упрекахъ о соблюденіи даже внѣшняго вида справедливости, могутъ служить хотя бы записки С. М. Соловьева; говоря, что Грановскій мало печаталъ не благодаря цензурѣ, а по лѣни, онъ добавляетъ: «печатать было можно и въ это трудное время (1848—1855 гг.), еще легче было печатать прежде и п него». Р. Вѣст., 1896, № 2, 18. Бѣда, значить, была въ томъ, что Грановскій лѣнился писать, лежа въ могилѣ.

VI.

К. Д. Кавелинъ, какъ историкъ и публицистъ.

Въ 1847 г. въ январьской книжкѣ «Современника» появилась статья подъ заглавіемъ: «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи». Статья эта, сводившая въ одну общую формулу, ясную и отчетливую, весь ходъ развитія русской исторической жизни, произвела сильное впечатлѣніе на тогдашнее общество. Ею зачитывались въ интеллигентныхъ кружкахъ, среди университетской молодежи ее чуть не заучивали наизусть, и имя ея автора, К. Д. Кавелина, тогда еще молодого 29-лѣтняго ученаго, сразу выдвинулось въ первый рядъ современныхъ ему русскихъ историковъ. Напечатанныя затѣмъ въ концѣ сороковыхъ и въ началѣ пятидесятихъ годовъ другія его работы окончательно упрочили за нимъ положеніе одного изъ главъ новой исторической школы, нашедшей себѣ многочисленныхъ поклонниковъ и послѣдователей и быстро завоевавшей почти всеобщее признаніе. Въ позднѣйшей литературной дѣятельности самого Кавелина изученіе русской исторіи постепенно отступило, однако, на второй планъ. Онъ посвятилъ свои силы въ послѣдующіе годы по преимуществу изслѣдованію гражданскаго права и далъ въ этой научной области рядъ трудовъ, и въ настоящее время высоко цѣнимыхъ наиболѣе авторитетными специалистами. Не ограничиваясь, впрочемъ, этими специальными изслѣдованіями въ сферѣ юридическихъ наукъ, онъ не мало работалъ еще надъ основными вопросами философіи и психологіи, которые особенно привлекали къ себѣ его вниманіе въ послѣдніе годы его жизни и которымъ онъ также посвятилъ нѣсколько болѣе или менѣе значительныхъ сочиненій. Наконецъ, текущая общественная жизнь съ ея заботами и тревогами равнымъ образомъ перѣдко побуждала его браться за перо и, начиная съ конца пятидесятихъ годовъ, онъ неоднократно выступалъ передъ обществомъ въ роли публициста, пользуясь для этой цѣли услугами и отечественнаго, и заграничнаго печатнаго станка и выпуская свои публицистическія произведенія то подъ своимъ именемъ, то анонимно.

знанія массы и вскрывать лежащія въ основаніи его начала, впервые получила единство и значеніе науки, переставая быть разсказомъ о проявленіяхъ индивидуальной воли и пріобрѣтая характеръ «народнаго самопознанія». Особенное значеніе получали эти идеи историковъ въ освѣщеніи гегелевской философіи, учившей, что историческая жизнь человѣчества представляетъ собою процессъ постепеннаго развитія всемірнаго духа, причемъ сдѣляющія другъ друга народности, воплощая отдѣльныя его стороны въ видѣ той или иной общей идеи въ своей жизни, въ своемъ національномъ духѣ, являются какъ бы необходимыми ступенями названнаго процесса. Въ соответствии съ общимъ реакціоннымъ духомъ эпохи эти теоріи высказывались первоначально съ рѣзкою односторонностью, придававшей имъ строго консервативный характеръ: ихъ авторы и сторонники, не ограничиваясь объясненіемъ прошлаго, легко переходили къ защитѣ настоящаго, какъ естественнаго результата этого прошлаго, и готовы были провозглашать не только законность, но и разумность всѣхъ существующихъ порядковъ, необходимо соответствующихъ состоянію народнаго сознанія. Но въ собственно научной сферѣ новыя воззрѣнія сыграли чрезвычайно важную и плодотворную роль, прочно укоренивъ въ умахъ идею закономѣрнаго развитія народной жизни.

Младшій современникъ Станкевича, Вѣлинскаго и Грановскаго, Кавелинъ начиналъ свои студенческіе годы, когда эти воззрѣнія въ ихъ общемъ видѣ были уже усвоены передовою частью русскаго интеллигентнаго общества. И въ литературныхъ кругахъ, съ которыми онъ вошелъ въ соприкосновеніе еще на студенческой скамьѣ черезъ посредство «салона» А. П. Елагиной, и въ университетскихъ аудиторіяхъ на лекціяхъ Крюкова, Рѣкина, Крылова онъ встрѣчался съ изложеніемъ и пропагандой теорій немецкихъ философовъ и историковъ, которыя при такихъ условіяхъ скоро сдѣлались предметомъ и его тщательнаго изученія. Подъ вліяніемъ лекцій Н. И. Крылова онъ избралъ себѣ и спеціальную область научныхъ занятій въ гражданскомъ правѣ. Проникновеніе новыхъ идей въ русское общество не могло однако ограничиться простымъ усвоеніемъ результатовъ, достигнутыхъ германскими мыслителями. За этимъ усвоеніемъ наступала очередь самостоятельной работы, оригинальнаго приложенія теоріи къ новому матеріалу. Предстояло именно съ вновь принятыхъ точекъ зрѣнія объяснить себѣ собственное прошлое и настоящее, русскую исторію и русскую дѣйствительность. Вторую задачу взяла на себя по преимуществу литературная критика, первая должна была достаться главнымъ образомъ на долю ученыхъ специалистовъ. Работа послѣднихъ представлялась въ данное время подготовленною лишь настолько, насколько можетъ идти рѣчь о такой подготовкѣ въ смыслѣ собранія фактовъ, такъ какъ никакого сколько-нибудь удовлетворительнаго общаго объясненія ихъ не существовало. Карамзинское изложеніе русской исторіи съ нравственно-патріотической точки зрѣнія уже

оεδру въ московскомъ университетѣ вмѣсто Каченовскаго, который, какъ бы въ видѣ наказанія за свой не-патріотическій скептицизмъ, былъ перемѣщенъ на кафедру славянскихъ нарѣчій. Подобно Каченовскому и Полевому, Погодинъ началъ съ возраженій противъ Карамзинской схемы и заявленій, что обязанность историка заключается не въ морализованіи надъ явленіями народной жизни, а въ размыканіи ихъ смысла и связи. Приобрѣтенныя имъ довольно богатые фактическія свѣдѣнія, особенно для древнѣйшаго періода, позволили ему сдѣлать нѣсколько поправокъ къ изложенію Карамзина, но никакого самостоятельнаго и цѣльнаго взгляда на ходъ русской исторіи онъ не выработалъ, довольствуясь нѣсколькими наскоро схваченными и плохо продуманными положеніями шеллингянства, которыя въ его пониманіи сводились къ оригинальному, по выраженію Кавелина, «историческому мистицизму». Попытки объясненія русской исторіи скоро уступили у него свое мѣсто удивленію передъ ней, такъ какъ «ни одна исторія не заключаетъ въ себѣ столько чудеснаго, какъ руссійская» ¹⁾. Разсмотрѣніе русской исторіи, какъ таинственнаго сцѣпленія чудесъ, было не особенно далеко отъ Карамзинскаго взгляда, а борьба со скептиками и ея практическія послѣдствія окончателъно вернули Погодина къ «историческому православію», т. е. къ воззрѣніямъ «Исторіи государства руссійскаго», восхищаться которою онъ и предлагалъ теперь студентамъ на своихъ лекціяхъ. Отъ себя же онъ дѣлалъ къ этимъ воззрѣніямъ лишь одну существенную добавку, вскрывавшую ихъ практическое значеніе, возводи именно «Руссійскую исторію» въ санъ «охранительницы и блюстительницы общественнаго спокойствія» ²⁾. Какъ легко можно себѣ представить, подобная философія исторіи не особенно увлекала слушателей и плохо способствовала восстановленію авторитета Карамзина въ молодомъ поколѣніи.

Въ концѣ тридцатыхъ годовъ черезъ Погодинскую аудиторію прошли, впрочемъ, одинъ за другимъ два студента, способные и безъ прямыхъ указаній съ профессорской кафедры пойти далѣе въ критикѣ старыхъ взглядовъ на русскую исторію и попытаться самостоятельно построить новую ея систему въ большемъ соотвѣтствіи съ общими требованіями современной имъ науки. Это были Кавелинъ и, нѣсколько позднѣе его вступившій въ московскій университетъ, Соловьевъ, подобно старшему своему товарищу въ годы студенчества познакомившійся съ новыми представленіями объ исторіи и занявшійся усвоеніемъ теорій нѣмецкихъ историковъ параллельно съ изученіемъ фактовъ русскаго прошлаго. Сблизились другъ съ другомъ Кавелинъ и Соловьевъ уже позднѣе, когда первый изъ нихъ былъ адъюнктомъ въ университетѣ, а второй представлялъ въ факультетъ свою магистерскую

¹⁾ Погодинъ, Историко-критическіе отрывки, М. 1846, с. 10.

²⁾ Тамже, с. 16.

номъ истолкованіи система русской исторіи приобрѣтала болѣе логичный и цѣльный, но вмѣстѣ и болѣе отвлеченный характеръ. Последнее достигалось тѣмъ легче и естественнѣе, что Кавелинъ, при всемъ умѣньи своемъ блестяще справляясь съ фактическимъ матеріаломъ въ отдѣльныхъ случаяхъ, не особенно охотно обращался къ детальному его изслѣдованію, предпочитая тѣснымъ рамкамъ послѣдняго широкую сферу обобщеній, получаемыхъ путемъ логическихъ операцій надъ чистыми идеями. Это различіе сказалося и на формѣ работы обоихъ писателей. Соловьевъ, послѣ напечатанія двухъ диссертаций, приступилъ къ писанію прагматической «Исторіи Россіи». Кавелинъ далъ въ области общей русской исторіи одну вполне самостоятельную работу въ формѣ журнальной статьи, предназначенной подвести наиболѣе общіе итоги развитія русской жизни, и, кромѣ того, напечаталъ длинный рядъ критическихъ статей. Послѣднія могутъ быть естественно раздѣлены на два разряда. Въ однихъ, изъ которыхъ болѣе крупныя были посвящены разбору сочиненій Погодина, онъ подвергалъ обстоятельной и уничтожающей критикѣ погодинское воззрѣніе на исторію, какъ на какую-то «мистерію», расчищая такимъ образомъ мѣсто для новыхъ взглядовъ и вмѣстѣ отстаивая главныя ихъ основанія. Въ другихъ статьяхъ онъ разбиралъ произведенія новой школы, удѣляя особенное вниманіе работамъ Соловьева. Всѣ почти труды послѣдняго, до перваго тома «Исторіи Россіи» включительно, были встрѣчены большими критическими статьями Кавелина, въ которыхъ онъ не только давалъ подробную оцѣнку этихъ трудовъ, но и развивалъ собственные взгляды на ходъ русской исторіи, внося очень серьезныя дополненія и поправки въ представленія Соловьева. Сила этой критики была скоро оцѣнена по достоинству и въ журналистикѣ, и въ ученыхъ кругахъ. Вѣлискій уже въ 1846 г., составляя обзоръ текущей русской литературы, привлекъ Кавелина къ сотрудничеству и включилъ его обзоръ историческихъ сочиненій въ свою статью. Въ свою очередь Соловьевъ, не безъ доли высокомернаго пренебреженія относившійся ко всякой полемикѣ и почти никогда не прибѣгавшій къ ней въ своихъ университетскихъ курсахъ, на возраженія Кавелина считалъ нужнымъ отвѣчать на лекціяхъ ¹⁾. Не вдаваясь въ частности спора этихъ двухъ главныхъ представителей новой школы, мы прослѣдимъ только важнѣйшія положенія, выставленныя Кавелинымъ.

Уже магистерская диссертация Соловьева: «Объ отношеніяхъ Новгорода къ великимъ князьямъ», появившаяся въ 1845 году и восторженно приѣтствованная Кавелинымъ, какъ «первая серьезная попытка понять и объяснить постепенное развитіе древней русской жизни», дала поводъ къ обнаруженію разногласія между ними. Въ глазахъ Соловьева Новгородъ съ

¹⁾ Бестужевъ-Рюминъ, Біографіи и характеристики, СПб. 1882, с. 264.

исторіи и внести въ него много рода дополненій. Эту возможность доставила ему статья Соловьева: «О родовыхъ отношеніяхъ между князьями древней Руси». Въ разборѣ этой статьи Кавелинъ опять-таки настаивалъ на всеобъемлющемъ значеніи родового начала въ древне-русскомъ быту и на важности признанія этого значенія. «Когда, наконецъ, обратится въ обиходную истину, что весь древній бытъ Россіи, не только частный, но и государственный, вращался около одного родственнаго, кровнаго начала, которымъ первоначально болѣе или менѣе живутъ всѣ не-завоевательные народы, мы поймемъ многое въ русской исторіи, чего до сихъ поръ не понимаемъ». Привѣтствуя работу Соловьева, какъ разъясняющую эту мысль въ сферѣ между-княжескихъ отношеній, критикъ, однако, считалъ возможнымъ сдѣлать по его адресу два важные упрека. Олѣ не ввелъ своихъ частныхъ выводовъ въ рамки общихъ положеній и благодаря этому впалъ въ нѣкоторыя ошибки. Не поставивъ прямого вопроса о томъ, были ли древне-русскія отношенія, основанныя на кровныхъ началахъ, юридическими, онъ въ отдѣльныхъ случаяхъ придаетъ имъ опредѣленный правовой характеръ, хотя изъ сообщаемыхъ имъ же фактовъ слѣдуетъ заключить, что «юридическихъ понятій и отношеній мы прежде почти не имѣли». Съ другой стороны, представивъ основное начало родового быта и его постепенныя измѣненія, авторъ не пояснилъ той мысли, «которая связываетъ ихъ въ одно цѣлое, объясняетъ переходъ удѣльной Руси въ московскую и, такимъ образомъ, даетъ единство древнѣйшей русской исторіи». «Эта мысль или движущее начало — замѣчаетъ критикъ отъ себя — есть постепенное вытѣсненіе рода семьей», составляющее все содержаніе періода удѣловъ ¹⁾.

Въ этихъ критическихъ замѣчаніяхъ, обгло изложенныхъ и не обставленныхъ богатой аргументаціей, чувствуется уже однако стройная и цѣльная система, изъ которой они вытекали. Скоро эта система появилась въ свѣтъ и въ болѣе полномъ видѣ. Въ 1847 г. почти одновременно напечатаны были статья Кавелина «Взглядъ на юридическія отношенія древней Россіи», составлявшая итоги его университетскаго курса, и докторская диссертация Соловьева «Исторія отношеній между русскими князьями Рюрикова дома». Въ обоихъ этихъ произведеніяхъ авторы ставили себѣ цѣлю прослѣдить процессъ развитія русской исторической жизни, но въ объясненіи его значительно расходились между собою. Къ труду Соловьева мы еще вернемся, пока же отмѣтимъ основныя положенія Кавелина въ упомянутой статьѣ его.

Ключъ къ пониманію русской исторіи, по его мнѣнію, долженъ быть доставленъ наблюденіемъ надъ современнымъ русскимъ бытомъ. Народъ, крестьянская масса, и теперь еще мыслить всѣ отношенія между людьми въ формахъ родства. Эта терминологія, сложившаяся сама собою, безъ

¹⁾ Тамже, 271, 275—6.

простосердечіе. На рабовъ и чужеземцевъ они смотрѣли не съ юридической, а съ семейной, кровной точки зрѣнія». Писатель XVIII вѣка, нарисовавъ такую идиллическую картину, сталъ бы выражать сожалѣніе объ исчезновеніи изображенныхъ въ ней порядковъ. Кавелинъ, вѣрный духу органической школы, спѣшитъ въ самихъ этихъ порядкахъ указать причину ихъ гибели. Они были созданы «природой, а не мыслью, не сознаниемъ», но природныя кровныя связи слишкомъ непрочны для общественнаго быта. Размноженіе семей и необходимо соединяющееся съ этимъ распаденіе ихъ повело къ замѣнѣ старѣйшинъ по старшинству рожденія старѣйшинами по избранію, власть которыхъ пріобрѣтала уже слабый оттѣнокъ юридическаго характера, а дальнѣйшій ходъ того же процесса обратилъ семьи въ общины и породилъ на мѣсто одного старѣйшины совѣщанія главъ соединенныхъ въ общинѣ родственныхъ союзовъ или вѣчевыя собранія, служившія, однако, болѣе ареною вражды родовъ, нежели ихъ согласныхъ дѣйствій. Кровный бытъ, не могшій по существу своему развитъ общественнаго духа, сдѣлалъ возможнымъ призваніе чужеземной власти, варяговъ, привнесшихъ на русскую почву понятіе государства и осуществившихъ его на чуждыхъ славянамъ феодальныхъ началахъ. Но варяги скоро утратили свою національную особность и слились съ русскими племенами. Съ Ярослава «перерывающая національнаго развитія подымается опять», но на этотъ разъ «оно охватываетъ собою и государственный бытъ, созданный чужеземцами и вмѣстѣ съ ними подчинившійся вліянію туземнаго элемента».

Въ государственномъ быту повторяется тотъ же самый процессъ распаденія первоначально единого княжескаго рода и борьбы родового быта съ семейнымъ, ведущей къ торжеству послѣдняго. Единство княжескаго рода создало и политическое единство русскихъ земель, связанныхъ территоріальной іерархіей, соответствовавшей іерархіи старшинства князей. Но расходящіяся линіи Рюрикова рода скоро вступили въ борьбу между собою, утративъ сознаніе единства и преслѣдуя семейные интересы, выразившіеся въ наслѣдственности удѣловъ. Съ торжествомъ семейнаго начала, опредѣлившимся къ концу XII вѣка, исчезло территоріальное единство Россіи, распавшейся на нѣсколько княжествъ, въ каждомъ изъ которыхъ повторялся тотъ же процессъ, создавая все большее раздробленіе земель. Вмѣстѣ съ тѣмъ власть князей, дѣйствовавшихъ въ болѣе ограниченной сферѣ, становится болѣе опредѣленной и принимаетъ характеръ власти вотчинныхъ владѣльцовъ, собственниковъ княженій. Побѣда семейнаго начала впервые обезпечила границы кровнаго союза, оставивъ отношенія независимыхъ семей за его предѣлами, и въ высвобожденіи личности, хотя бы въ одной еще сферѣ, отъ узъ родства заключался смыслъ сдѣланнаго въ развитіи шага. Татарское завоеваніе, не внеся съ собою ничего новаго въ этотъ процессъ, подвинуло однако его впередъ, разрушивъ остат-

1. 1941-1942. 1943-1944. 1945-1946. 1947-1948. 1949-1950. 1951-1952. 1953-1954. 1955-1956. 1957-1958. 1959-1960. 1961-1962. 1963-1964. 1965-1966. 1967-1968. 1969-1970. 1971-1972. 1973-1974. 1975-1976. 1977-1978. 1979-1980. 1981-1982. 1983-1984. 1985-1986. 1987-1988. 1989-1990. 1991-1992. 1993-1994. 1995-1996. 1997-1998. 1999-2000. 2001-2002. 2003-2004. 2005-2006. 2007-2008. 2009-2010. 2011-2012. 2013-2014. 2015-2016. 2017-2018. 2019-2020. 2021-2022. 2023-2024. 2025-2026. 2027-2028. 2029-2030. 2031-2032. 2033-2034. 2035-2036. 2037-2038. 2039-2040. 2041-2042. 2043-2044. 2045-2046. 2047-2048. 2049-2050. 2051-2052. 2053-2054. 2055-2056. 2057-2058. 2059-2060. 2061-2062. 2063-2064. 2065-2066. 2067-2068. 2069-2070. 2071-2072. 2073-2074. 2075-2076. 2077-2078. 2079-2080. 2081-2082. 2083-2084. 2085-2086. 2087-2088. 2089-2090. 2091-2092. 2093-2094. 2095-2096. 2097-2098. 2099-2100. 2101-2102. 2103-2104. 2105-2106. 2107-2108. 2109-2110. 2111-2112. 2113-2114. 2115-2116. 2117-2118. 2119-2120. 2121-2122. 2123-2124. 2125-2126. 2127-2128. 2129-2130. 2131-2132. 2133-2134. 2135-2136. 2137-2138. 2139-2140. 2141-2142. 2143-2144. 2145-2146. 2147-2148. 2149-2150. 2151-2152. 2153-2154. 2155-2156. 2157-2158. 2159-2160. 2161-2162. 2163-2164. 2165-2166. 2167-2168. 2169-2170. 2171-2172. 2173-2174. 2175-2176. 2177-2178. 2179-2180. 2181-2182. 2183-2184. 2185-2186. 2187-2188. 2189-2190. 2191-2192. 2193-2194. 2195-2196. 2197-2198. 2199-2200. 2201-2202. 2203-2204. 2205-2206. 2207-2208. 2209-2210. 2211-2212. 2213-2214. 2215-2216. 2217-2218. 2219-2220. 2221-2222. 2223-2224. 2225-2226. 2227-2228. 2229-2230. 2231-2232. 2233-2234. 2235-2236. 2237-2238. 2239-2240. 2241-2242. 2243-2244. 2245-2246. 2247-2248. 2249-2250. 2251-2252. 2253-2254. 2255-2256. 2257-2258. 2259-2260. 2261-2262. 2263-2264. 2265-2266. 2267-2268. 2269-2270. 2271-2272. 2273-2274. 2275-2276. 2277-2278. 2279-2280. 2281-2282. 2283-2284. 2285-2286. 2287-2288. 2289-2290. 2291-2292. 2293-2294. 2295-2296. 2297-2298. 2299-2300. 2301-2302. 2303-2304. 2305-2306. 2307-2308. 2309-2310. 2311-2312. 2313-2314. 2315-2316. 2317-2318. 2319-2320. 2321-2322. 2323-2324. 2325-2326. 2327-2328. 2329-2330. 2331-2332. 2333-2334. 2335-2336. 2337-2338. 2339-2340. 2341-2342. 2343-2344. 2345-2346. 2347-2348. 2349-2350. 2351-2352. 2353-2354. 2355-2356. 2357-2358. 2359-2360. 2361-2362. 2363-2364. 2365-2366. 2367-2368. 2369-2370. 2371-2372. 2373-2374. 2375-2376. 2377-2378. 2379-2380. 2381-2382. 2383-2384. 2385-2386. 2387-2388. 2389-2390. 2391-2392. 2393-2394. 2395-2396. 2397-2398. 2399-2400. 2401-2402. 2403-2404. 2405-2406. 2407-2408. 2409-2410. 2411-2412. 2413-2414. 2415-2416. 2417-2418. 2419-2420. 2421-2422. 2423-2424. 2425-2426. 2427-2428. 2429-2430. 2431-2432. 2433-2434. 2435-2436. 2437-2438. 2439-2440. 2441-2442. 2443-2444. 2445-2446. 2447-2448. 2449-2450. 2451-2452. 2453-2454. 2455-2456. 2457-2458. 2459-2460. 2461-2462. 2463-2464. 2465-2466. 2467-2468. 2469-2470. 2471-2472. 2473-2474. 2475-2476. 2477-2478. 2479-2480. 2481-2482. 2483-2484. 2485-2486. 2487-2488. 2489-2490. 2491-2492. 2493-2494. 2495-2496. 2497-2498. 2499-2500. 2501-2502. 2503-2504. 2505-2506. 2507-2508. 2509-2510. 2511-2512. 2513-2514. 2515-2516. 2517-2518. 2519-2520. 2521-2522. 2523-2524. 2525-2526. 2527-2528. 2529-2530. 2531-2532. 2533-2534. 2535-2536. 2537-2538. 2539-2540. 2541-2542. 2543-2544. 2545-2546. 2547-2548. 2549-2550. 2551-2552. 2553-2554. 2555-2556. 2557-2558. 2559-2560. 2561-2562. 2563-2564. 2565-2566. 2567-2568. 2569-2570. 2571-2572. 2573-2574. 2575-2576. 2577-2578. 2579-2580. 2581-2582. 2583-2584. 2585-2586. 2587-2588. 2589-2590. 2591-2592. 2593-2594. 2595-2596. 2597-2598. 2599-2600. 2601-2602. 2603-2604. 2605-2606. 2607-2608. 2609-2610. 2611-2612. 2613-2614. 2615-2616. 2617-2618. 2619-2620. 2621-2622. 2623-2624. 2625-2626. 2627-2628. 2629-2630. 2631-2632. 2633-2634. 2635-2636. 2637-2638. 2639-2640. 2641-2642. 2643-2644. 2645-2646. 2647-2648. 2649-2650. 2651-2652. 2653-2654. 2655-2656. 2657-2658. 2659-2660. 2661-2662. 2663-2664. 2665-2666. 2667-2668. 2669-2670. 2671-2672. 2673-2674. 2675-2676. 2677-2678. 2679-2680. 2681-2682. 2683-2684.

[illegible]

съ построеніемъ Кавелина, благодаря чему послѣднему пришлось отстаивать отдѣльныя части своей системы. Эта задача была выполнена имъ въ большихъ статьяхъ, посвященныхъ «Исторіи отношеній между русскими князьями Рюрикова дома» и первому тому «Исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ» и являющихся образцовыми критическими разборами. Для насъ, впрочемъ, болѣе интересна теперь въ нихъ другая сторона, именно тѣ положительные элементы, которые были даны въ нихъ авторомъ для построенія системы русской исторіи, и на этой сторонѣ мы по преимуществу и остановимся.

Въ первой изъ названныхъ статей Кавелинъ рѣшительно подчеркивалъ преобладаніе въ русской исторіи государственнаго характера. «Вся русская исторія, какъ древняя, такъ и новая, есть по преимуществу государственная, политическая, въ особенномъ, намъ однимъ свойственномъ значеніи этого слова... Политическій, государственный элементъ представляетъ покуда единственно-живую сторону нашей исторіи и если въ послѣднее двадцатилѣтіе и были попытки открыть въ ней другія живыя стороны, то это не столько было вызвано самимъ предметомъ, сколько выражало новыя требованія нашего времени». Но государственная жизнь есть одно изъ проявленій живого и цѣльнаго народнаго организма. «Если развивалась только государственная, политическая жизнь, а другія стороны — нѣтъ, то, значить, въ ней сосредоточились всѣ силы и соки народной жизни; слѣдовательно, измѣненія первой были измѣненіями послѣдней». Съ этой точки зрѣнія, равно общей Соловьеву и Кавелину, трудъ перваго, посвященный изслѣдованію между-княжескихъ отношеній, могъ разсматриваться, какъ преслѣдующій цѣли разъясненія всего хода русской исторической жизни. Общимъ для обоихъ писателей было и представленіе о древнѣйшемъ періодѣ, какъ эпохѣ родовыхъ отношеній, о московскомъ — какъ времени образованія отношеній государственныхъ, причемъ чуждому вліянію, въ частности татарскому игу, столь важному въ изображеніи прежнихъ писателей, отводилась въ этомъ процессѣ исключительно отрицательная роль. Дальше наступали разногласія. По мнѣнію Соловьева, въ кievской эпохѣ между князьями всецѣло господствовали родовыя отношенія и вся русская земля находилась въ нераздѣльномъ владѣніи единого княжескаго рода; происходившія въ эту пору усобицы вызывались борьбою князей-изгоевъ, племянниковъ, лишенныхъ доли въ общемъ владѣніи, съ дядями и, позднѣе, борьбою за родовое старшинство. Когда же часть князей переселилась на сѣверъ, гдѣ мало было старыхъ городовъ, а большинство поселеній было основано самими князьями, отношенія ихъ къ областямъ стали строиться на началѣ частнаго владѣнія и самыя усобицы княжескія обратились уже изъ борьбы за старшинство въ борьбу за владѣнія. Это начало частной собственности постепенно разрушило родовой союзъ и послужило почвою для возникновенія государственныхъ отношеній. Историческій процессъ, такимъ образомъ,

Отчасти тѣ же самыя возраженія пришлось повторить Кавелину и черезъ четыре года, разбирая первый томъ «Исторіи Россіи», но вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ трудъ Соловьева заставилъ его высказать свое мнѣніе и по нѣкоторымъ другимъ вопросамъ. Та непомѣрно широкая и рѣшающая роль, какая придана была здѣсь Соловьевымъ географическимъ условіямъ страны, опредѣлившимъ собою въ его изображеніи едва-ли не весь ходъ ея исторіи, обратила на себя особое вниманіе Кавелина и встрѣтила въ немъ горячаго оппонента. Не отрицая совершенно значенія природныхъ условій, главнымъ образомъ въ первые моменты жизни народовъ, онъ указывалъ, однако, что повсюду «при дальнѣйшемъ ходѣ исторіи эти условія въ свою очередь подчинялись дѣятельности и вліянію людей». Онъ отиѣчалъ затѣмъ рядъ нѣтяжекъ Соловьева въ объясненіи фактовъ политической исторіи природою страны и въ видѣ общаго заключенія прибавлялъ: «теряя изъ вида историческіе элементы, подчиняя такъ безусловно дѣятельность лицъ и племенъ условіямъ географическимъ, авторъ обличаетъ неправильную точку зрѣнія на историческое развитіе, лишаетъ исторію по преимуществу ей принадлежащаго значенія дѣятельности человѣка». Въ этихъ словахъ не трудно узнать послѣдовательнаго сторонника монистическаго воззрѣнія органической школы, хотя крайности взгляда Соловьева и сами по себѣ вызывали на возраженія. Другое общее возраженіе, предъявленное критикомъ вѣ сферѣ вопросовъ политической жизни, касалось изображенія быта и религіозныхъ вѣрованій русскихъ славянъ до принятія христіанства. Упрекая и въ этомъ случаѣ Соловьева въ чрезмѣрномъ стремленіи къ систематизаціи, нарушающей естественный характеръ фактовъ, онъ настойчиво указывалъ на неопредѣленность домашняго, общественнаго и религіознаго быта въ древности при господствѣ патріархальныхъ отношеній ¹⁾. Та же мысль въ болѣе полномъ видѣ была развита имъ ранѣе въ разборѣ книги Терещенка: «Бытъ русскаго народа», въ которомъ онъ, на основаніи заключеннаго въ этой книгѣ этнографическаго матеріала, изображалъ первобытныя вѣрованія русскихъ славянъ и ихъ развитіе, равно какъ частную и общественную жизнь русскихъ племенъ въ періодъ родового быта.

Послѣ разбора перваго тома «Исторіи Россіи» въ работахъ Кавелина надъ общою русскою исторіею наступилъ долгій перерывъ, частью вызванный, вѣроятно, событіями его личной жизни, вынудившими его еще въ 1848 г. переселиться изъ Москвы въ Петербургъ и обратиться изъ профессора въ чиновника, частью же имѣвшій, можетъ быть, и болѣе общія причины. Появившаяся въ 1856 г. рецензія на изслѣдованіе г. Чичерина «Областныя учрежденія Россіи въ XVII в.» была гораздо болѣе отчетомъ о книгѣ, нежели самостоятельнымъ трудомъ, далеко уступаая въ этомъ отно-

¹⁾ Тамже, 424, 435; 443, 449, 461—2.

лись дорогой цѣной. Исторія народа не только отрывалась отъ той обстановки, въ которой она въ дѣйствительности совершалась, но и сводилась вся къ одной своей сторонѣ. Исходя въ своихъ объясненіяхъ русской исторіи изъ истолкованія началъ государственнаго быта, писатели школы родового быта дали во многихъ отношеніяхъ мѣткую характеристику русской государственности, но сравнительно мало сдѣлали для объясненія русской общественности. Благодаря этому, уже одному изъ первыхъ творцовъ этой школы довелось быть свидѣтелемъ разрушенія созданнаго имъ построенія и попытокъ перестроить систему русской исторіи на новыхъ началахъ. Такія попытки и въ наше время едва-ли могутъ считаться приведшими къ вполнѣ законченному результату, но въ какую бы сторону онѣ въ дальнѣйшемъ ни направились, онѣ уже не могутъ сойти съ почвы того понятія о законмѣрности историческаго движенія, которое, со времени Кавелина и въ значительной мѣрѣ благодаря его трудамъ, составляетъ прочное достояніе русской исторической науки.

II.

Роль Кавелина, какъ публициста, была гораздо скромнѣе его роли, какъ историка. Самъ по себѣ Кавелинъ не принадлежалъ къ числу нашихъ перворазрядныхъ публицистовъ и въ настоящее время его публицистическія произведенія успѣли уже утратить свой непосредственный интересъ. При всѣхъ своихъ частныхъ достоинствахъ они являются теперь въ гораздо большей мѣрѣ любопытнымъ памятникомъ той эпохи, къ которой они относятся, нежели наслѣдствомъ, сохраняющимъ свою цѣну и въ современной жизни. Но памятники прошлаго нерѣдко помогаютъ понять явленія настоящаго, и въ этомъ смыслѣ названные произведенія Кавелина также имѣютъ извѣстное значеніе. Для выясненія послѣдняго нѣтъ надобности, конечно, разбирать содержаніе этихъ произведеній во всѣхъ его подробностяхъ. Совершенно достаточно остановиться на тѣхъ идеяхъ и тѣхъ пріемахъ, которые легли въ основаніе публицистической дѣятельности Кавелина и обрисовали собою ея важнѣйшіе результаты. Характеристикой этихъ идей и пріемовъ мы и займемся на слѣдующихъ страницахъ.

На поприще публицистики Кавелинъ выступилъ уже послѣ того, какъ его научные труды доставили ему громкое литературное имя, и первыя его публицистическія работы были тѣсно связаны съ тѣмъ общимъ возрожденіемъ русской жизни, какое наступило вслѣдъ за окончаніемъ Крымской кампаніи. Послѣ неудачнаго исхода войны, явно выказавшей всю отсталость Россіи, всю несостоятельность ея государственныхъ и общественныхъ порядковъ, мысль о необходимости коренной реформы этихъ порядковъ сдѣ-

жется съ перваго взгляда. Теперь больше, чѣмъ когда нибудь, можетъ быть столько же, сколько въ 1612 г., Россія требуетъ вѣрной службы отъ своихъ сыновъ и знать не хочетъ ихъ маленькихъ несогласій. Вы не словами, а дѣлами доказали и доказываете, что слышите это требованіе денно и нощно, и потому, будучи точно также настроенъ, я чувствовалъ глубочайшую потребность поговорить съ вами нѣднѣй хоть одинъ вечерокъ и вилить Богъ, какъ мнѣ досадно и больно, что это не удалось»... Такимъ образомъ, та публицистическая дѣятельность, или, вѣрнѣе, то безконечное прожектерство, какому предавался въ 50-хъ годахъ Погодинъ въ своихъ рукописныхъ «письмахъ» и какое лишь раздражало и смѣшило Грановскаго, въ Кавелинѣ вызвало, напротивъ, симпатію и уваженіе. Онъ приглашалъ Погодина стать «звеномъ зампренія» между различными партіями и счелъ нужнымъ подѣлиться съ нимъ своими завѣтными публицистическими планами, тѣмъ самымъ какъ бы давая съ своей стороны залогъ такого примиренія и указывая почву для него. «Я составляю понемногу — писалъ онъ — нѣчто въ родѣ программы того, что бы у насъ должно было быть иначе. Этого конспекта будетъ много тетрадей и обнимать онъ долженъ весь нашъ бытъ... Готово объ управленіи центральномъ, мѣстномъ, земскомъ и сословномъ, о судѣ и участіи выборныхъ въ дѣлахъ управленія. Написана въ третью статью о крѣпостномъ правѣ государственномъ и помѣщичьемъ. Этой статьѣ приписываю особенную важность и потому работаю очень обдуманно. Готовъ по крайнему убѣжденію моему отдать все свое, да вдобавокъ принять лѣтъ на 50 теперешней неурядицы и беззаконія въ Россіи, если бы этими жертвами можно было купить въ пять лѣтъ совершенное освобожденіе мужика съ тою землею, которою онъ теперь владѣетъ, безъ обиды для барина, т. е. съ выкупомъ... А кромѣ того набросано такъ, для памяти, и объ церковныхъ дѣлахъ, и объ народномъ просвѣщеніи, объ иностранцахъ, инородцахъ, о сословіяхъ, о совершенной необходимости сохранить неограниченную власть государя, основавъ ее на возможно широкихъ мѣстныхъ свободахъ и участіи всѣхъ въ мѣстныхъ дѣлахъ и управленіи. Все это со временемъ должно быть обработано въ статьи» ¹⁾).

Выполненіе этой обширной программы публицистическихъ работъ заняло у Кавелина всю жизнь, но одна изъ нихъ, и именно та, которой онъ самъ придавалъ «особенную важность», была имъ закончена сравнительно скоро. Въ томъ же 1855 году, къ которому относится приведенное письмо, Кавелинъ довершилъ обработку своей извѣстной «Записки объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи», въ которой онъ доказывалъ необходимость немедленнаго освобожденія крестьянъ съ землею и предлагалъ проектъ выкупа крестьянскихъ надѣловъ у помѣщиковъ при помощи государства. Эта за-

¹⁾ Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. Погодина, XIV, 201—2, 202—3.

труда. Отстаивая въ послѣднемъ такой порядокъ освобожденія, при которомъ крестьяне сохранили бы полностью находившіеся въ ихъ пользованіи надѣлы, онъ въ то же время доказывалъ необходимость выкупа у помѣщиковъ не только земли, но и личности крестьянина. По его словамъ, выплата помѣщикамъ «денегъ за одну землю, не принимая въ расчетъ крѣпостныхъ людей, была бы весьма несправедлива и неуравновѣсна». «Владѣльцевъ—проектировали онъ слѣдуетъ вознаграждать за выкупаемыхъ у нихъ крѣпостныхъ самымъ простымъ и самымъ справедливымъ образомъ: оцѣнить крѣпостныхъ съ слѣдующею имъ землею по существующимъ на мѣстѣ цѣнамъ, какъ можно добросовѣстнѣе, какъ можно ближе къ истинѣ, и затѣмъ выдавать всю выкупную сумму сполна, при самомъ отчужденіи крѣпостныхъ изъ частнаго владѣнія». Въ соответствии съ этимъ общимъ правиломъ онъ предлагалъ установить и личный выкупъ дворовыхъ, не сопровождаемый надѣленіемъ ихъ землею. Съ другой стороны, онъ находилъ, что «нельзя ни предлагать, ни даже желать» немедленнаго общаго выкупа крѣпостныхъ на всемъ пространствѣ государства, и утверждалъ, что такой мѣръ должны предшествовать мѣстные опыты и добровольныя сдѣлки помѣщиковъ съ крестьянами. «Примирительный характеръ» Кавелинской «Записки» шелъ, впрочемъ, и дальше. Авторъ ея самымъ рѣшительнымъ образомъ заявлялъ свое согласіе съ тѣмъ мнѣніемъ, по которому «значение и вліяніе должны принадлежать въ Россіи не массамъ, а просвѣщенному и зажиточному меньшинству, представляемому дворянствомъ». «Нельзя—говорилъ онъ—не раздѣлять убѣжденія, что значение и вліяніе должны принадлежать не толпѣ, а образованнѣйшему и зажиточнѣйшему сословію. Если это справедливо для всѣхъ странъ въ мірѣ, то тѣмъ болѣе въ примѣненіи къ Россіи, гдѣ просвѣщеніе такъ мало развито въ большинствѣ народа». Но достиженіе дворянствомъ того положенія, на которое оно имѣетъ всѣ права претендовать, не мыслимо, пока существуетъ крѣпостное право, создающее непримиримый антагонизмъ между высшимъ сословіемъ и массою народа. За то, какъ только рухнетъ крѣпостное право, дворянство займетъ это положеніе, сдѣлавшись естественнымъ и достойнымъ довѣрія представителемъ народа, «потому что, имѣя одни и тѣ же интересы съ простымъ народомъ, оно будетъ имѣть всѣ способы защищать ихъ для себя и вмѣстѣ для черни» ¹⁾).

Эти послѣднія утвержденія—относительно того благотѣльнаго вліянія, какое должно было оказать уничтоженіе крѣпостнаго права на процвѣтаніе русскаго дворянскаго сословія,—были еще съ большою рѣшительностью повторены Кавелинымъ два года спустя, въ его «Мысляхъ объ уничтоженіи

¹⁾ Сочиненія Кавелина, т. II, СПб., 1898, 46, 48, 78—9, 72—3, 66, 67, 71—2.

крестьян рекомендовалось воспитывать для гражданской жизни путем строгого принуждения к исправному платежу помещикам выкупа за землю и за свою личную свободу. Во всем этом было много безусловно-искренней наивности, хотя была и своеобразная тактика. Драгоценное сокровище гражданской свободы, которое предстояло приобрести крестьянам, своим блеском ослепляло глаза писателя и это обстоятельство подчас лишало его возможности спокойно и беспристрастно взвесить все значение той цены, какою он предлагал купить это сокровище. С другой стороны, стремление во что бы то ни стало привлечь к делу освобождения симпатии владельческого класса вело к таким доказательствам выгоды освобождения для этого класса, при которых если не юридические, то экономические интересы крестьянина отступали уже совершенно на второй план перед пользами помещика. С особенной реальностью этот ход мысли и вытекавшие из него последствия были вскрыты в одной любопытной статье Кавелина, оставшейся ненапечатанною в свое время и появившейся впервые лишь в недавнем полном собрании его сочинений. В этой статье, носящей заглавие: «Уставная грамота» и относящейся к той поре, когда крестьянская реформа начала уже приводиться в исполнение, Кавелин поставил себя задачею доказать, что при известном благоразумии и терпении помещик всегда почти может заключить достаточно выгодное для себя полюбовное соглашение с крестьянами. Для иллюстрации этой мысли он подробно и с чувством полного душевного удовлетворения рассказывал о том, как ему удалось добиться «выгодного» соглашения с крестьянами своего самарского имения, добровольно принявшими четвертной надель. Много лет позднее сам Кавелин с горечью говорил о тех людях, которые «выдумали злосчастные сиротские надёлы» ¹⁾.

И в собственных проектах крестьянской реформы, и в своих со-
вѣтах по поводу осуществления принятого правительством плана освобождения Кавелин шел, таким образом, на известные жертвы в пользу владельческих интересов. Но нельзя было бы сказать, что готовность к таким жертвам вытекала у него из вполне ясного сознания могущества классовых интересов и признания необходимости считаться с ними и делать им некоторые уступки ради осуществления хотя части своих планов. «Примирительный характер» кавелинских проектов имел несколько иной источник. Правда, у Кавелина, как и у некоторых других писателей 40-х годов, можно порою встретить фразы, как будто свидетельствующие о признании великого, если не первенствующаго, значения материального фактора в жизни народов. «Никогда — писал он в 1865 г. — ни в какой стране в мире обществом и государством не двигали без-

¹⁾ Сочинения К. Д. Кавелина, II, СПб. 1898, 689—718, 652.

чительная личная собственность поражает нравы и крепость народную, устойчивость массъ въ самомъ ихъ источникѣ»¹⁾).

Исходя изъ этого туманнаго и расплывчатаго представленія, позволявшаго переносить экономическіе вопросы въ нравственную сферу и замѣнять заботу о нормальныхъ условіяхъ труда заботою о поддержаніи крѣпкихъ нравовъ въ народной массѣ, трудно было, конечно, придти къ строгому различенію классовыхъ интересовъ и къ правильной оцѣнкѣ ихъ взаимныхъ отношеній и ихъ вліянія на общественную жизнь страны. Въ публицистическихъ построеніяхъ Кавелина такая задача была въ сущности не столько разрѣшена, сколько обойдена и оставлена въ сторонѣ, и это обстоятельство въ значительной мѣрѣ опредѣлило собою характеръ конечныхъ выводовъ писателя. Дѣйствительность скоро убѣдила Кавелина въ ошибочности его расчетовъ на симпатіи дворянства къ крестьянской реформѣ, показавъ ему, что громадное большинство дворянства питаетъ очень мало желанія разставаться съ крѣпостнымъ правомъ и во всякомъ случаѣ не склонно считать освобожденіе крестьянъ съ землею сколько-нибудь выгоднымъ для себя. «Дворянство—писалъ онъ Погодину въ началѣ 1859 г.—гнусно, гнусно и гнусно. Оно доказало, что быть душевладѣльцемъ безнаказанно нельзя: профершиплили и совѣсть, и сердце, да и умъ вдобавокъ»²⁾. Но этотъ горькій урокъ практической жизни мало повліялъ на Кавелина и не поколебалъ его теоретическихъ взглядовъ. Дальнѣйшее ихъ развитіе продолжалось въ однажды усвоенномъ примирительномъ направленіи и, незамѣтно для самого Кавелина, быстро отводило его какъ отъ бывшаго его учителя въ общественныхъ вопросахъ—Герцена, такъ и отъ молодыхъ дѣятелей «Современника», съ которыми его временно облизидо было его участіе въ разрѣшеніи вопроса крестьянской реформы. Еще въ 1859 г. Кавелинъ выступилъ съ горячей апологіей дѣятельности Герцена³⁾, но уже три года спустя между старыми друзьями произошелъ рѣзкій разрывъ и они разошлись по различнымъ дорогамъ.

Въ короткій промежутокъ времени съ 1855 г. по 1861 г. русское общество успѣло пережить многое. Разъ начавшееся реформаторское движеніе непрерывно разрасталось вширь и вглубь, привлекая къ себѣ все новыя силы и приобретаая все болъшую опредѣленность. Освобожденіе крестьянъ нанесло первый серьезный ударъ господству старыхъ порядковъ, но этотъ ударъ въ сознаніи общества не былъ рѣшительнымъ и не могъ быть послѣднимъ. Правда, реакція, ознаменовавшая послѣдніе этапы крестьянской реформы, сильно охладила возбужденныя надежды и ожиданія, но тѣмъ настоятельнѣе вставалъ передъ мыслящею частью общества вопросъ о

¹⁾ Сочиненія К. Д. Кавелина, II, 186.

²⁾ Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина, XV, 515.

³⁾ Тамже, XV, 261—8.

свою очередь имущественное неравенство обостряет плоды неравенства физического, такъ какъ люди обезпеченные пользуются большею возможностью развитія своихъ способностей и талантовъ, чѣмъ немущіе. «Итакъ,— заключалъ публицистъ—природныя свойства и собственность суть неискоренимый, вѣчный источникъ неравенства людей и различія высшихъ и низшихъ сословій во всѣхъ человѣческихъ обществахъ, во всѣ времена, на всѣхъ ступеняхъ развитія» ¹⁾

Прибѣгая въ своемъ анализѣ явленій общественной и, въ частности, экономической жизни къ столь упрощеннымъ приемамъ изслѣдованія, Кавелинъ и свой общественный идеалъ строилъ на почвѣ тѣхъ же нивныхъ понятій вульгарной политической экономіи. Въ основу этого идеала онъ полагалъ гармонію интересовъ сословныхъ и классовыхъ группъ, въ его представленіи нисколько не нарушаемую ихъ раздѣльнымъ существованіемъ. Не имѣя возможности отрицать существованія вражды между различными классами, онъ видѣлъ, однако, въ этой враждѣ не проявленіе естественнаго антагонизма классовыхъ интересовъ, а исключительно результатъ неправильнаго поведенія высшаго класса, который, ставъ господиномъ и «облѣпившись», начиналъ ограждать свое положеніе привилегіями и насиліемъ. При нормальныхъ же условіяхъ, по его мнѣнію, высшій классъ, отказавшись отъ привилегій и духа касты, могъ сохранить свое положеніе и тѣсную связь съ другими классами. Эту мысль онъ иллюстрировалъ примѣрами французскаго и англійскаго дворянства, опять-таки смѣшивая при этомъ понятія сословія и класса ²⁾.

Вооружившись такимъ критеріемъ, Кавелинъ обращался къ русской жизни. Въ Россіи, по его указанію, высшее сословіе никогда не имѣло большой силы и самостоятельности, благодаря отсутствію у него тѣсной связи съ народной массой. Вельможество московской эпохи «не имѣло корней въ народѣ, было ему чуждо, стояло къ нему почти враждебно» и было поэтому легко раздавлено верховною властью. «Съ реформы Петра В. паденіе вельможества очистило остальному дворянству путь къ высшимъ государственнымъ степенямъ и власти». Съ этой поры вплоть до 1825-го года дворянство находилось въ крайне благоприятныхъ для него условіяхъ. «Къ несчастью, крѣпостное право поставило это сословіе въ фальшивое, щекотливое положеніе къ цѣлой половинѣ сельскаго народонаселенія имперіи». Между тѣмъ дворянство «всѣми силами схватилось за это несчастное право, держалось за него до-нельзя и цѣлымъ рядомъ ошибокъ, бывшихъ неизбѣжными, роковымъ послѣдствіемъ этой основной коренной ошибки, дошло до теперешняго безсилія и ничтожества». «Печальную

¹⁾ Сочиненія К. Д. Кавелина, II, 109—114.

²⁾ Тамже, 114—15.

ной жизни. Но и тутъ «дворянство отнеслось къ вопросу объ освобожденіи крестьянъ нехотя, отрицательно, пассивно, и было обойдено. Ему остались на долю одно напрасное сѣтованіе и безсильная злоба» ¹⁾).

Трудно было бы съ большимъ мастерствомъ набросать въ немногихъ штрихахъ такую яркую и справедливую картину историческаго развитія русскаго дворянства. Но чѣмъ ярче была эта картина, чѣмъ большею вѣрностью дѣйствительности она отличалась, тѣмъ менѣе оправданнымъ являлся переходъ писателя отъ изслѣдованія прошедшаго къ сужденіямъ о настоящемъ. Вступая на почву современности, Кавелинъ какъ будто забывалъ о воспроизведенныхъ имъ самимъ условіяхъ недавняго прошлаго и во всякомъ случаѣ почти не считался съ ними. Благодаря этому, онъ изъ изслѣдователя общественной жизни, изучающаго развитіе въ ней тѣхъ или иныхъ процессовъ, незамѣтно для самого себя обращался въ моралиста чистой воды, поученія котораго могли имѣть тѣмъ менѣе значенія, что въ основѣ ихъ лежало очень малое знакомство съ дѣйствительнымъ характеромъ тѣхъ фактовъ, къ какимъ они были приурочены. Указывая, что за уничтоженіемъ крѣпостнаго права неизбежно должно послѣдовать постепенное уравниеніе дворянъ во всѣхъ гражданскихъ правахъ съ другими сословіями, Кавелинъ намѣчалъ вытекавшее отсюда измѣненіе характера дворянства. Изъ привилегированнаго, наследственнаго и болѣе или менѣе замкнутаго сословія, принадлежность къ которому опредѣлялась рожденіемъ или пожалованіемъ, оно должно было обратиться въ классъ землевладѣльцевъ. «Зерномъ, главнымъ интересомъ, около котораго сгруппируется это сословіе, будетъ—утверждать Кавелинъ—крупное земледѣліе». Съ этимъ фактомъ измѣненія характера дворянства писатель связывалъ самыя розовыя предвидѣнія и ожиданія. «Гибельная разобщенность классовъ прекратится,—предсказывалъ онъ.—Дворянство, переставъ быть замкнутымъ сословіемъ, будетъ принимать въ себя новыя элементы изъ другихъ классовъ и выдѣлять изъ себя въ низшіе слои народа тѣ, которые стали ему чужды. Вслѣдствіе этого весь народъ составитъ одно органическое тѣло, въ которомъ каждый будетъ занимать высшую или низшую ступень одной и той же лѣстницы; высшее сословіе будетъ продолженіемъ и завершеніемъ низшаго, а низшее—служить питомникомъ, основаніемъ и исходною точкою для высшаго. То, чему весь міръ удивляется въ Англіи, что составляетъ источникъ ея силы и величія, то, чѣмъ она такъ справедливо гордится передъ прочими народами,—именно правильное, нормальное отношеніе между низшими и высшими классами, органическое единство всѣхъ народныхъ элементовъ, открывающее возможность безконечнаго мирнаго развитія посредствомъ постепенныхъ реформъ, дѣлающее невозможною революцію

¹⁾ Тамже, 119, 120—1, 122—3, 124—5.

сближеніи со всѣми классами народа, о приобрѣтеніи возможно большаго вліянія на мѣстныя дѣла и управленія». Въ свою очередь все это могло быть достигнуто очень просто. Запутавшимся въ дѣлахъ дворянамъ слѣдовало бросить службу и заняться хозяйствомъ въ своихъ имѣніяхъ. Для сближенія съ другими классами «не нужно ни тратъ, ни чрезмѣрныхъ усилій: отсутствіе всякаго чванства и спѣси, ласковость, твердое знаніе дѣла, вѣрность въ словѣ и честность въ расчетахъ,—вотъ качества, которыя требуются для того, чтобы снискать общее къ себѣ довѣріе и благорасположеніе въ массахъ народа». Наконецъ, для приобрѣтенія вліянія въ мѣстности дворянству, по утвержденію писателя, достаточно было пользоваться уже имѣвшимися у него правами «не во вредъ себѣ, не для извлеченія минутныхъ выгодъ и личныхъ протекцій, а на общую пользу, для упроченія за собою виднаго и почетнаго нравственнаго положенія въ глазахъ цѣлой губерніи» ¹⁾. Вопросы соціального и политическаго быта переводились такимъ путемъ на почву обыденной морали и на ней уже получали свое рѣшеніе, по необходимости являвшееся въ этихъ условіяхъ крайне узкимъ и обращающееся въ мало соответствовавшую дѣйствительной жизни идиллію.

Такой характеръ указанной программы очень мало затушевывался попытками ея автора доказать историческую необходимость проектируемаго имъ пути и поставить свои совѣты и ожиданія въ тѣсную связь съ конкретными условіями русской дѣйствительности текущаго момента. Эти попытки и не шли въ сущности далѣе общихъ, неопредѣленныхъ и подчасъ противорѣчивыхъ ссылокъ на требованія историческаго развитія, трактуемаго притомъ исключительно съ идеалистической точки зрѣнія. Доказывая неизбежное наступленіе прогрессивныхъ законодательныхъ реформъ помимо всякихъ измѣненій политическаго строя, Кавелинъ ссылаясь на «силу обстоятельствъ и вещей», требующую такихъ реформъ, на то, что послѣднія всюду были «не столько плодомъ прекрасныхъ чувствъ и благородныхъ мыслей, сколько результатомъ неотложныхъ, практическихъ потребностей» и, довольствуясь такими ссылками, не считалъ нужнымъ входить въ анализъ «обстоятельствъ и вещей», своей силой ведущихъ къ реформамъ ²⁾. Во всякомъ случаѣ, отвлекая историческій процессъ «отъ желаній однихъ и сопротивленія другихъ» и связывая его развитіе исключительно съ «неотразимыми практическими нуждами», писатель не придавалъ ему матеріалистическаго характера. Сами по себѣ взятые, матеріальныя условія быта играли въ представленіи писателя второстепенную роль, и Кавелинъ какъ нельзя яснѣе высказалъ это, вернувшись черезъ три года къ вопросу объ общественной роли дворянства въ Россіи «У-

¹⁾ Тамже, 132, 132—133, 134—5.

²⁾ Тамже, 138.

напрасно онъ пытался привести свои теоретическіе взгляды въ связь съ недоумѣніемъ Герцена къ политическому развитію Запада, напрасно увѣрялъ, что онъ больше и лучше всѣхъ цѣнитъ мысли Герцена и находитъ въ его произведеніяхъ мудрость, скрытую отъ массы читателей и едва-ли не отъ самого автора. Герценъ не пошелъ на уступки, нарушавшія цѣльность его принципиальныхъ взглядовъ. Разрывъ состоялся и бывшіе друзья разошлись по разнымъ дорогамъ, на которыхъ имъ не суждено было болѣе встрѣчаться.

Вскорѣ послѣ того послѣдовавшее за крестьянскою реформою введеніе земскихъ учрежденій дало поводъ Кавелину высказать свои взгляды еще съ большею полнотою и отчетливостію. Горячо привѣтствуя «Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ», какъ удовлетворившее «одну изъ самыхъ первыхъ, настоятельнѣйшихъ потребностей послѣ упраздненія крѣпостного права», онъ вмѣстѣ съ тѣмъ находилъ, что «достоинство этихъ учрежденій опредѣляется совсѣмъ не обширностію самоуправленія, которое они предоставляютъ, а правильностію ихъ организаціи и полнотою той доли самостоятельнаго заведыванія мѣстными дѣлами, которая дается уѣздамъ и губерніямъ». Въ смыслѣ же самостоятельности мѣстнаго самоуправленія новымъ закономъ, по убѣжденію писателя, было «сдѣлано все, что нужно, и больше дѣлать не слѣдовало». Еслибы «Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ» не предусматривало возможности неудачъ мѣстнаго самоуправленія и не устанавливало надъ послѣднимъ правительственнаго контроля, оно, продолжалъ Кавелинъ, «показалось бы намъ не серьезнымъ законодательнымъ актомъ, а скорѣе программой на французскій манеръ, которая Богъ знаетъ что сулитъ, а на дѣлѣ даетъ мало, очень мало, почти ничего». Но — утверждалъ онъ — «этого-то декоративнаго характера и не имѣетъ Положеніе: оно производитъ преобразованіе осторожно, предвидитъ доброе и худое, и именно въ этомъ несомнѣнный залогъ, что мы вступаемъ на новый путь безъ колебаній и сюрпризовъ» ¹⁾. Этотъ оптимизмъ вытекалъ не только изъ темперамента писателя, но имѣлъ подъ собою и нѣкоторое теоретическое основаніе, стоявшее въ тѣсной связи со всѣми взглядами Кавелина на характеръ общественной жизни. Оставаясь вѣрнымъ духу органической школы историковъ и юристовъ, Кавелинъ считалъ прогрессъ неизбежнымъ, но придавалъ ему вполнѣ безличный характеръ и вмѣстѣ съ тѣмъ склоненъ былъ сильно преувеличивать его необходимую постепенность. Благодаря такой точкѣ зрѣнія эволюція учрежденій представлялась ему чѣмъ-то совершенно самостоятельнымъ и отдѣльнымъ отъ жизни личностей, создающихъ эти учрежденія и пользующихся ими. «Въ жизни и развитіи учрежденій — писалъ онъ — наши прихоти, желанія, мечты и ошибки участвуютъ гораздо

¹⁾ «По поводу губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учреждений». Сочиненія, II, 736, 755, 756.

быть и то, какъ относилось громадное большинство дворянства къ дѣятельности мировыхъ посредниковъ, и то, какъ онъ самъ оцѣнивалъ роль дворянства въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ.

Прошло послѣ того шестнадцать лѣтъ, — и Кавелину пришлось сознаться въ полномъ крушеніи своихъ розовыхъ надеждъ и ожиданій, построенныхъ на столь ненадежномъ фундаментѣ. «Крестьяне — писалъ онъ о земскихъ учрежденіяхъ въ 1880 г. — изъ нихъ почти исключены; ихъ тщательно и долго оттирали и, наконецъ, оттерли. Люди хорошіе, знающіе и опытные, къ земскому дѣлу послѣ всего того, что съ нимъ дѣлалось, расколодѣли и отъ него отшатнулись; а засѣли въ нихъ густой массой почти исключительно дворяне, въ большинствѣ или совершенное ничтожество, или бывшіе крѣпостники, которые продолжаютъ и по сей день вздыхать о блаженномъ старомъ времени, когда имъ жилось легко и привольно, и стараются не мытьемъ, такъ катаньемъ, по возможности подобрать и сохранить крохи, уцѣлѣвшія отъ роскошнаго стола, унесеннаго у нихъ изъ-подъ носу 19 февраля 1861 г.». «Вы въ Петербургѣ — продолжалъ умудренный житейскимъ опытомъ писатель — воображаете, что крѣпостное право умерло, похоронено и память о немъ исчезла? Очень ошибаетесь! Оно живетъ еще во взглядахъ, понятіяхъ, привычкахъ и помѣщиковъ, и крестьянъ, и если будетъ, какъ было до сихъ поръ, поддерживаться администраціей губернской и петербургской, то проживетъ еще долго. Исчезло только мелкое дворянство; среднее, уцѣлѣвшее отъ погрома эманципаціи, и крупное пропитались понятіями промышленниковъ и коммерсантовъ, для которыхъ важна, во что бы ни стало, есть высшій и единственный идеалъ. Кто помысленѣй, бывалъ за границей, читалъ кое-что, тотъ умѣетъ прикрывать хищническіе аппетиты громкими фразами, позаимствованными изъ политической экономіи и жаргона европейскихъ буржуа, но подкладка все та же, крѣпостническая. Этотъ слой господствуетъ теперь въ большинствѣ земствъ и давить не только крестьянство, но и порядочное меньшинство изъ дворянъ всею тяжестью своего вліянія и своего имущественнаго превосходства» ¹⁾).

Но если въ своей критикѣ земской дѣятельности Кавелинъ до известной степени сходилъ съ наиболѣе послѣдовательными сторонниками идеи

вошло въ моду говорить и повторять, что дворянство совершило безпримѣрный въ исторіи подвигъ самоотверженія, уничтоживъ собственными руками крѣпостное право въ лицѣ мировыхъ посредниковъ и привнесъ на алтарь отечества свое матеріальное благосостояніе. Подождали-бы, по крайней мѣрѣ, пока вымретъ поколѣніе, видѣвшее своими глазами, какъ происходило освобожденіе крестьянъ, и тогда бы пустили въ ходъ эту самохвальную фразу! Тамже, II, 885.

¹⁾ «Письма изъ медвѣжьяго угла.» Сочиненія Кавелина, II, 831—2.

годовъ, Кавелинъ либо совершенно игнорировалъ то идейное теченіе въ русскомъ обществѣ, литературными выразителями котораго служили сперва «Современникъ», а потомъ «Отечественныя Записки», либо же третируя это теченіе, какъ простое и необдуманное подражаніе европейскимъ образцамъ, на русской почвѣ лишенное всякаго смысла и значенія. Въ этомъ отношеніи онъ не колебался даже сопоставлять взгляды названной части литературы съ стремленіями крайнихъ реакціонеровъ, находя между тѣми и другими полную аналогію въ ихъ безпочвенности. Въ его представленіи все содержаніе умственной жизни русскаго общества сводилось къ борьбѣ западническихъ и славянофильскихъ воззрѣній, и цѣлью собственной дѣятельности въ эту пору онъ ставилъ синтезъ этихъ противорѣчивыхъ программъ. Въ сущности же этотъ мнимый синтезъ все болѣе отклонялъ его въ сторону славянофильства.

До нѣкоторой степени такой поворотъ назадъ, къ пройденной уже однажды стадіи, явился результатомъ послѣдовательнаго развитія взглядовъ, присущихъ Кавелину и ранѣе, къ эпоху его ревностнаго западничества. Та органическая школа, ученикомъ которой выступилъ Кавелинъ въ своемъ истолкованіи русской исторіи, вообще склонна была разсматривать жизнь всякаго народа, какъ прямолинейное развитіе народнаго духа, не допускающее ни уклоненій въ сторону, ни какого-либо воздѣйствія извнѣ. Всецѣло воспринимая это воззрѣніе, Кавелинъ въ первые годы своей писательской дѣятельности лишь исходилъ изъ него въ своихъ локализацияхъ законности русскаго историческаго процесса, но не пытался закрѣплять результаты прошедшаго въ настоящемъ, указывая, наоборотъ, на возможность безконечнаго и разнообразнаго развитія, которое должно было, по его взгляду, приблизить русскій народъ къ западно-европейскимъ націямъ. Но съ годами Кавелинъ измѣнилъ этому первоначальному пониманію указаннаго воззрѣнія и придалъ ему болѣе консервативное истолкованіе, все рѣзче проводя демаркаціонную линію между народнымъ и обще-человѣческимъ, русскимъ и западно-европейскимъ развитіемъ и рѣшительно настаивая на необходимости созданія строго-самобытной національной культуры. Окончательно сложились его взгляды въ этомъ направленіи къ концу семидесятыхъ и началу восьмидесятыхъ годовъ.

Названные годы, бывшіе временемъ остраго кризиса русской жизни, дали сильный толчокъ публицистической дѣятельности Кавелина. Отзываясь на запросы текущаго дня, онъ напечаталъ за это время рядъ статей публицистическаго содержанія въ русскихъ журналахъ и издалъ за границей и въ отечествѣ нѣсколько большихъ произведеній, посвященныхъ обсужденію важнѣйшихъ вопросовъ внутренней жизни Россіи. Въ этихъ произведеніяхъ не было недостатка въ удачныхъ и вѣрныхъ критическихъ замѣчаніяхъ, относительно господствовавшихъ въ русской дѣйствительности порядковъ,

ство и развитіе его должны быть направлены, прежде всего, всѣ усилія правительства и частныхъ лицъ». Но, выставивъ такое утвержденіе, авторъ вмѣстѣ съ тѣмъ отказывался видѣть въ немъ основаніе для какой-либо вполне определенной соціальной и политической программы, выведенной изъ интересовъ данного класса. Въ русской дѣйствительности онъ не усматривалъ никакихъ реальныхъ интересовъ, которые стояли бы въ противорѣчіи съ интересами крестьянства, и то обстоятельство, что послѣдніе въ государственной и общественной жизни оставались на заднемъ планѣ, объяснялъ исключительно «слабымъ развитіемъ русскаго національнаго самосознанія». Изъ факта отсутствія въ Россіи крѣпкихъ и сильныхъ сословій онъ заключалъ объ отсутствіи въ русской жизни классовъ и классовыхъ интересовъ, и это давало ему возможность придать русскому соціальному вопросу вполне оригинальную на видъ постановку. «Въ томъ-то и дѣло,—утверждалъ онъ—что у насъ всѣ интересы, всѣ направленія, всѣ общественные слои, всѣ теоріи и воззрѣнія, всѣ общественныя положенія, словомъ, всѣ разнообразныя явленія русской жизни имѣютъ свой центръ тяжести въ крестьянствѣ, изъ него исходятъ и къ нему сходятся, но въ то же время демократическій принципъ совершенно чуждъ нашему соціальному строю». Такимъ путемъ на мѣсто соціальнаго принципа подставлялся національный, и писатель открыто и рѣшительно настаивалъ на необходимости подобнаго подмѣна. «Не демократическій принципъ, которому у насъ нѣтъ мѣста, какъ и аристократическому,—говорилъ онъ—а русскій національный интересъ, польза родины и государства, помимо всякихъ предвзятыхъ теорій, заставляютъ обратить всѣ помыслы, всѣ средства и усилія прежде всего на устройство, обезпеченіе и поднятіе у насъ крестьянства» ¹⁾.

Въ сущности сведеніе соціальныхъ задачъ къ національнымъ не было, конечно, совершенною новостью. Въ то время, когда Кавелинъ писалъ свой «Крестьянскій вопросъ», оно было лишь крупнымъ шагомъ назадъ, къ той эпохѣ, когда въ наукѣ всецѣло господствовала идеалистическая метафизика органической школы. Не новы оказались и результаты такой постановки вопроса. Отыскивая основанія для своей программы не столько въ реальныхъ явленіяхъ жизни, сколько въ глубинахъ народнаго самопознанія, Кавелинъ мечталъ о великой исторической миссіи русскаго народа, которому, по его убѣжденію, предстояло выразить въ своей жизни совершенно новую, неизвѣстную другимъ народамъ идею. «Одно изъ двухъ,—говорилъ онъ—или русское государство есть призракъ, случайно возникшій, который долженъ исчезнуть, не оставя послѣ себя другого слѣда,

¹⁾ Сочиненія, II, 577, 579—80, 582.

скрывается тайна человеческого благополучія и совершенствованія; субъективная сторона въ полномъ пренебреженіи». Въ соответствии съ этимъ онъ и свои чаянія отъ будущаго русскаго народа опредѣлялъ согласно съ славянофильствомъ. «Мнѣ думается,—говорилъ онъ—что новое слово, котораго многіе ожидаютъ, будетъ заключаться въ новой правильной постановкѣ вопроса о нравственности въ наукѣ, воспитаніи и практической жизни и что это живительное слово скажемъ именно—мы» ¹⁾. Отсюда и тотъ повышенный интересъ къ вопросамъ личной нравственности, какой проявлялъ Кавелинъ въ послѣдніе годы жизни, съ большимъ усердіемъ, хотя и безъ особеннаго успѣха, разрабатывая эти вопросы въ специальныхъ трудахъ, посвященныхъ проблемамъ психологіи и этики.

Въ общественномъ міросозерцаніи Кавелина, перемѣнившего на своемъ вѣку не мало литературныхъ лагерей и успѣвшаго позаимствовать кое-что почти отъ каждаго изъ нихъ, несомнѣнно, была значительная доля эклектизма. И тѣмъ не менѣе, какъ видно изъ сказаннаго, истинные корни этого міросозерцанія, соединявшаго въ себѣ націоналистическія мечтанія съ преклоненіемъ передъ результатами исторіи и преувеличенную оцѣнку личной нравственности съ противоположеніемъ ея формамъ общественной жизни, лежали въ той метафизикѣ національнаго духа, которой не чуждо было первоначальное западничество и на почвѣ которой особенно пышно расцвѣло славянофильство. Но если въ моментъ зарожденія славянофильства эта метафизика еще пользовалась извѣстнымъ научнымъ авторитетомъ, то къ той порѣ, когда появились публицистическія произведенія Кавелина, такой авторитетъ ея былъ уже подорванъ въ самомъ корнѣ. Благодаря этому публицистическая дѣятельность Кавелина не привлекала къ себѣ вниманія болѣе сознательной и активной части русскаго общества и въ значительной своей части оставалась даже внѣ ея кругозора. Но нельзя было бы сказать, что эта дѣятельность не имѣла никакого вліянія на всѣхъ вообще современниковъ Кавелина и что послѣдній стоялъ между ними совершенно одиноко. Среди литературно-общественныхъ партій семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ существовала и такая группа, для которой Кавелинъ явился однимъ изъ первыхъ и самыхъ видныхъ ея теоретиковъ. Это была именно та фракція народничества, которая группировалась въ свое время вокругъ «Недѣли» и программа и названіе которой за послѣдніе годы столько разъ, неумышленно и умышленно, переносились на партіи, имѣвшія очень мало общаго съ нею. Воспринявъ основныя воззрѣнія Кавелина, названная группа въ позднѣйшей своей дѣятельности немало, правда, дополняла ихъ, нерѣдко впадая при этихъ дополненіяхъ въ такой же эклектизмъ, какой былъ свойственъ и самому Кавелину. Но все же она

¹⁾ «Письмо О. М. Достоевскому». Сочиненія, II, 1039—40, 1032.

Памяти Г. И. Успенскаго ¹⁾).

24 марта умеръ Глѣбъ Ивановичъ Успенскій. Русская литература понесла въ его лицѣ большую, вознаградимую потерю и горечь этой потери мало уменьшается тѣмъ, что она совершилась въ сущности задолго до смерти писателя. Еще десять лѣтъ тому назадъ роковая болѣзнь оторвала Успенскаго отъ литературы и для него лично смерть явилась лишь избавленіемъ отъ мукъ и страданій жизни. Но, пока онъ былъ живъ, все еще трудно вѣрилось въ безвозвратность этой потери и, вопреки очевидности, хотѣлось надѣяться, что померкшій свѣтъ могучаго таланта вновь разгорится яркимъ пламенемъ, что голосъ любимаго писателя снова зазвучитъ въ литературѣ. Теперь всѣмъ надеждамъ положенъ конецъ.

Надъ свѣжей могилой трудно говорить о дорогихъ покойникѣ, но трудно и пройти мимо нея молча, не вспомнивъ о томъ, кто въ ней лежитъ и кому мы такъ многимъ обязаны. Русское общество похоронило въ Успенскомъ не только огромный художественный талантъ, но и одного изъ лучшихъ своихъ учителей, одного изъ наиболее чистыхъ и беззапятныхъ друзей народа. Успенскій писалъ не для народа,—народъ и теперь еще, къ сожалѣнію, слишкомъ мало знаетъ его,—но мысль о народѣ, объ его нуждахъ и интересахъ занимала центральное мѣсто въ міросозерцаніи покойнаго писателя и мало кто изъ нашихъ писателей-художниковъ сдѣлалъ такъ много для проведенія этой мысли въ сознаніе русскаго общества, какъ Успенскій. Его литературная дѣятельность началась въ эпоху, непосредственно послѣдовавшую за пробужденіемъ Россіи отъ вѣковаго сна, въ эпоху тѣхъ «великихъ реформъ», которыя въ свою очередь явились отраженіемъ, хотя и неполнымъ, великихъ идей, взволновавшихъ русскую жизнь. Рушился старый, крѣпостной и крѣпостническій строй, не знавшій человѣческихъ правъ, рушился, казалось, безповоротно,—и сама собою выросла задача

¹⁾ Настоящая замѣтка была напечатана первоначально въ № 4 «Русскаго Богатства» за 1902 г. и здѣсь я воспроизвожу ее безъ измѣненій.

формъ, затянулся въ такой обстановкѣ надолго и породилъ въ русской жизни множество тяжелыхъ и разнообразныхъ драмъ. Одна изъ этихъ драмъ особенно часто привлекала къ себѣ вниманіе Успенскаго и особенно ярко изображалась имъ. Это была драма, вытекавшая изъ «болѣзни совѣсти» болѣзни, которая лишала русскаго интеллигентнаго человѣка возможности «настоящей», «подлинной» жизни въ связи съ народною массою, а въ высшихъ своихъ проявленіяхъ толкала его на дорогу дѣятельной работы для общаго счастья, основаннаго на гармоничномъ, цѣлостномъ развитіи личности.

Въ извѣстной мѣрѣ такое гармоническое развитіе человѣческой личности Успенскій находилъ въ жизни крестьянства. Но та горячая, кровная любовь къ народу, какая жила въ душѣ Успенскаго, не ослѣпляла его глазъ и не вела его на путь идолопоклоннической идеализаціи народной жизни. Указывая на «правду» трудовой жизни крестьянства, онъ вмѣстѣ указывалъ и на то, что эта правда далеко не тождественна съ «справедливостію». Говори о гармоніи крестьянскаго быта, онъ настойчиво подчеркивалъ, что эта гармонія создана не страданіями человѣческаго сердца и усиліями человѣческой мысли, а стихійною «властью земли», и не только можетъ, но и должна рушиться, какъ только такая власть будетъ поколеблена новыми условіями быта. Сохраненіе гармоніи народной жизни и возведеніе этой гармоніи отъ простой правды на степень правды, освѣщенной человѣческимъ сознаніемъ и человѣческой совѣстью, «правды-справедливости», представлялось ему возможнымъ лишь при условіи внесенія интеллигенціей въ народную среду «науки о высшей правдѣ», науки, которая должна бы была «прямо, смѣло и широко касаться самыхъ жгучихъ общественныхъ вопросовъ,—тѣхъ самыхъ вопросовъ, до которыхъ додумалась и дошла человѣческая всескорбящая мысль въ ту самую минуту, которую мы переживаемъ». И дѣятельность Успенскаго въ значительной своей части являлась горячимъ призывомъ, обращеннымъ къ русской интеллигенціи,—нести въ народъ эту «науку о высшей правдѣ» и тѣмъ самымъ освободить народную жизнь отъ засариванія ея «старымъ національнымъ и европейскимъ хламомъ», отъ подчиненія всѣмъ роковымъ перипетіямъ капиталистическаго процесса. Этотъ призывъ не остался безъ отклика, но самоотверженные люди, послѣдовавшіе за нимъ, встрѣтили на своемъ пути слишкомъ многочисленныя и серьезныя препятствія, масса общества, мало затронутая работою пробуждавшейся совѣсти, оставалась слишкомъ инертною,—и грандіозная задача, которая была поставлена поколѣніемъ Успенскаго и которой онъ самъ отдалъ свои силы, осталась невыполненной.

«Господинъ Купонъ» безпрепятственно ворвался въ народную жизнь, и правдивому лѣтописцу этой жизни пришлось изображать жестокія опустошенія, производившіяся въ ней хозяйничаньемъ рокового пришельца, рисо-

особенно жгучій интересъ, возводящія ихъ на степень необходимой настольной книги русскаго читателя, рано или поздно, конечно, минуютъ, но вмѣстѣ съ ними еще не исчезнетъ значеніе этихъ произведеній. Рѣдкое художественное дарованіе, блестящее въ нихъ, необыкновенная глубина ихъ содержанія и близкое знакомство ихъ автора съ народной жпзнью и психологіей, въ связи съ его горячей любовью къ народу и искреннимъ уваженіемъ къ человѣческой личности, — все это надолго обезпечиваетъ Успенскому одно изъ наиболѣе почетныхъ мѣстъ не только въ исторіи русской литературы, но и въ памяти русскаго читателя. Поколѣнія, идущія намъ на смѣну, найдутъ въ его произведеніяхъ не только яркую и правдивую, хотя и не совсѣмъ полную, исторію одной изъ самыхъ многозначительныхъ эпохъ въ развитіи русскаго общества и народа, но и животворный источникъ большаго эстетическаго наслажденія и высокихъ нравственныхъ эмоцій. Для насъ же, еще не изжившихъ наслѣдія той эпохи, лѣтописцемъ которой явился Успенскій, онъ и послѣ своей смерти остается не только обаятельнымъ художникомъ, влекущимъ къ себѣ силою глубоко выстраданнаго слова, но и надежнымъ учителемъ въ дѣлѣ «живой заботы о живомъ».

дороги къ знанію, теоретическое знаніе никогда не подавляло въ немъ живого чувства. Сорокъ четыре года работая въ литературѣ, онъ неустанно ставилъ передъ читателемъ основные вопросы жизни и отходилъ отъ нихъ не иначе, какъ добившись полнаго и безповоротнаго отвѣта. И эта непрерывная работа пытливаго и глубокаго ума, всегда согрѣтая огнемъ искренняго убѣжденія и озаренная свѣтомъ могучаго таланта, неотразимо влекла къ себѣ сердца. Въ голосѣ писателя, сознательно избравшаго своимъ знаменемъ интересы народа и сдѣлавшаго ихъ центромъ всѣхъ своихъ помысловъ и изслѣдованій, читателямъ слышался истинный голосъ общественной совѣсти. Пока этотъ голосъ звучалъ, одни прислушивались къ нему съ надеждой и радостью, другіе — съ гнѣвомъ и опасеніями...

Первыя же статьи Михайловскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ» привлекли къ себѣ вниманіе наиболее чуткой и отзывчивой части русскаго общества рѣзко выраженной оригинальностью автора и необыкновенною цѣлностью его міровоззрѣнія. Основной пунктъ этого міровоззрѣнія былъ уже очень рано съ полною ясностью формулированъ молодымъ писателемъ. «Прогрессъ—писалъ онъ въ 1869 г., въ первой своей крупной социологической работѣ,—есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаетъ это движеніе. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ». «Человѣкъ тѣмъ совершеннѣе,—повторялъ онъ немного иными словами годъ спустя—чѣмъ разнообразнѣе его составъ, чѣмъ разнообразнѣе его отпращиваніе. Слѣдовательно, общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ болѣе широкій просторъ предоставляетъ его укладъ многостороннему, а не одностороннему развитію отдѣльныхъ членовъ. Слѣдовательно, общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ сходятъ между собою его части и чѣмъ менѣе онѣ подчинены другъ другу». Эти положенія, съ необычайнымъ блескомъ и силой развитыя Михайловскимъ въ началѣ его литературной дѣятельности, впоследствии получили дальнѣйшее развитіе и обоснованіе въ другихъ его трудахъ и легли въ основу созданной имъ теоріи «борьбы за индивидуальность», теоріи, представляющей собою грандіозную попытку охватить однимъ обобщеніемъ всю исторію человѣчества. Рано выработавъ основы своего міросозерцанія, Н. К. Михайловскій остался вѣренъ имъ втеченіе всей жизни. Въ его взглядахъ происходили, конечно, съ теченіемъ времени частныя измѣненія, движеніе научной мысли и собственныя работы давали ему возможность расширить и углубить свои воззрѣнія, но главная сущность этихъ воззрѣній всегда оставалась одною и тою же. Вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ личности

великодушны по своей простотѣ, выразительности и энергіи. «Мы,— писалъ онъ въ 1873 г., обращаясь къ Достоевскому, проницававшему надъ стремленіями русской интеллигенціи,—мы поняли, что сознаніе общечеловѣческой правды и общечеловѣческихъ идеаловъ далось намъ только благодаря вѣковымъ страданіямъ народа. Мы не виноваты въ этихъ страданіяхъ, не виноваты и въ томъ, что воспитались на ихъ счетъ, какъ не виноваты яркій и ароматный цвѣтокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки растенія. Но, принимая эту роль цвѣтка изъ прошедшаго, какъ нѣчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ. «Логическимъ ли теченіемъ идей» или непосредственнымъ чувствомъ, долгимъ ли размышленіемъ или внезапнымъ просіяніемъ, исходя изъ высшихъ общечеловѣческихъ идеаловъ или изъ прямого наблюденія,—мы пришли къ мысли, что мы должники народа. Можетъ быть, такого параграфа нѣтъ въ народной правдѣ, даже навѣрное нѣтъ, но мы его ставимъ во главу угла нашей жизни и дѣятельности, хотъ, можетъ быть, не всегда вполне сознательно. Мы можемъ спорить о размѣрахъ долга, о способахъ его погашенія, но долгъ лежитъ на нашей совѣсти и мы его отдать желаемъ».

Возлагая на личность опредѣленную задачу, Михайловскій, конечно, не думалъ, какъ это утверждали подчасъ нѣкоторые слишкомъ послѣдственные и мало добросовѣстные его противники, выводить человѣческую личность изъ-подъ дѣйствія общихъ законовъ природы. Но, вполне признавая закономерность хода исторіи, онъ никогда не склоненъ былъ возводить такое признаніе на степень слѣпого фатализма и покушать объясненіе явленій общественной жизни цѣною искусственнаго ихъ упрощенія. Закономерность роста человѣческихъ идеаловъ не уничтожала въ его глазахъ значенія этихъ идеаловъ, какъ самостоятельнаго фактора историческаго процесса, и сознаніе зависимости человѣческой личности отъ окружающей среды не мѣшало ему различать въ пестромъ калейдоскопѣ историческихъ фактовъ проявленія сознательнаго индивидуальнаго творчества. Настойчиво отмѣчая и разъясняя то обстоятельство, что проявленія подобнаго творчества становятся особенно значительными и плодотворными при условіи совпаденія ихъ съ стремленіями народныхъ массъ, писатель тѣмъ самымъ указывалъ современной ему интеллигенціи возможный путь сознательнаго воздѣйствія на стихійный ходъ исторіи.

«Возбоязненно смотрѣть въ глаза дѣйствительности и ея отраженію—правдѣ-истинѣ, правдѣ объективной, и въ то же время охранять и правду-справедливость, правду субъективную,—такова задача всей моей жизни», писалъ самъ Н. К. Михайловскій въ 1889 г. Этой задачѣ и должно было служить ученіе, стремившееся гармонически сочетать нравственные запросы съ объективнымъ процессомъ развитія, прочно связать личное благо съ

ціологічних роботах Михайловскій любивъ вспоминати о такъ называемыхъ нѣкоторими натуралистами идеальнихъ типахъ животнога міра, охоптуючихъ всю полноту возможной для нихъ жизни, въ противоположность типамъ практичнимъ, приспособленимъ лишь къ какой-либо одной или къ нѣсколькимъ сторонамъ существованія. Самъ Н. К. Михайловскій въ своей літературной дѣятельности представлявъ какъ бы живое воплощеніе такого идеальнаго типа. Влестящій и глубокій мыслитель, тонкій художественный критикъ, неподражаемый по своей силѣ и сверкающему остроумію публицистъ—сливались въ немъ въ одно необычайно оригинальное и обаятельное цѣлое. И если внѣшняя стройность его ученія нѣсколько проигрывала отъ этого, то за то тѣмъ болѣе выигрывало это ученіе въ своей жизненности, тѣмъ прочиѣ овладѣвало оно умами современниковъ, тѣмъ глубже вѣдрялось въ ихъ сердца. Взявъ на себя задачу философскаго обоснованія стремленій передовой части русской интеллигенціи 60-хъ и 70-хъ годовъ и сдѣлавшись истолкователемъ текущей жизни съ точки зрѣнія этихъ стремленій, Михайловскій вмѣстѣ съ тѣмъ явился и главнымъ руководителемъ названной группы. «Труба, зовущая на бой»,—это Бэконовское опредѣленіе какъ нельзя точиѣ характеризуетъ роль Н. К. Михайловскаго по отношенію къ поколѣнію 70-хъ годовъ. Подъ впливіемъ горячей проповѣди Михайловскаго складывалось міросозерцаніе значительной части поколѣнія этой эпохи, раздвигался умственный горизонтъ послѣдняго, опредѣлялся его нравственный обликъ и общественное строеніе...

Эта эпоха, явившаяся въ исторіи русской интеллигенціи періодомъ смѣлой вѣры и героическаго подъема силъ въ борьбѣ за массовое счастье, была для Михайловскаго временемъ наиболѣе напряженной и энергичной дѣятельности, окрылявшейся свѣтлыми надеждами на близкую возможность важнѣйшихъ шаговъ къ осуществленію его идеала. Но время такихъ надеждъ скоро миновало. Грандіозный подвигъ, взятый на себя поколѣніемъ 70-хъ годовъ, потребовалъ больше силъ, чѣмъ ихъ оказалось въ наличности, и остался незавершенимъ. Ясный день, уже занимавшійся, казалось, надъ русскою жизнью, смѣнился сѣрыми сумерками. Въ общественной жизни прочно водворилась реакція и среди разрѣженнаго общества получали все большее распространеніе индифферентизмъ и апатія, наложившіе свою мрачную печать и на литературу. Великія слова, будившія людей въ недалекомъ прошломъ, обращались въ «забытыя слова», или предавались посмѣянню. Взаимъ того надъ обществомъ одно за другимъ проносились дунувенія «новыхъ словъ», направленныхъ къ ниспроверженію недавнихъ идеаловъ. На первый планъ послѣдовательно выступали теоріи малыхъ дѣлъ, личнаго самосовершенствованія, непротивленія злу, слѣпотоу преклопенія передъ «экономикой», признанія фатальности историческаго процесса, отри-

и энергично отстаивала совокупность идей, входивших въ составъ этого наслѣдства. Для писателя, ставившаго своимъ идеаломъ гармонично развивающуюся на почвѣ служенія человѣческой солидарности личность, своей задачей—одновременное служеніе «правдѣ-истинѣ» и «правдѣ-справедливости», всегда было и оставалось непонятнымъ, какъ можно игнорировать интересы и достоинство личности, отрицать значеніе общественнаго идеализма, «покупать истину цѣною страданій милліоновъ» и «спихать лбами» различные разряды трудящихся. На этихъ пунктахъ онъ всегда готовъ былъ принять и выдержать полемику и, если порою даже нѣкоторымъ изъ близко стоявшихъ къ нему людей казалось, что эта полемика основана отчасти на недоразумѣніи и ведется противъ имѣющаго чисто временный характеръ увлеченія, то послѣдствія показали, что проницательность и въ этомъ случаѣ не обманула опытнаго борца.

Съ несокрушимой энергіей, съ упорнымъ постоянствомъ годъ за годомъ велъ Н. К. Михайловскій свою борьбу съ разнообразными проявленіями общественной апатіи, отдавая на такую борьбу всѣ свои громадныя силы. Тщательно анализируя всѣ сколько-нибудь крупныя явленія общественной мысли, онъ раскрывалъ передъ читателемъ все новыя горизонты, настойчиво пробуждая въру въ лучшее будущее и готовность работать для него. Эта борьба затянулась надолго, но съ теченіемъ времени она становилась все успешнѣе и плодотворнѣе. Вокругъ Н. К. Михайловскаго все тѣснѣе и ближе смыкался кружокъ старыхъ и новыхъ товарищей и учениковъ, вмѣстѣ съ нимъ и подъ его руководствомъ работавшихъ для одной общей цѣли. Призывы борца за двуединую правду все чаще встрѣчали сочувственный откликъ, подчасъ даже въ рядахъ недавнихъ противниковъ, и къ старому знамени, подъ которымъ боролись и умирали отцы, все болѣе обильнымъ потокомъ стекались свѣжія силы сыновей. Наконецъ, явились и недвусмысленные признаки серьезнаго подъема общественнаго настроенія. Намъ, современникамъ, трудно вполне точно опредѣлить, какая доля заслуги въ созданіи этого подъема принадлежитъ усиліямъ Н. К. Михайловскаго. Рѣшеніе этого вопроса во всемъ его объемѣ надо оставить на долю будущаго историка. Но не мѣшаетъ напомнить, что всего три года тому назадъ значительная часть современниковъ дала на такой вопросъ вполне опредѣленный отвѣтъ. Въ многочисленныхъ привѣтствіяхъ, полученныхъ со всѣхъ концовъ Россіи въ день празднованія сорокалѣтняго служенія Михайловскаго русской литературѣ, настойчиво подчеркивалась его роль, какъ вождя интеллигенціи, сумѣвшаго пронести знамя общественнаго идеализма черезъ «общую смуту» и собрать къ этому знамени новыя силы. «Въ глухую пору,—говорилось въ одномъ изъ этихъ привѣтствій—когда глубоко задѣтое, наболѣвшее чувство тревожно искало и, казалось, не находило выхода изъ гнетущаго состоянія подавленности и

О г л а в л е н і е.

	СТРАНИЦЫ:
I. Протопопъ Аввакумъ	1—101
II. Дворянскій публицистъ Екатерининской эпохи (Князь М. М. Щербатовъ).	102—166
III. На зарѣ русской общественности	167—225
IV. Изъ Пушкинской эпохи	226—275
V. Профессоръ сороковыхъ годовъ (Т. Н. Грановскій).	276—339
VI. К. Д. Кавелинъ, какъ историкъ и публицистъ	340—389
VII. Памяти Г. И. Успенскаго	386—390
VIII. Памяти Н. К. Михайловскаго	391—399





